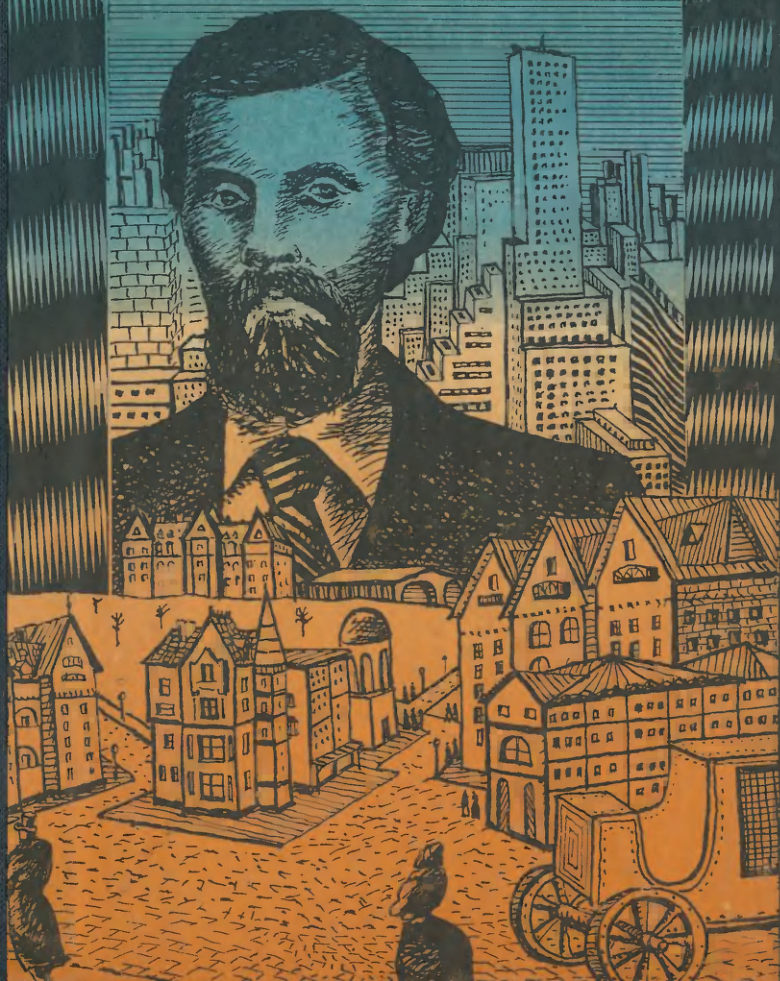
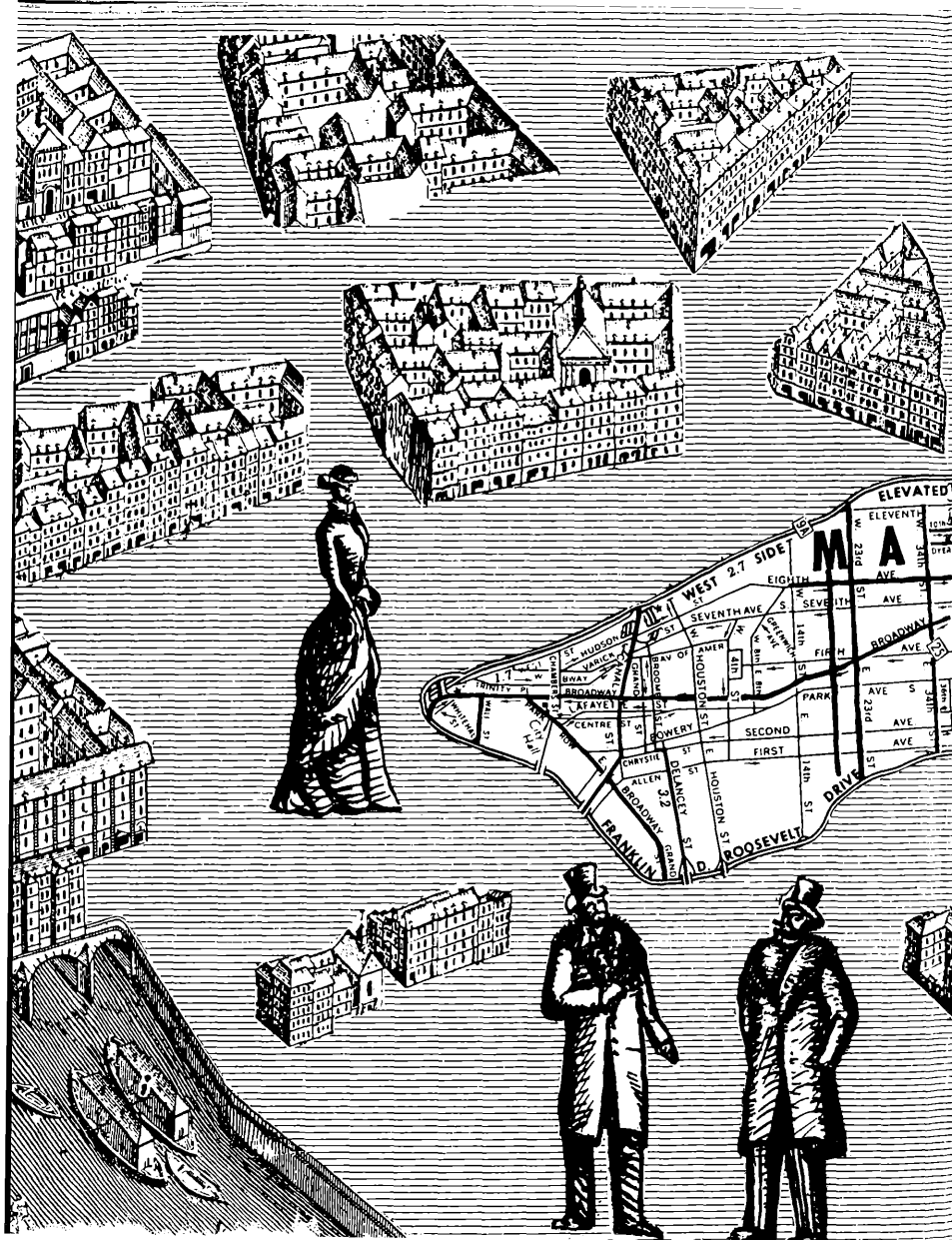
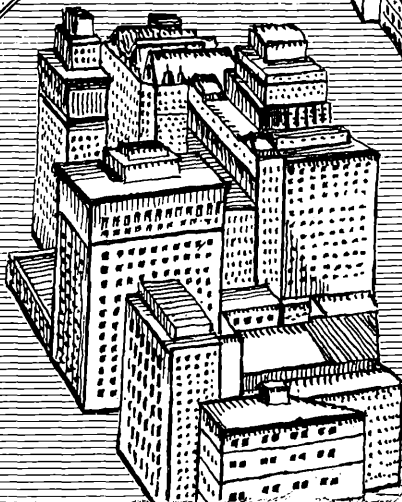
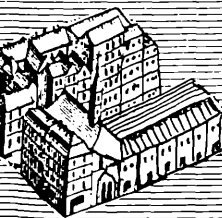
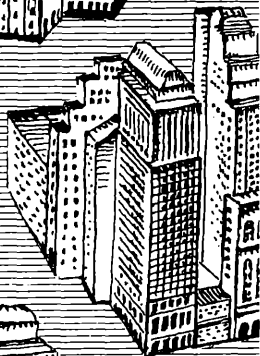
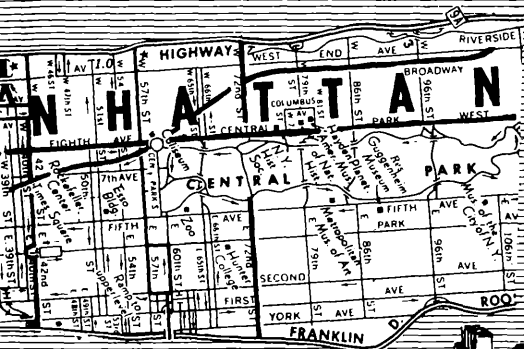
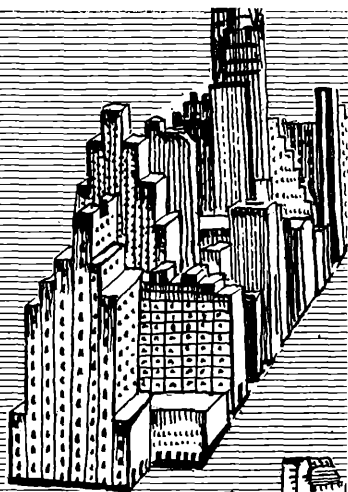


Дж. Финней МЕЖ ДВУХ ВРЕМЕН

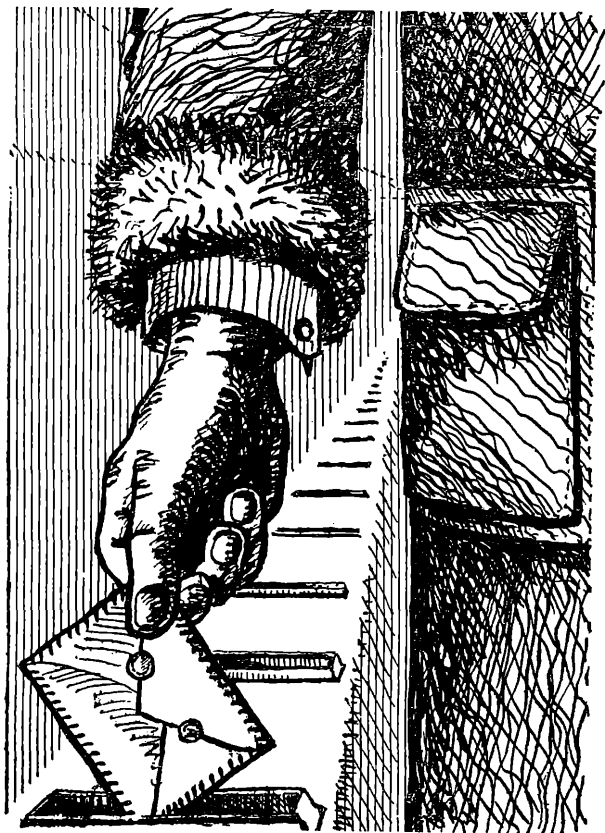


З
А
Р
У
Б
Е
Ж
Н
А
Я
Ф
А
Н
Т
А
С
Т
И
К
А









Jack Finney
TIME and AGAIN
An Illustrated Novel
New York, Simon and Schuster, 1970

Дж. Финней
МЕЖ
ДВУХ
ВРЕМЕН

**ФАНТАСТИЧЕСКИЙ
РОМАН
С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ**

*Сокращенный перевод
с английского
К. Сенина и В. Тальми*

Предисловие Е. Брандиса

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МИР»
МОСКВА 1972

Финней Джек

Финн 59 Меж двух времен. Фант. роман с илл. Сокр. перев. с англ. К. Сенина и В. Тальми. Предисл. Е. Брандиса. М., «Мир», 1972.
432 с. с илл. (Зарубежная фантастика)

Никому из нас не суждено своими глазами увидеть мир прошлого столетия. А Саймону Морли, герою романа Финнея, это удалось, и не один раз. Он имел возможность сравнивать две эпохи, судить о положительных и отрицательных сторонах каждой из них на основании личного опыта. И, что особенно интересно, он иллюстрирует свой рассказ о необычных «путешествиях во времени» собственными рисунками и фотографиями, сделанными в XIX веке.

Вряд ли найдется любитель фантастики, который останется равнодушным к роману Джека Финнея.

7-3-4
180-72

И (Амер)

Джек Финней меж двух времен

Джек Финней вступил на литературное поприще в начале 50-х годов. Первый же его фантастический роман «Похитители плоти» (1956) — о коварном вторжении инопланетных существ, замещающих людей в их телесной оболочке, — не только был замечен, но даже экранизован. И хотя критики, утвердившие за Финнеем репутацию серьезного писателя, не относят его к корифеям современной фантастики, он не может пожаловаться на невнимание прессы. Доброжелательные отклики сопровождают каждую его новую книгу и почти каждый фильм, поставленный по очередному роману.

Однако в отличие от блестящего Бредбери или изобретательного Азимова — фантастов, пользующихся мировой известностью, — Финнейю никогда не сопутствовал шумный успех. Да и в количественном отношении, хотя бы по сравнению с тем же Азимовым, выпустившим к своему пятидесятилетию сто десятую книгу, его творчество не столь уж внушительно: три сборника рассказов и шесть романов, причем не все из них фантастические.

Работает Финней неторопливо и очень тщательно. Он резко выделяется среди американских фантастов особой художественной манерой, близкой к традиционному реализму. Его скорее следует назвать выучеником Драйзера и Синклера, чем последователем «школы Уэллса». Подобно тому как Саймон Морли, герой романа, рекомендуемого читателям, мечется «меж двух времен», так и Джек Финней — между двумя литературными направлениями. Пристрастие к бытовым подробностям, точнейшему воссозданию колорита места и времени, изображению «типичных характеров в типичных обстоятельствах» делает его ре-

листом в фантастике, а склонность к неправдоподобным ситуациям — фантастом среди реалистов. Но как раз это и придает большую убедительность фантастическим построениям Финнея.

Отступая от жанровых канонов, он не ошеломляет читателей сверхоригинальными идеями или «сумасшедшими» гипотезами, и даже в своей излюбленной теме — передвижение во времени — не вдается в наукообразные доказательства, предпочитая простейшие мотивировки. В романе «Меж двух времен» одно лишь **вживание в прошлое** способствует физической транспортиции.

Профессор Данцигер, автор секретного проекта, в котором заинтересовано правительство — и Белый дом, и Пентагон, — не мудрствуя лукаво, ссылается на Эйнштейна, установившего четырехмерность нашего мира (время как четвертое измерение). Отсюда якобы вытекает, что минувшее продолжает существовать и мы можем «пройти вспять к одному из поворотов, оставленных позади». Мысль профессора Данцигера сводится к тому, что разновременные моменты сосуществуют и, находясь в настоящем, мы тысячами нитей связаны с другими временными отрезками. Нужно только усилием воли разорвать эти нити, представить себя в определенном году, и ты действительно туда попадешь. Но подходят для таких экспериментов особо одаренные индивиды, обладающие исключительной впечатлительностью и силой самовнушения. Готовясь к перенесению в прошлое, испытуемый привыкает к декоруму, воспроизводящему исторический колорит, вживается в обстановку, приучает себя жить и думать, как люди того времени, куда он силой воображения должен перенестись. Саймон Морли, заурядный художник рекламного бюро, и оказывается таким исключительным индивидом, чьи врожденные способности развиваются предварительной тренировкой.

После «Машины времени» Уэллса фантасты придумали десятки хитроумных способов попадания в другие эпохи.

Но при всей усложненности логических обоснований, необходимых для свободного развития сюжета, ни одно из них не выдерживает научной критики. Путешествия во времени — такой же нонсенс, как существование параллельных миров или любых «хроноклазмов», предполагающих возможность вмешательства в уже произошедшие события. Установленные физические закономерности опровергают «машину времени». Фантасты это прекрасно знают и все же нередко используют удивительные ситуации, проистекающие от воображаемых столкновений настоящего с прошлым или будущим. С точки зрения здоровой логики фантастичность подобных замыслов заключается не в способах передвижения, а в необычности самих ситуаций, открывающих простор для всякого рода экспериментов, социальных или психологических.

Вот почему Финней, многократно используя подобные сюжеты, довольствуется простейшими мотивировками.

Писатель и его герои в современных Соединенных Штатах Америки чувствуют себя неуютно. Элегическая грусть по ушедшему времени, когда средний американец мог еще быть самим собой, порождает идеализацию прошлого. Это роднит Финнея с Бредбери. Да и не только с ним. Трагическое восприятие настоящего и мрачный взгляд на будущее (это свойственно многим писателям, далеким от марксистских позиций), с одной стороны, порождают тяготение к «патриархальной» старине и с другой — неспособность создавать позитивные модели грядущего. В этом отношении Финней не представляет исключения.

Сюжет переноса во времени он варьирует во многих произведениях. Характерные для него настроения отчетливо выражены в двух переведенных рассказах — «О пропавших без вести» (альманах «Н. Ф.», вып. 2, 1965) и «Боюсь...» (сборник «Пески веков», М., «Мир», 1970), которые воспринимаются как подготовительные этюды к роману «Меж двух времен».

Роман «Меж двух времен» выдержан в несколько ста-

ромодном «викторианском» стиле и своей неторопливой обстоятельностью напоминает английские романы конца XIX — начала XX века. С мельчайшими подробностями и большим знанием дела автор изображает Нью-Йорк 1882 года, причем его описания впечатляют не меньше, чем аналогичные картины и образы в произведениях Драйвера или О'Генри, близких по времени к изображаемому периоду в истории США. В романе Финнея есть также нечто «пуританское». Выдерживая стиль и дух литературы минувшей поры, он поразительно целомудрен и, когда доходит до интимных сцен, благоразумно опускает занавес. По жанру этот «гибридный» роман в такой же мере социально-психологический, как и научно-фантастический. Переносы во времени облегчают решение идейной и художественной задачи: сопоставить и противопоставить две эпохи, отстоящие одна от другой почти на девяносто лет — Нью-Йорк начала 80-х годов прошлого столетия и Нью-Йорк современный, конца 60-х годов нашего века.

Финней вместе со своим героем спасается от «пут времени» в старом Нью-Йорке, который он изучил досконально и любит так же страстно, как некоторые коренные ленинградцы старый Петербург. В этом воссоздании своеобразия и поэзии Нью-Йорка минувших времен, любимого города, в котором автор видит и теневые стороны, — пафос романа и его безусловная познавательная ценность. Со вкусом подобранные фотографии, якобы снятые Саймоном Морли на нью-йоркских улицах 1882 года, органически связаны с текстом и во многом его дополняют. Без иллюстративного материала описания утратили бы свою зримость. (Заметим, однако, что роман излишне перегружен деталями, представляющими интерес только для жителей современного Нью-Йорка, и при переводе именно эти места справедливо опущены.)

Итак, Саймон Морли, от чьего имени и ведется повествование, вовлечен в правительственный проект осуществления путешествий во времени, еще не подозревая о

подлинных замыслах высокопоставленных чиновников, финансирующих опыты профессора Данцигера. По личным соображениям он выбирает именно 1882 год. Непосредственным поводом служит семейная тайна, мучившая приемного отца его приятельницы Кейт. Тайна эта уводит в 1882 год, когда миллионер Эндрю Кармоди, ставший позднее одним из советников президента Кливленда, получил таинственное письмо, отправленное январским вечером с нью-йоркского почтамта. Перед тем как спустя много лет покончить жизнь самоубийством, Кармоди сделал на этом самом письме очень странную приписку. Саймон Морли (в просторечии Сай) добровольно возлагает на себя роль детектива и выслеживает 23 января 1882 года на нью-йоркском почтамте отправителя загадочного письма.

Такова завязка. А дальше следует цепь приключений, определяющих развитие действия. Сюжетные линии стягиваются в тугой узел. Характеры персонажей, обусловленные временем и обстоятельствами, раскрываются с исчерпывающей полнотой. Каждый, до конца выполняя отведенную ему роль, показывает, на что он способен в решительные минуты жизни. Отсюда проистекают мелодраматические коллизии, которые, по словам автора, вообще были характерны для XIX века и даже на сцене воспринимались как отображение действительности. Однако, как нам кажется, мелодраматичность романа «Меж двух времен» скорее идет от литературы. Ведь Финней сознательно стилизует свое произведение под романы 80-х годов, сплетая вымысел с жизненной правдой, литературные условности с зорким критицизмом, обнаженность приемов с подкупающей естественностью изложения. К тому же детективная фабула сама по себе почти невесома. Это не более чем «допинг», не дающий читателю охладеть к книге, всего лишь верхний слой, за которым скрываются глубокие пласты достаточно серьезного замысла. Главное для автора — противопоставление двух эпох и подсказанный

своеобразным сюжетом психолого-фантастический эксперимент: восприятие прошлого глазами нашего современника Саймона Морли и настоящего — глазами неискушенной Джулии Шарбонно, пришедшей из прошлого столетия.

Что же вызывает у среднего американца недовольство настоящим?

Одиночество и обособленность человека в окружающем его большом мире. Неуверенность в завтрашнем дне. Бешеный ритм жизни. Невозможность сосредоточиться, остаться наедине с собой. Все это порождает озлобление, отчужденность, отъединение людей друг от друга, безразличие, равнодушие, потерю чувства цели, стандартизацию быта, стандартизацию мыслей. Человек теряет индивидуальность, делается похожим на других, не успевает приспособиться к быстрым переменам, вносящим в сознание сумятицу, превращающим жизнь в коловорот. Да и вообще, как можно примириться с жестокостью по отношению к природе и по отношению к людям?

«Мы теперь народ, отравляющий самый воздух, которым дышим,— говорит Финней устами своего героя.— И реки, из которых пьем. Мы уничтожаем Великие озера; озера Эри уже нет, а теперь мы принялись и за океан. Мы засорили атмосферу радиоактивными осадками, отлагающимися в костях наших детей,— и ведь мы знали об этом заранее. Мы изобрели бомбы, способные за несколько минут стереть с лица земли весь род людской, и бомбы эти стоят на позициях в боевой готовности. Мы покопчили с полиомиелитом, а американская армия тем временем вывела новые штаммы микробов, вызывающие смертельные, не поддающиеся лечению болезни. Мы имели возможность дать справедливость нашим неграм, но, когда они ее потребовали, мы отказали. В Азии мы в буквальном смысле слова сжигаем людей заживо. А у себя дома, в Штатах, равнодушно смотрим, как недоедают дети. Мы разрешаем кому-то делать деньги на том, чтобы по телевидению скло-

нять подростков к курению, хотя прекрасно знаем, что принесет им никотин. В наше время с каждым днем все труднее убеждать себя в том, что мы, американцы, хороший народ. Мы ненавидим друг друга. И уже привыкли к ненависти...»

С такими настроениями Саймон Морли уходит в XIX век.

За каких-нибудь девяносто лет произошло столько перемен, что медлительные 80-е годы (при том, что в Америке уже начиналась эпоха империализма) выглядели сплошной архаикой.

Все поначалу казалось странным: одежда, утварь, дома, нью-йоркские улицы, опутанные телеграфными проводами, освещенные газом, заполненные всевозможными экипажами, Бродвей с его «Женской миле», где у витрин магазинов толпились неспешащие модницы в странных нарядах — широкополых шляпах, украшенных перьями, либо в нелепых капорах и длинных платьях с турнюрами, полностью закрывающих ноги.

Десятки страниц занимают красочные описания «низкорослого» старого Нью-Йорка с уцелевшими кое-где островками прошлого (отдельные здания, церкви, сады), вызывающими у Сая щемящую грусть. И все же он был не так наивен, чтобы не заметить вопиющих контрастов: рядом с богатыми кварталами и самодовольными деловыми людьми — ужасные трущобы, зловонные свалки, рахитичные дети, изголодавшиеся нищие. Разговор с кучером конки убеждает Сая, как низко ценился труд. Бедняга кучер, работая на холоде, ветру, под дождем и снегом по четырнадцать часов, едва в состоянии прокормить семью. А в церкви внушают ему, что он должен благодарить господ за все его милости. «Может, для него-то, для пастора, — рассуждает кучер, — все это и так, а только я вот часто думаю: как же я могу возблагодарить бога за пищу и жизнь, что он мне дает, если каждый кусочек, который я съел, я заработал своим горбом и своими мучениями? Может, и есть

оно, провидение для богатых, а в бедности каждый сам себе провидение...»

Все это так. Тем не менее Саймон Морли, а вместе с ним и автор, видит в Америке сравнительно недалекого прошлого немало преимуществ по сравнению с настоящим. Главное из них — устойчивость жизни, душевное равновесие, которое обретается благодаря постоянным привычкам.

Предварительное вживание Сая в другую эпоху и постепенная перестройка сознания, когда он очутился в Нью-Йорке 80-х годов, — все это ощущаешь зримо и явственно. Психологический рисунок образа героя выполнен с тончайшими нюансами. Повествование от первого лица придает еще большую убедительность фантастическому эксперименту Финнея.

Не довольствуясь этим, он продолжает эксперимент, изображая путешествие Джулии Шарбонно в XX век, ее вживание в будущее. Девушку, выросшую в прошлом столетии, поражает все: небоскребы, такси, светофоры, одностороннее движение, электрический свет, холодильник, телевизор, «неприлично» короткие платья, растворимый кофе, хлорированная вода с неприятным привкусом и овощи без всякого вкуса. Но больше всего ее поражают люди: рассеянные, озабоченные, они суетятся, спешат, переговариваясь на бегу. Создается впечатление, что им некогда жить.

Как ни странно, меньше всего ее удивил... самолет. Она сразу догадалась, что это аэроплан, так как была усердной читательницей Жюль Верна. Но Финней, при его пристрастии к скрупулезной точности, в данном случае допустил промах. Во-первых, роман «Робур-завоеватель», где у Жюль Верна впервые фигурирует летательный аппарат тяжелее воздуха, появился только в 1886 году и, следовательно, Джулия не могла еще прочесть эту книгу. Во-вторых, слово «аэроплан» более позднего происхождения. Робур называл свою машину аэронефом.

1970 год кажется Джулии Шарбонно еще более чужим, чем год 1882 Саймону Морли. Она не может освоиться с

переменами в образе мышления и темпе жизни, происшедшими менее чем за столетие. Несмотря на любовь к Саю, она предпочитает вернуться в свое время.

Возмущенный тем, что генералы с ведома Белого дома хотят с его помощью внести «поправку» в историю — заставить президента Кливленда откупить у Испании Кубу и тем самым предотвратить возникновение по соседству с США «коммунистической угрозы», — Сай намерен отказаться от задания. Нельзя же так безответственно играть судьбами людей и мира! Сегодня переделают одну часть истории, завтра — другую, и неизвестно, к чему это приведет. И Саймон Морли снова отправляется в прошлое, но не для того, чтобы выполнить задание, а чтобы помешать случайной встрече в театре будущих родителей Данцигера. Нет ничего проще, как предотвратить это знакомство, состоявшееся в том же 1882 году! Девушка в зеленом платье, которой предстояло стать матерью профессора Данцигера, прошла в свою ложу и осталась незамеченной молодым человеком, его будущим отцом. Данцигер не родился и не сделал своего открытия.

Откуда же мы узнаём об этой истории? У Сая есть знакомый писатель (по-видимому, сам Финней), который любит копаться в архивных документах. При основании нью-йоркской библиотеки в 1911 году Сай оставит там свою рукопись с описанием «Проекта» и связанных с ним событий... Правда, это противоречит прежним декларациям автора о том, что никто не вправе менять ход событий, но, как видно, в данном случае цель оправдывает средства: желание отнять у политиканов возможность контролировать историю перевешивает зло вмешательства (исчезновение Данцигера, а вместе с ним и всей цепи событий).

Повествование завершается «хроноклазмом» — литературным приемом, который многие ценители научной фантастики признают «некорректным». Но Финней меньше всего заботится о соблюдении условных «правил». Ему важнее осуществить свой замысел: показать негативное

отношение к американской действительности, высказать суждения о неправильных путях развития цивилизации с начала XX века и преимуществах того времени, когда жизнь менялась медленнее, чем сегодня. Автор специально подчеркивает это в заключительных словах послесловия: «Вот вам и еще одна причина, почему решение Сая остаться в прошлом надо считать вполне разумным».

Сильные и слабые стороны Финнея как писателя-реалиста, прибегающего к методам научной фантастики, можно сказать, лежат на поверхности. Критический пафос романа достигает местами большой остроты и вполне убеждает читателя. Финней интересен для нас прежде всего обличительной направленностью. Ограниченность же его идейной позиции легко объяснима: она не столько индивидуальная, сколько типологическая. Как и многие другие американские писатели, фантасты и нефантасты, он противопоставляет дурной действительности не лучшее будущее, а лучшее прошлое. «Золотой век» для него позади, хотя и тихий XIX кажется далеко не идиллическим. В этом отношении Финней — романтик, один из тех, кто, по словам Ленина, «... в своих практических пожеланиях... «сравнивал настоящее с прошлым», а не с будущим ...«доказывал вечные нужды общества» посредством «развалин», а не посредством тенденций новейшего развития» (Полн. собр. соч., т. 2, стр. 237).

Вместе с тем Джек Финней в главном остается зорким художником, опирающимся на большую традицию английского и американского классического романа, и уже тем самым его книга заслуживает внимания и безусловно будет оценена по достоинству.

Евг. Брандис

1

Все шло как обычно: я сидел без пиджака и набрасывал на бумаге эскиз куска мыла, прикрепленного клейкой лентой к верхнему углу чертежной доски. Золотистая фольга обертки была тщательно отогнута, чтобы покупатель мог прочесть большую часть названия фирмы, выпускающей именно этот сорт мыла; я перепортил полдюжины оберток, прежде чем добился желаемого эффекта. Идея заключалась в том, чтобы показать продукт готовым к употреблению: возьмите его в руки, и, как говорилось в сопроводительном тексте, «ваша кожа станет нежна и на бархат похожа», — а моя задача состояла в том, чтобы изобразить его, это мыло, на бумаге под разными ракурсами.

Работа была не менее скучной, чем ее описание, и я решил передохнуть и взглянуть, благо сидел у окна, со своего двенадцатого этажа на крохотные головы прохожих внизу, на тротуаре Пятьдесят четвертой улицы. Был солнечный, пронзительно ясный день в середине ноября, и так хотелось окунуться в него, попасть туда, на улицу, и чтобы впереди лежал целый день и не маячило никаких дел — никаких обязательных дел...

У монтажного стола стоял Винс Мэндел, наш шрифтовик, худой и смуглый, — наверно, как и я, он чувствовал себя здесь сегодня взаперти; в руках он держал распылитель, а на носу у него красовалась марлевая хирургическая маска. Он наносил слой краски телесного цвета на фотографию девицы в купальном костюме, вырезанную из журнала «Лайф». Результатом его трудов должна была явиться та же девица, но уже без купальника — совершенно голенькая, не считая ленты с надписью «Мисс Ариф-

мометр» от плеча к поясу. Такого рода метаморфозы стали для Винса излюбленным занятием в рабочее время с тех самых пор, как он изобрел этот фокус; когда ретушь будет закончена, фотография, вероятно, займет место в ряду других подобных творений на доске объявлений нашего художественного отдела.

Фрэнк Дэпп, заведующий отделом, кругленький деятельный человек, пробежал рысцой к себе в кабинет, отгороженный в углу общего загона. По пути он выбил оглушительную дробь по дверце большого железного шкафа, где мы держали всякие подсобные материалы, и издал громоподобный рык. Это был привычный для него способ выпустить излишки энергии — подобно тому, как паровоз выпускает излишки пара. Ни Винс, ни я, ни Карл Джонас, работавший за соседней доской, даже не подняли головы.

Был самый обыкновенный день, обыкновенная пятница, и оставалось еще двадцать минут до обеда, пять часов до конца работы и начала уикэнда, десять месяцев до отпуски и тридцать семь лет до пенсии. И тут зазвонил телефон.

— Какой-то мужчина спрашивает вас, Сай,— сообщила Вера, телефонистка с коммутатора.— Но заранее он с вами не договаривался...

— Ничего. Это мой родственник. Он должен мне кое в чем помочь.

— Вам уже никто не поможет,— сказала Вера и повесила трубку.

Я направился к двери, размышляя, кто бы это мог быть; художник рекламного агентства, как правило, не страдает от избытка посетителей. Главная приемная находилась этажом ниже, и я пошел самой длинной дорогой, через бухгалтерию и отдел печати, но ни одной новой девушки, достойной внимания, не обнаружил.

Фрэнк Дэпп называл главную приемную «Микро-Бродвеем». Ее украшали настоящий восточный ковер, несколь-

ко стендов со старинным серебром из коллекции жены одного из совладельцев агентства и матрона с волосами цвета старинного серебра, в обязанности которой входило передавать Вере просьбы посетителей. Когда я вошел, мой посетитель стоял и рассматривал одну из наших реклам, развешанных в рамках по стенам. Я не люблю признаваться в этом, но при встрече с незнакомыми людьми я робею, хотя и научился кое-как маскировать свою робость. Вот и теперь, едва он обернулся на звук шагов, я ощутил знакомый легкий страх и мимолетное замешательство. Он был лысый и низкорослый, его макушка едва доходила до уровня моих глаз, а во мне самом-то росту едва сто восемьдесят. На вид я дал бы ему лет тридцать пять — так я решил, приближаясь к нему, и еще отметил, что у него мощная грудь и весит он явно больше меня — а ведь не толст. Одет он был в оливково-зеленый габардиновый костюм, который совсем не шел к его розовым щекам и рыжим волосам. «Надеюсь, он не коммивояжер», — подумал я. Тут он улыбнулся — улыбка у него оказалась настоящей, она сразу понравилась мне, и волнение мое улеглось. «Ну нет, — сказал я себе, — этот ничем не торгует», — и не мог бы ошибиться сильнее, чем ошибся тогда.

— Мистер Морли?

Я кивнул, улыбнувшись ему в ответ.

— Мистер Саймон Морли? — повторил он вопрос, будто опасался, что у нас в агентстве несколько человек с фамилией Морли, и хотел убедиться, что я именно тот, кто ему нужен.

— Да.

Но он все еще не был удовлетворен.

— Вы случайно не помните свой воинский номер?

Взяв меня под локоть, он двинулся из приемной в сторону лифтов, подальше от секретарши. Я отбарабанил свой номер, даже не успев удивиться, почему это я отвечаю ему, незнакомому человеку, без всяких встречных вопросов.

— Все верно! — сказал он с одобрением, и я почувствовал себя польщенным. Мы уже вышли в коридор, поблизости никого не было.

— А вы что, из армии? Если да, то у меня сегодня штатское настроение...

Он улыбнулся, но, как я про себя отметил, оставил вопрос без ответа.

— Меня зовут Рюбен Прайен, — заявил он и выждал, словно думал, что я узнаю его по имени, потом продолжал: — Конечно, следовало позвонить и договориться с вами о встрече, но я очень спешу, вот и рискнул заскочить к вам...

— Это не страшно, я тут ничем, кроме работы, не занят. Чем могу быть полезен?

Он скорчил смешную физиономию — мол, объяснить мне не так-то просто.

— Мне придется занять у вас около часа времени. И не откладывая, если можно. — Он и сам был, видимо, слегка смущен. — Вы уж извините меня, но... поверьте мне пока на слово, и я буду вам очень признателен...

Тут-то я и попался — он меня заинтересовал.

— Ладно. Сейчас без десяти двенадцать. Вы не хотите перекусить? Могу уйти на обед чуть пораньше...

— Отлично, только я не хотел бы разговаривать в помещении. Давайте возьмем бутербродов и пойдем в парк. Договорились? Сегодня не очень холодно.

Я кивнул.

— Схожу за пальто и вернусь к вам сюда. Вы меня просто заинтриговали. — Я постоял в нерешительности, присмотрелся внимательно к этому приятному, крепко сбитому лысому человеку, а затем высказался начистоту: — Да вы, паверно, и сами это знаете. Вы ведь не в первый раз проделываете такую штуку, не правда ли? Включая и показное замешательство...

Он усмехнулся и слегка прищелкнул пальцами.

— А я-то думал, что у меня получается! Что ж, при-

дется еще порепетировать перед зеркалом. Идите же за своим пальто — мы теряем время...

Мы вышли на Пятую авеню и пошли на север, мимо немислимых зданий из стекла и стали, стекла и блистающего металла, стекла и мрамора — и зданий постарше, в которых больше камня, чем стекла. Умопомрачительная, прямо невероятная улица; я никак не могу к ней привыкнуть, да, должно быть, и пикто не может. Есть ли в мире другая такая улица, где гряда облаков отразилась бы целиком в окнах одной стены одного-единственного дома да еще и место осталось бы? Сегодня на Пятой авеню было особенно хорошо, температура поднялась градусов до десяти, и воздух наполняла приятная прохлада поздней осени. К тому же наступил полдень, и из всех контор, мимо которых мы проходили, выбегали, пританцовывая, красивые девушки, и я подумал: как жаль, что с большинством из них я никогда не познакомлюсь и даже не перекинусь словом. Вот тут-то мой маленький лысый провожатый и заговорил:

— Я сейчас выскажу то, с чем пришел к вам, а потом вы можете задавать вопросы. Не исключено, что я даже отвечу на некоторые из них. Однако все, что я вправе сообщить вам по существу, затянется самое большее на два квартала. Я проделывал это уже тридцать с чем-то раз, но до сих пор не знаю, какие выбрать выражения, чтобы они звучали не как совершенный бред. Ну, ладно, слушайте.

Дело касается некоего проекта. Пожалуй, следует сказать — правительственного проекта. Секретного, разумеется, — впрочем, в наше время несекретных дел у правительства просто не осталось. По моему убеждению и по убеждению горстки осведомленных лиц, этот проект важнее, чем все ядерные программы, космические исследования, спутники и ракеты, вместе взятые, важнее, хотя и значительно меньше по масштабам. Скажу сразу, что не могу позволить себе даже намека на то, какой характер носит

этот проект. А вы сами, уж поверьте мне, ни за что не догадаетесь. Зато могу и хочу сказать другое: ни одно предприятие, когда-либо затеянное людьми за всю сумасшедшую историю человечества, не идет ни в какое сравнение с этим проектом по смелости. Когда мне впервые случилось осознать его суть, я две ночи не спал, и я ничуть не сгущаю краски — не спал в буквальном смысле слова. Да и на третью ночь уснул только после снотворного, а ведь считаюсь человеком уравновешенным и спокойным. Вы слушаете меня?..

— Слушаю. Если я вас правильно понял, вы открыли наконец нечто еще более интересное, чем любовь.

— Может, со временем вы и сами убедитесь, что не преувеличили. Даже путешествие на Луну покажется пресным по сравнению с тем, что вам, возможно, предстоит испытать. Это величайшее из приключений. Я отдал бы все, что у меня есть, и все, что когда-нибудь будет, просто за то, чтобы побывать в вашей шкуре, отдал бы годы жизни за один только шанс как-то подменить вас. Вот, собственно, и все, дружище Морли. Я мог бы говорить еще и буду говорить еще, но в сущности все, что я должен был сказать, я уже сказал. Кроме одного: вас приглашают участвовать в этом проекте. Приглашают не из-за каких-то особых ваших добродетелей или достоинств, а просто в силу слепого счастья. Теперь вы вольны принять это предложение или отказаться. Дело ваше. Понимаю, что предлагаю kota в мешке, но знали бы вы, какого kota!.. Тут на Пятьдесят седьмой улице неплохой кулинарный магазин — какие бутерброды вы любите?..

Мы купили бутербродов и яблок и прошли еще два квартала до Централ-парка. Прайен ждал хоть какого-нибудь ответа, и с полквартала мы прошагали в полном молчании, потом я раздраженно пожал плечами — я и хотел бы быть вежливым, но не придумал никакого ответа.

— Что, по-вашему, я должен вам сказать?

— Что хотите.

— Ну, ладно: почему я?

— Ну что ж, как выражаются политические деятели, я рад, что вы задали этот вопрос. Нам нужен не просто любой человек, а такой, который обладает определенными качествами. Довольно специфическими качествами, и список их достаточно велик. Кроме того, эти качества должны быть представлены, так сказать, в определенной пропорции. Сначала мы этого не знали. Думали — подойдет почти любой энтузиаст, если он умен и молод. Например, я. Но теперь мы знаем — или думаем, что знаем, — что наш кандидат должен отвечать определенным требованиям и физически, и психологически, и по темпераменту. У него должен быть особый взгляд на вещи. Он должен обладать способностью, оказывается довольно редкой, видеть все вокруг таким, как оно есть, и одновременно таким, как оно могло бы быть. Если только вы понимаете, что я имею в виду. Может, и понимаете. Может статься, нам нужен именно такой взгляд на мир, какой присущ художнику. Это лишь некоторые из требований к кандидату — есть и другие, но о них я пока умолчу. Вся беда в том, что по той или иной причине нашим требованиям не удовлетворяет почти никто на Земле. Единственным целесообразным способом выявления возможных кандидатур оказалось изучение армейских тестов для новобранцев — вы их, наверно, помните...

— Смутно.

— Уж и не знаю, сколько подобных тестов пришлось проанализировать, это вне моей компетенции. Вероятно, миллионы. На первой стадии применяются электронно-вычислительные машины — они отделяют всех, кто явно не подходит. А таких абсолютное большинство. После этого в дело включаются живые люди. Мы не хотим пропустить ни одной возможной кандидатуры — потому что выяснили, что их чертовски мало. Мы просмотрели бог знает сколько миллионов личных дел на военнотружущих обоих полов. Почему-то среди женщин кандидаты выявляются чаще,

чем среди мужчин; хотелось бы, чтобы в армии было больше женщин. Но так или иначе некто Саймон Л. Морли с названным вами многозначным воинским номером похож на вероятного кандидата. Как случилось, что вы дослужились только до ефрейтора?

— Отсутствие наклонностей к шагистике и прочим идиотским вещам.

— Кажется, это называется «что ни шаг, то с левой»? Из всех выявленных нами кандидатов — а их всего-то около сотни — примерно пятьдесят выслушали то же, что и вы до сих пор, и наотрез отказались. Пятьдесят других согласились, но более сорока из них провалились на последующих испытаниях. И вот после чертовой уймы работы у нас остались пять мужчин и две женщины, которые, быть может, подойдут. Большинство из них, если не все, вероятно, не смогут выполнить первое же настоящее задание — у нас нет ни одного, в ком мы можем быть действительно уверены. Мы хотели бы заполучить кандидатов двадцать пять, если сумеем. Хотели бы сотню, да не верим, что столько наберется во всем мире; во всяком случае, мы не ведаем, как их разыскать. И вот вы, возможно, один из немногих...

— Ну и ну!..

У Пятьдесят девятой улицы мы остановились по сигналу светофора, я увидел своего собеседника в профиль и сказал:

— Рюбен Прайен. Ну да! Вы же играли в регби. Когда это было? Лет десять назад...

Он повернулся ко мне с улыбкой.

— Вспомнили!.. Только было это пятнадцать лет назад — я вовсе не так завидно молод, как вам, наверно, кажется.

— За кого же вы играли? Что-то я не припомню.

Зажегся зеленый свет, и мы сошли с тротуара на мостовую.

— Уэст-Пойнт *.

— Так я и знал! Значит, вы в армии?

— Ну да...

Я затряс головой.

— Тогда прошу прощения, но меня вы не заманите. Придется вам вызвать пятерку дюжих ребят из военной полиции и тащить меня волоком, и то я буду орать и лягаться всю дорогу. Перспектива бессонных ночей в армии меня не соблазняет, я свое отслужил.

Мы пересекли улицу, поднялись на тротуар, потом свернули на грунтовую аллею Сентрал-парка и пошли вдоль нее, высматривая свободную скамейку.

— Чем же плоха армия? — спросил Рюбен с напускной обидой.

— Вы сказали, вам понадобится час. Мне потребовалась бы неделя, чтобы только перечислить по пунктам...

— Ладно, не надо в армию. Идите во флот, мы вам присвоим любое звание от мичмана до капитан-лейтенанта. Или в министерство внутренних дел, — Рюбен снова был в хорошем настроении, — в министерство связи, если хотите. Выбирайте себе любое правительственное ведомство, кроме госдепартамента и дипломатического корпуса. Любую должность, лишь бы она была не выборная и с окладом не выше двенадцати тысяч долларов в год. Поэтому что, Сай, — можно мне называть вас Сай?..

— Разумеется.

— А вы зовите меня Рюб, если хотите. Так вот, Сай, неважно, где вы будете числиться в штате. Когда я говорю, что проект секретный, я имею в виду именно то, что говорю. Наш бюджет рассыпан по бухгалтериям всевозможных департаментов и бюро, а сотрудники наши числятся где угодно, только не у нас. Официально нас про-

* Уэст-Пойнт — место в штате Нью-Йорк, где расположена Академия генерального штаба американской армии и некоторые другие военные учреждения. — *Здесь и далее примечания переводчиков.*

сто не существует, а я — да, я все еще военный. Служба идет, пенсия приближается, и, кроме того, как ни странно, но армия мне нравится. Правда, мундир мой висит в шкафу, честь я никому сейчас не отдаю, а приказы по большей части получаю от историка, временно откомандированного из Колумбийского университета... На скамейках в тени прохладно, давайте сядем на солнышке.

Мы выбрали местечко метрах в десяти от аллеи подле большого черного валуна, присели на солнечной стороне, откинувшись на теплый камень, и развернули свои бутерброды. К югу, западу и востоку вздымались громады зданий, нависали над границами парка, как банда, готовая напасть на него и залить всю зелень бетоном.

— Вы, наверно, еще в школу ходили, когда читали про Рюба Прайена, быстрогого полузащитника...

— Наверно. Мне сейчас двадцать восемь.

Я откусил кусок бутерброда.

— Вам будет двадцать восемь одиннадцатого марта, — сказал Рюб.

— Вы и это знаете? Ваши сыщики недаром хлеб едят...

— Это же у вас в армейском личном деле записано. Но нам известно кое-что, чего там нет. Например, мы знаем, что два года назад вы развелись с женой, и знаем, почему.

— А вы не могли бы мне рассказать, почему? Я лично все еще не знаю.

— Вы все равно не поймете. Нам также известно, что за последние пять месяцев вы встречались с девятью женщинами и только с четырьмя из них больше одного раза. Что за последние полтора месяца все отчетливее выделяется одна. Тем не менее мы полагаем, что для второго брака вы еще не созрели. Может, вы и подумываете об этом, но, наверно, все еще боитесь. У вас есть два приятеля, с которыми вы время от времени обедаете вместе или ужинаете. Родители ваши умерли. У вас нет ни братьев, ни...

Кровь бросилась мне в лицо; я почувствовал это сам и постарался, чтобы мой голос звучал как можно ровнее.

— Рюб,— сказал я,— лично вы мне нравитесь. Но, мне думается, я могу спросить: кто дал вам или кому бы то ни было право совать свой нос в мои дела?

— Не сердитесь, Сай. Не стоит. Мы не так уж далеко залезли. Да и не делали ничего сверхъестественного и ничего противозаконного. Мы не то что иные правительственные учреждения, которые я мог бы и назвать,— мы не считаем себя подотчетными только господу богу. Мы не подслушиваем телефонных разговоров, не устраиваем тайных обысков. Короче, закон и про нас писан. Но перед тем как нам расстаться, я хотел бы просить у вас разрешения обыскать вашу квартиру до того, как вы туда сегодня вернетесь.

Я плотно сжал губы и покачал головой. Рюб улыбнулся, наклонился ко мне и тронул меня за руку.

— А я просто дразню вас. Но надеюсь, вы еще передумаете. Ведь я предлагаю вам чертовски увлекательную вещь, самую замечательную из всего, что когда-либо пережито человеком.

— И не хотите сказать мне о ней ничегошеньки? Удивляюсь, как вы семерых-то нашли. Даже одного...

Рюб уставился на траву, размышляя, что бы мне еще сказать, потом опять взглянул на меня.

— Мы хотели бы знать больше, чем знаем,— сказал он отдельно.— Хотели бы подвергнуть вас некоторым испытаниям. В то же время пам, кажется, и сейчас известно кое-что о вас, о строе ваших мыслей. Например, у нас есть две картины кисти Саймона Морли, приобретенные прошлой весной на выставке вашего художественного отдела, плюс одна акварель и несколько эскизов — за все заплачено сполна. Нам известно в общем, что вы за человек, да и сегодня я кое-что узнал. Думаю, что могу вам сказать: я почти гарантирую вам, нет, я, пожалуй, прямо гарантирую, что если вы примете мои слова на веру и подпишете

контракт на два года, то — при условии, что благополучно пройдете дальнейшие испытания, — скажете мне спасибо. Увидите, что я был прав. И скажете даже, что вас бросает в дрожь при мысли о том, как легко вы могли бы упустить свой шанс. Как по-вашему, Сай, сколько всего людей когда-либо родилось на свет? Пять-шесть миллиардов? Так вот, если вы выдержите испытания, то станете одним из десятка, а может, и вообще одним-единственным на все эти миллиарды, кто пережил величайшее приключение за всю историю человечества!..

Тирана произвела на меня впечатление. Я молча жевал яблоко, уставившись в одну точку. Внезапно я повернулся к нему:

— А ведь вы так и не сказали ни черта сверх того, с чего начали!..

— Вы это заметили? Некоторые не замечают. И это, Сай, все, что я вправе сказать!

— Вы просто скромничаете. У вас все расписано, как по нотам. Черт возьми, Рюб, что вы хотите, чтобы я вам сказал? «Да, согласен, где расписаться?..»

Он кивнул.

— Трудно, я знаю. Но другого способа просто нет, вот и все. — Он посмотрел на меня пристально и тихо сказал: — Вам-то легче, чем многим другим. Вы не женаты, детей у вас нет. И работа ваша вам осточертела — мы и это знаем. Так оно же естественно! Работа у вас действительно ерундовая, и делать-то ее не стоит. Вам скучно, вы недовольны собой, а время идет. Через два года вам стукнет тридцать, а вы все еще не решили, что делать в жизни...

Рюб откинулся на теплый камень и отвел взгляд в сторону — на аллею, на людей, снующих туда-сюда под полуденным осенним солнцем; он давал мне возможность поразмыслить. А ведь он только что сказал сущую правду... В конце концов я повернулся к нему снова — он только того и ждал.

— Рискните,— предложил он.— Сделайте глубокий вдох, закройте глаза, зажмите нос и ныряйте! Или вы предпочитаете по-прежнему продавать мыло, жевательную резинку и дамские лифчики или что там еще есть у вас в репертуаре? Вы же молодой человек, черт побери!..

Он потер руки, стряхивая крошки, затем легко, по-спортивному быстро встал. Я тоже встал. Удивляясь собственному раздражению, спросил:

— Не слишком ли много вы хотите — чтобы я доверился вот так, на слово, совершенно незнакомому человеку? А если я влезу в ваше таинственное предприятие и окажется, что там нет ничего интересного?

— Исключено.

— Ну, а если?..

— Как только мы удостоверимся, что вы действительно нам подходите, мы расскажем вам, в чем дело, но мы должны быть уверены, что вы с нами. Нам нужно ваше предварительное согласие — только так и не иначе.

— Мне придется куда-нибудь поехать?

— Со временем. Придумав версию для знакомых. Ни к чему, чтобы кто-нибудь начал вдруг допытываться, куда запропастился Сай Морли.

— Это опасно?

— Видимо, нет. Но, сказать по правде, мы просто не знаем.

Направляясь к выходу из парка у перекрестка Пятой авеню и Пятьдесят девятой улицы, я размышлял о том, как сложилась моя жизнь в Нью-Йорке — два года назад я приехал сюда в поисках куска хлеба, чужак художник из Буффало с папкой эскизов под мышкой. Время от времени я обедал с Лэнни Хайндсмитом, художником, которого встретил на первой своей нью-йоркской работе; после обеда мы обычно шли с ним в кино или в кегельбан или еще куда-нибудь. Случалось, и довольно часто, что я играл в теннис с Мэттом Флэксом, бухгалтером из моего нынешнего агентства; кроме того, Мэтт ввел меня в компанию, где каждый

понедельник собирались и играли в бридж. Пэрл Москетти служила бухгалтером — экспертом по парфюмерии — это тоже на первой моей работе; с ней мы встречались, а иногда проводили вместе весь уикэнд, но в последнее время я ее, признаться, не видел. Вспомнил я и Грейс Энн Вундерлих, приезжую из Сиэттла, с которой ненароком познакомился в баре «Лонгчемпс», что на углу Сорок девятой улицы и Мэдисон-авеню; она сидела за отдельным столиком и плакала от одиночества над своим коктейлем. С тех пор при каждой встрече мы слишком много пили, по-видимому следуя примеру первого раза. Но больше всего я думал о Кэтрин Мэнкузо, с которой теперь виделся все чаще и чаще и которой, как начал подозревать, когда-нибудь сделаю предложение.

Думал я и о своей работе. В агентстве мной были довольны, и зарабатывал я неплохо. Конечно, не о таком я мечтал, когда учился в художественной школе в Буффало, но, собственно, я тогда и сам не представлял, чего хочу.

В общем и целом все у меня складывалось отнюдь не дурно. Не считая того, что в этой моей жизни, как и в жизни большинства моих знакомых, зияла огромная дыра, какая-то чудовищная каверна, и я понятия не имел ни о том, как ее заполнить, ни даже о том, что могло бы ее заполнить. Рюбу я сказал:

— Бросить работу. Бросить друзей. Исчезнуть. Почему я знаю, что вы не какой-нибудь новоявленный работоторговец?

— А что, похож?

Выйдя из парка, мы опять остановились у перекрестка:

— Ну вот что, Руб,— сказал я,— сегодня пятница. Можно мне хотя бы подумать? Субботу и воскресенье. Не надейтесь, что я соглашусь, но в любом случае дам вам знать. Не представляю себе, что еще сказать вам сию минуту...

— Как насчет разрешения на обыск? Я хотел бы сразу же позвонить из ближайшего автомата, вон из «Плазы»,—

он кивнул на старую гостиницу по другую сторону Пятдесят девятой улицы, — и не откладывая послать человека к вам домой...

Я вновь ощутил, что к лицу приливает кровь.

— Что вы будете там искать? Сами не знаете?

Он кивнул.

— Если там есть письма, он их прочтет. Если что-то припрятано — найдет.

— Ладно, черт бы вас побрал! Валяйте! Только ни шиша интересного он там не отыщет!..

— Знаю, — Рюб прямо-таки потешался надо мной. — Он и смотреть не станет. Никому я звонить не собираюсь. Никто не будет обыскивать вашу халупу, да никому это и не нужно.

— Какого же дьявола вы мне морочите голову?

— А вы не догадываетесь? — С минуту он пристально глядел на меня, потом широко улыбнулся. — Вы еще не догадываетесь и даже не поверите мне, но дело в том, что решение вы уже приняли.

2

В субботу с утра Кейт и я поехали на денек в Коннектикут. Погода держалась ясная, солнечная — такой долгой осени я и не припомню. Мы спешили воспользоваться ею, пока не поздно, и отправились в путь на принадлежащей Кейт таратайке. Это была старая-престарая таратайка с подножками, откидным верхом и выступающим радиатором, и хотя Нью-Йорк — город мало приспособленный для автовладельцев, Кейт все-таки держала ее: машина точне-

хонько втискивалась в узкое пространство между домами близ ее магазинчика, если, нарушив правила движения, въехать на тротуар. Правда, забираться в машину и выбираться из нее приходилось перелезая через багажник, зато не надо было платить за гараж, что оказалось бы Кейт не по средствам.

У нее был крохотный антикварный магазин на Третьей авеню в районе Сороковых улиц. Как-то раз мне понадобилась для очередной рекламы старинная настольная лампа, и я подошел к магазинчику Кейт и остановился у витрины, а она в ту минуту доставала оттуда какую-то безделушку. Я взглянул на Кейт — интересная девушка, густые темно-каштановые волосы медного, но не рыжего оттенка, слегка веснушчатая кожа, карие глаза, какие и должны быть при таких волосах. Но приворожило меня не лицо, вернее не черты лица, а его выражение. Достаточно было одного взгляда, чтобы понять: такое лицо принадлежит очень хорошему человеку. И, наверное, поэтому, едва она взглянула на меня, я набрался смелости и, прежде чем сообразил, что именно этой смелости мне обычно и не хватает, сложил пальцы щепоткой и послал ей в витрину воздушный поцелуй, чуть скосив глаза. Она улыбнулась, а я, пока не растерял еще непривычную смелость, вошел в магазин в надежде, что найду какие-нибудь подходящие слова. И нашел-таки: я заявил ей, что мне нужна новая наполеоновская треуголка, поскольку прежнюю у меня украли. Она опять улыбнулась, окончательно доказав мне доброту своей натуры, и мы разговорились. И хотя мое предложение пойти выпить по чашке кофе было тогда отвергнуто, я вернулся на следующий день, и мы поужинали вместе...

Не стану пересказывать здесь того, что касается только Кейт и меня. Я читал немало таких описаний — со всеми и всяческими подробностями, без купюр; подчас, когда это было хорошо написано, мне даже нравилось то, что я читал. Однако сам я человек другого склада, и точка. Я не хо-

тел бы, я просто не могу себе представить, чтобы все знали обо мне все. Мне нравится об этом читать, но у меня нет ни малейшего желания это описывать. Кроме того, ничего особенного я и не утаиваю. Так что если вам померещится, что вы что-то такое видите между строк, то, может, вы и правы, а может, и нет. В любом случае не подробности наших отношений с Кейт составляют предмет моего рассказа.

Мне казалось, что за субботу и воскресенье я и не вспоминал толком о Рюбе и его предложении. Тем не менее в понедельник в два тридцать пополудни, покончив с последним эскизом из «мыльной серии», я зашел в кабинет к Фрэнку Дэппу, положил эскизы ему на стол и уже повернулся, чтобы уйти, но вместо того открыл рот и не без удивления услышал, что прошу расчет. Мне удалось кое-что накопить, сказал я Фрэнку, и теперь, пока еще не поздно, я хочу посмотреть, не получится ли из меня серьезный художник. Это была ложь, и тем не менее я о чем-то таком, случалось, подумывал.

— Хотите заняться живописью? — спросил Фрэнк, откинувшись на спинку стула.

— Нет. В наше время живонись становится все более абстрактной и беспредметной.

— Вы разве антиабстракционист?

— Да нет. Пожалуй, я даже поклонник Мондриана *, хоть и считаю, что он в конце концов зашел в тупик. Если у меня и есть какие-то наклонности, то разве к бытовым сюжетам. Судя по всему, займусь графикой.

Фрэнк задумчиво кивнул. Он и сам мечтал о том же, но у него было двое детей-школьников, и скоро им придет пора поступать в колледж. Он сказал, что если мне так уж приспичило, то я могу уйти, как только сдам текущую работу, да и вообще он хотел бы по такому случаю выпить

* Мондриан, Питер Корнелий (1872—1944) — голландский художник, живший и работавший в основном в Париже; считается одним из основоположников «чистого абстракционизма».

со мной на счастье, и я сказал спасибо, чувствуя себя свиньей из-за того, что солгал ему, и спустился на лифте в вестибюль, к телефону-автомату. Войдя в будку, я набрал номер, который дал мне Рюб.

Соединиться с ним оказалось нелегким делом. Сперва мне ответила женщина, потом мужчина, потом пришлось подождать еще минуты две, и телефонистка потребовала, чтобы я опустил еще монету. Наконец к аппарату подошел Рюб, и я сказал:

— Звоню вам, чтобы предупредить, что, если я пойду на эту затею, мне придется поделиться с Кэтрин...

— Ну что ж, пока мы не убедимся в том, что вы нам подходите, вам будет нечем особенно-то делиться. Если окажется, что вы не подходите, мы извинимся за беспокойство, и в таком случае не возникнет необходимости о чем-либо с ней говорить. Вас это устраивает?

— Вполне.

— Если же вы действительно станете полноправным участником проекта и узнаете, чем мы тут занимаемся...— Он помедлил.— Ну, так, черт побери, скажете ей, если вам так уж эгого хочется. У нас есть двое женатых, и жены их в курсе дела. Мы взяли с них подписку о неразглашении и падемся, что все будет в порядке.

— Ладно. А что, если она проболтается? Или я сам? Все-таки интересно.

— Ночью к вам по дымоходу спустится некто в черном трико и в маске и выстрелит в вас из бесшумного пневматического ружья парализующей стрелой. Затем он замуровывает вас в прозрачный пластмассовый куб до 2001 года. О господи, да ничего не будет! Думаете, вас прикончит ЦРУ или еще что-нибудь в таком духе? Все, что мы можем, так это подбирать людей, которым, по нашему мнению, стоит доверять. А вашу Кэтрин мы, между прочим, видели и кое-что о ней осторожненько разузнали. Если начистоту, то из вас двоих я бы скорее доверился ей, чем вам. Ну, так по рукам?

Был соблазн выдержать паузу, но я не стал кокетничать.

— По рукам.

— Хорошо. В первый же свободный день приезжайте к нам часам к девяти утра. Запишите адрес...

И вот три дня спустя, в четверг утром, в начале десятиго, слишком взволнованный, чтобы высадить в такси, я шел под дождем — хорошая погода, увы, кончилась — и искал адрес, который назвал мне Рюб. Недоумение мое все возрастало: я находился в северо-западной части города, в районе небольших фабрик, мелкооптовых фирм и мастерских, механических и переплетных. По обеим сторонам улицы, впритык друг к другу, теснились машины, поставленные правыми колесами на тротуар. Сам тротуар был захламлен мокрой бумагой, мятыми картонными стаканчиками, битым стеклом, и, кроме меня, на улице не было ни души. Сверяясь с адресом, я шел на запад, к реке. Прошел мимо грязного, некогда оштукатуренного здания; в окнах виднелись штабеля картонных ящиков, а вывеска оповещала: «Баз Баннистер, световые рекламы». Следующими были «Братья Фиоре, новинки оптом»; на двери красовался висячий замок, а в подъезде лежала разбитая бутылка из-под вина. Напротив, по другую сторону пустынной улицы, тянулся металлический сетчатый забор, а за ним ржавеющие под дождем пирамиды автомобильных кузовов, побывавших под прессом.

Я начинал подумывать, что пал жертвой розыгрыша и что Рюб Прайеп просто... кто? Актер, нанятый специально для того, чтобы разыграть меня? Вряд ли — и все же если адрес, который он дал мне, действительно существовал, то приходился на следующий квартал, а этот квартал занимало одно огромное шестизэтажное здание из красного, почерневшего от сажи кирпича; здание венчала обветренная деревянная водонапорная башня, а чуть пониже крыши шла выплывшая белая надпись: «Братья Бийки, перевозки

и хранение грузов, 555-8811», и, судя по виду надписи, ее не обновляли много лет.

Окон в здании не было вовсе, кроме двух на ближнем ко мне углу. Стекло зеркальных витрин, расположенных на уровне улицы, несло на себе облезлые золотые буквы: «Братья Бийки». Сквозь стекло просматривалась маленькая контора — за столом у окна сидела девушка и выбивала счета на электрической счетной машине. На кирпичной стене, обращенной ко мне, краской в прямоугольной рамке было обозначено: «Междугородные и местные перевозки. Складские работы и хранение грузов. Подряды по всем объединенным грузовым автолиниям», а внизу у железных ворот стоял зеленый фургон с той же надписью: «Братья Бийки, перевозки и хранение грузов». Двое в белых спецовках кидали тюки одеял защитного цвета в заднюю дверь фургона.

Мне ничего не оставалось, как подойти к зданию, хотя я и знал заранее, что номер будет не тот, который дал мне Рюб. Так оно и оказалось. Я прошел мимо и двинулся дальше под холодным дождем вдоль обшарпанной кирпичной стены. Меж стеной и тротуаром из узкой полоски утрамбованной земли выбивались хилые обломанные кустики. За их жесткие веточки цеплялись обрывки целлофана, на стене краскораспылителем были выведены похабные слова, и я начал даже размышлять, хватит ли у меня духу попроситься у Фрэнка обратно на работу.

В самом конце здания меня ждала простая деревянная дверь с потертой медной ручкой и замочной накладкой. Серая краска потрескалась и местами слезла вообще, а дверь, казалось, не открывали годами. Однако над ней на мокрых кирпичах — белые цифры облупились настолько, что почти и не разобрать, — был нанесен нужный мне номер. Я постучал в дверь. Никакого ответа, лишь откуда-то сверху доносился будничный грохот большого города да дождь барабанил по капотам и крышам машин у меня за спиной. Я не верил, что кто-нибудь отзовется на мой стук,

не верил, что там за дверью есть кто-то, кто мог бы отозваться.

Но я ошибся. Ручка повернулась, дверь открылась, и на пороге вырос черноволосый молодой человек в белой спецовке; над нагрудным кармашком спецовки красными нитками было вышито имя Дон, а в руке он держал номер «Спортс иллюстрейтед».

— Привет,— сказал он.— Заходите. Ну и погодка!

И я вошел. Мы очутились в тесной, не больше десяти квадратных метров, комнатухе без окон, освещенной лампами дневного света; там был письменный стол, вращающееся кресло и три облезлых дубовых стула с прямыми спинками. На стене висел фирменный календарь «Братьев Бийки» и несколько фотографий — улыбающиеся шоферы и грузчики у вереницы фирменных грузовиков.

— Ну, мистер,— сказал человек в спецовке, садясь за стол,— так чем можем служить? Перевозки? Хранение?..

Я ответил, что мне нужен Рюб Прайен, в глубине души опасаясь, что он посмотрит на меня с недоумением; однако он спросил мою фамилию, набрал номер и, показав подбородком в сторону крючков на стене, предложил:

— Повесьте плащ и шляпу.— Затем в телефон: — Мистер Морли спрашивает мистера Прайена.— Выслушав ответ, сказал: — Хорошо,— и повесил трубку.— Сейчас он придет. Чувствуйте себя как дома...

С этими словами молодой человек откинулся в кресле и углубился в свой журнал.

Я сидел и старался представить себе, что же будет дальше, однако зацепиться было совершенно не за что, и я принялся разглядывать развешанные по стенам фотографии. Одна из них была подписана: «Наша команда, 1921», и на ней был изображен фургон фирмы «Бийки», старый-престарый фургон с колесами на спицах и литыми резиновыми шинами; половина «команды» носила роскошные усы.

Справа от меня щелкнула дверь, заделанная заподлицо со стеной. Я обернулся на звук — и обратил внимание, что с нашей стороны ручки нет и в помине. Появился Рюб, придержал дверь ногой, чтоб не закрылась. На нем были чистые холщовые штаны и белая, с открытым воротом футболка.

— Ну что, нашли нас? — Он протянул мне руку. — Привет, Сай. Рад вас видеть.

— Спасибо. Как видите, нашел. Невзирая на маскировку.

— Собственно, это даже не маскировка. — Он поманил меня и, когда мы вошли, отпустил дверь; она негромко лязгнула, и я сообразил, что это окрашенный металл. Мы оказались в коротком коридорчике с бетонным полом, лицом к лицу с зелеными эмалированными дверями лифтов, и Рюб протянул из-за моего плеча руку, чтобы нажать кнопку. — Здание такое, каким оно было на протяжении многих лет. Во всяком случае, снаружи. Еще десять месяцев назад здесь действительно находилась фирма по перевозкам и хранению, такое семейное дело. Мы купили эту фирму и до сих пор занимаемся понемногу и перевозками и хранением в небольшом отгороженном помещении — ровно столько, чтобы сохранить видимость...

Дверь лифта скользнула в сторону, мы вошли в кабину, и Рюб нажал кнопку «6». Все остальные кнопки, кроме «1», были заклеены грязной лентой.

— Прежних работников, кто постарше, отправили на пенсию, других постепенно заменили нашими людьми. Меня, например, «наняли», и мне пришлось с месяц поработать такелажником. Едва не помер... — Рюб улыбнулся хорошей, открытой улыбкой, на которую я невольно ответил. — Потом мы чуть повысили тарифы — немного, совсем чуть-чуть. И клиенты, как правило, стали обращаться к конкурирующей фирме. Тем не менее все выглядит по-прежнему. Дело идет, пришлось даже приобрести два новых фургона. Чертову уйму барахла вывезли отсюда в этих

закрытых фургонах — собственно, все нутро здания. И, пожалуй, еще больше ввезли...

Зеленая дверь открылась, и мы вышли в коридор. Здесь все было отчетливо новое, все как в любом современном учреждении: покрытые пластиковой плиткой, натертые полы и свет, падающий сквозь окна в потолок; бежевые крашенные стены и черные стрелки — указатели направлений и номеров комнат; свернутые пожарные шланги под стеклом; кое-где фонтанчики с питьевой водой; пронумерованные двери заподлицо со стеной, и у каждой двери черно-белые пластмассовые таблички. Проходя мимо, я читал эти таблички в надежде узнать хоть что-нибудь, но на них стояли только ничего не говорящие мне фамилии: м-р У. О'Нил, м-р В. Зальян, мисс К. Вич...

Рюб показал рукой на очередную дверь; пластмассовая табличка сбоку гласила: «Отдел найма».

— Придется начать отсюда: анкеты, налоги, удержания, страховка и так далее. Без всей этой ерунды даже мы обойтись не можем... — Он открыл дверь, уступая мне дорогу, и мы очутились в небольшой приемной, наполовину занятой большим столом; за столом сидела девушка и печатала на машинке. — Роза, это Саймон Морли, наш новый сотрудник. Знакомьтесь, Сай, это Роза Макаби.

Мы поздоровались, и Рюб спросил:

— Сколько вам потребуется, Роза? Примерно полчаса?

Она ответила, что минут двадцать пять. Рюб сказал, что он вернется за мной, и удалился.

— Сюда, пожалуйста, мистер Морли. — Девушка открыла еще одну дверь и провела меня в соседний кабинет, без окна и почти без мебели; свет шел сверху через проем в потолке. — Садитесь, пожалуйста. — Я подошел к столу и сел во вращающееся кресло. — Анкеты все здесь. — Она открыла ящик и вынула штук шесть-восемь скрепленных вместе анкет разных цветов и размеров. Сняла скрепку и разложила их под настольной лампой, включив ее свободной ру-

кой. — Вот они. Заполните все подряд, мистер Морли; сначала эту, длинную. Вот вам ручка. — Она подала мне шариковую ручку. — Это не должно занять у вас слишком много времени. Если что будет неясно, позовите меня. — Она показала кивком на маленький столик около моего кресла; крышка столика была украшена сложным узором — инкрустацией по дереву, и на ней, точно в центре, расположился белый телефон.

Девушка улыбнулась и вышла, прикрыв за собой дверь. Я взял ручку и огляделся. У стены напротив стоял зеленый картотечный шкаф, за спиной у меня висело зеркало, а справа у двери небольшая акварель в рамке — крытый мост, сделано неплохо, но в общем заурядно. Больше смотреть оказалось не на что, и я сосредоточил свое внимание на бумагах, разложенных под настольной лампой; тут были формы для удержания налогов, страховки на возможную госпитализацию и все такое прочее. Придвинул к себе длинную анкету, озаглавленную «Листок по учету кадров», и начал заполнять ее. В первый пункт я вписал свою фамилию и имя, затем место рождения: Гэри, штат Индиана; день рождения: 11 марта 1942 года — и еще успел подумать: «Неужели кто-нибудь будет все это читать?..» На столике у самого моего локтя вдруг зазвонил телефон, я повернулся в кресле, поднял трубку — и по спине у меня невольно пробежал холодок: телефон был зеленый. А ведь только что, минуту назад, он был белым — я твердо помнил это, но тем не менее теперь он стал зеленым.

— Да? — сказал я в трубку.

— Мистер Морли, за вами пришел мистер Прайен. Вы уже заканчиваете?

— Заканчиваю? Да я только начал..

Последовала секундная пауза.

— То есть как это — только начали? Мистер Морли, вы сидите там уже... — она помолчала, будто сверяясь с часами, — уже больше двадцати минут,

Я не знал, что и сказать.

— Вы ошибаетесь, мисс Макаби. Я только-только начал...

В голосе ее нетрудно было почувствовать сдержанное раздражение.

— Будьте добры, заканчивайте, мистер Морли. У мистера Прайена назначен прием к директору.

Телефон замолчал, и я медленно положил трубку. Неужели я в самом деле мог замечтаться на целых двадцать минут? Я вновь взялся за анкету, которую начал заполнять, — и тут же в ужасе вскочил на ноги; кресло отлетело назад и с треском въехало в стену. Ибо в анкете против пунктов, следующих за фамилией, местом и днем рождения, было вписано имя моего отца: Эрл Гейвин Морли; место и год его рождения: Манси, штат Индиана, 1908; девичья фамилия моей матери: Стронг; мои увлечения: графика и фотография; полный перечень мест моей прежней работы, начиная с фирмы «Нэфф и Картер» в Буффало. И все другие анкеты, все до одной, были заполнены, как и эта, и несомненно моим собственным почерком. Просто невозможно, чтобы я проделал все это сам того не ведая, но так оно и было. Никак не верится, что я провел здесь двадцать минут, — но, по-видимому, провел. И белый телефон — я снова поглядел на него — оставался все еще зеленым. Волосы у меня на шее пошевеливались, пытаюсь встать дыбом, и желудок судорожно сжался от страха.

Потом я опомнился. Я не заполнял этих анкет, я был совершенно уверен, что не заполнял! Я провел в этой комнате самое большее три-четыре минуты, и в этом я тоже был совершенно уверен. Я прищурился, глядя в раздумье поверх стола, и тут обратил внимание на акварель на стене. Никакого моста теперь не было, а была гора, заросшая сосновым лесом, с заснеженной вершиной, — и я рассмеялся в открытую, страх окончательно исчез. Дверь отворилась, и в комнату вошел Рюб Прайен.

— Ну как, закончили? Что случилось?

— Послушайте, Рюб, какого черта вы все это затея-

ли? — Я стоял и улыбался ему; он приблизился к столу. — Зачем вам понадобилось уверять меня, будто я провел здесь двадцать минут?

— Но вы действительно провели здесь двадцать минут.

— И картинка эта, — я кивком показал на нее, — тем временем стала вместо моста горой?

— Картинка? — Рюб стоял у стола и, повернувшись, взглянул на акварель с озадаченным видом. — На ней всегда была гора...

— И телефон всегда был зеленый, да, Рюб?

Он посмотрел на телефон.

— Ну да, насколько я помню, всегда.

Я медленно покачал головой, не переставая улыбаться.

— Не выйдет, Рюб. Я пробыл тут от силы пять минут. — Я показал рукой на бумажки, разбросанные по столу. — И их я не заполнял, пусть почерк и очень похож на мой — все равно не заполнял...

Рюб с минуту смотрел на меня через стол, и в глазах у него читалась озабоченность. Потом он сказал:

— Что если я поклянусь вам, Сай, что вы пробыли тут... — он бросил взгляд на часы, — чуть меньше двадцати пяти минут?

— Вы соврете.

— А если Роза тоже поклянется?

Я только покачал головой. Затем неожиданно присел возле телефонного столика и заглянул под крышку. Там висел белый аппарат — трубку удерживала от падения изогнутая медная дужка, рядом с ней была прикреплена маленькая железная коробочка, и от этой коробочки вниз, по внутренней стороне ножки, тянулись два провода. Я нажал на край крышки столика, где-то в инкрустации сдвинулась филенка, белый телефон выкатился наверх, а зеленый скользнул вниз, на поддерживающую дужку. Я поднял взгляд на Рюба — теперь и он улыбался и через плечо жестом приглашал кого-то из соседней комнаты.

Вошел мужчина без пиджака, молодой, темноволосый,

с тонкими подстриженными усиками. Рюб представил нас друг другу: «Доктор Оскар Россоф — Саймон Морли». Мы поздоровались, доктор протянул мне руку через стол, я подал ему свою, но, вместо того чтобы пожать ее, он пальцами взял меня за кисть и нащупал пульс. Спустя минуту он заявил:

— Пульс почти нормальный и еще замедляется. Хорошо. — Он отпустил мою руку и с довольной усмешкой спросил: — Как вы узнали? Что вас надоумило?

— Да ничего, кроме того, что это просто невероятно. Просто я знал, что не заполнял ваших анкет. И что никак не пробыл здесь двадцати минут. — Невольно осклабившись, я показал на акварель. — И что две минуты назад эта вот дурацкая гора была не горой, а мостом.

— Полный самоконтроль, — пробормотал Россоф, даже не дав мне кончить. — Превосходно, — обратился он к Рюбу, — очень хорошая реакция. — И опять повернулся ко мне: — Для вас это, быть может, и пустяки, но, смею вас заверить, многие ведут себя совершенно иначе. Один тут как подскочил, как бросился наутек — еле-еле поймали в коридоре, чтобы растолковать, что к чему.

— Ну и прекрасно, я рад, что прошел. — Я старался не показать виду, но чувствовал себя как школьник, только что выигравший конкурс по правописанию. — Но к чему все это? И как вы это сделали?

— Ваши анкетные данные мы знали, — ответил Рюб. — Специалисту по подделке почерков потребовалось четыре часа, чтобы заполнить анкеты симпатическими чернилами — все пункты, кроме первых трех, которые мы оставили вам. В настольную лампу вмонтирована маленькая инфракрасная лампочка — достаточно включить ее, и симпатические чернила проявятся за несколько секунд. Роза наблюдала за вами в зеркало у вас за спиной — туда ведет коридорчик. Как только вы заполнили первых три пункта, она тут же позвонила вам по телефону и одновременно включила инфракрасную лампочку. Пока вы повернулись

к телефону, а потом назад к анкетам — алле гоп! — и все пункты заполнены.

— А картинка?

Рюб пожал плечами.

— За рамкой и стеклом — окошко в стене. Пока испытуемый пишет, я успеваю вытащить мост и вставить гору.

— Ну уж и напридумали! Только зачем?

— Чтобы посмотреть, как вы реагируете на невероятное, — пояснил Россоф. — Некоторые просто не в состоянии его переварить. Они исходят из того, что все вещи неизменно таковы, какими им надлежит быть, и каждая ведет себя так, как ей раз и навсегда положено. И если вдруг этого не происходит, их чувства буквально капитулируют, выходят из повиновения. За этим столом их ждет полный крах. Дон, которого вы встретили внизу, был одним из таких — пришлось дать ему успокоительное даже после того, как он узнал, что с ним произошло. Вы же доверяете прежде всего внутренним ощущениям, а не внешним впечатлениям. Вы знаете то, что знаете. Пойдемте ко мне в кабинет, выпьем кофе. Или чего-нибудь покрепче, если хотите. Вы вполне заслужили выпивку...

Кабинет Россофа находился дальше по коридору, за углом; у двери висела табличка «Лазарет». Россоф толкнул дверь, пропуская Рюба и меня вперед, — дверь была шире обычной, и помещение действительно напомнило мне больницу. Большая комната без окон, с освещением через крышу; письменный стол, ряд плетеных стульев у стены, флюорографический аппарат, таблица для проверки зрения и, по-видимому, портативная рентгеновская установка.

— Теперь все будет честно, без фокусов, обещаю вам, Сай, — сказал Рюб. — То был первый и последний раз.

— Ничего страшного.

Мы проследовали в небольшую приемную; у шкафа с выдвижными ящиками стояла медсестра в белом халате и перебирала папки в верхнем ящике. В зубах она держала авторучку и улыбнулась нам, как сумела; Рюб сделал вид,

будто хочет шлепнуть ее по мягкому месту, а она сделала вид, будто поверила в его намерения и испуганно увернулась. Сестре было под сорок — крупная женщина, привлекательная и добродушная, с сильной проседью в волосах.

— Сахар? Сливки? — спросил Россоф, как только мы оказались у него в кабинете, и направился к низкому журнальному столику, где стояла плитка, а на ней стеклянный кофейник. — Надеюсь, что вы откажетесь, поскольку ни сливок, ни сахара у меня нет.

— Мне, пожалуй, черного, — ответил Рюб, усаживаясь в кресло. — А вам, Сай?

— Сойдет и черный.

Я сел на стул, обитый зеленой кожей, и огляделся. Комната была большая, прямоугольная и тем не менее уютная — мне она сразу пришлась по душе. На полу лежал серый ковер, а стены были оклеены обоями с веселым красно-зеленым рисунком. На одном конце рабочего стола доктора громоздилась куча книг и бумаг. С другой стороны от пола до потолка высились книжные полки, и, подавая мне чашку кофе, Россоф заметил, что я обратил на них внимание.

— Подойдите поближе, если интересно, — предложил он.

Я встал и подошел к полкам, прихлебывая кофе, который оставлял желать лучшего. Разумеется, я ожидал увидеть медицинские книги, и многие действительно оказались таковыми. Но несколько полок занимали книги по истории: институтские учебники, справочники, биографии, всевозможные исследования, относящиеся ко всем мыслимым эпохам, странам, историческим личностям. Кроме того, там было сотни две романов, и среди них, судя по обложкам, немало давних изданий; знакомых названий я не встретил вообще. Возвращаясь к своему стулу, я бегло оглядел дипломы в рамках, разрешение на врачебную практику в штате Нью-Йорк и фотографии, почти сплошь покрывавшие стену над зеленым кожаным диваном. Как обнаружилось,

Россоф был доктором медицины, психологом, выпускником университета Джона Гопкинса.

Минут пять еще мы пили кофе, лениво переговариваясь, потом Рюб поставил свою чашку на столик и встал.

— Спасибо, Оскар, — сказал он. — Кофе был преотвратный. Сай, как только доктор с вами разделается, я вернусь, и мы пойдем навестим директора.

Он ушел. Россоф спросил, не хочу ли я еще кофе, но я отказался.

— Ну, ладно. У меня для вас заготовлено несколько тестов, и вам придется незамедлительно их пройти. С большинством из них вы, вероятно, знакомы. К примеру, я, с вашего разрешения, попрошу вас взглянуть на несколько клякс Роршаха* и рассказать мне, на какие нехорошие мысли они вас наводят. И далее в таком же духе. Если вы справитесь, тогда мы посмотрим, как ловко вы умеете врать. Возможно, я попрошу вас с места в карьер представиться лицом какой-либо иной профессии, например юристом. И выдержать допрос со стороны трех-четырех человек, подозревающих, что вы не юрист. Или, скажем, вы станете всячески отрицать, что вы художник или что бывали в Нью-Йорке когда-нибудь прежде, и все это в разговоре с незнакомыми вам людьми, участниками нашего проекта, которые будут пытаться поймать вас на неосторожном слове. Однако это потом. Сперва есть кое-что поважнее. Между прочим, вам не приходило в голову, что мы все тут слегка тронулись и вовлекли вас в некий огромный розыгрыш?

— Потому-то я к вам и присоединился.

— Прекрасно. Именно такие, как вы, нам и нужны.

Россоф мне нравился. Если даже он просто-напросто успокаивал меня, то явно преуспевал в этом.

* Роршах, Герман (1884—1922) — швейцарский психолог-фрейдист, разработал систему тестов, применяемую при психоанализе.

— Вас когда-нибудь гипнотизировали? — спросил он.

— Нет, никогда.

— Испытываете ли вы предубеждение против гипноза? Надеюсь, нет, — быстро добавил он. — Это чрезвычайно важно: прежде всего мы должны убедиться в том, что вы поддается гипнозу. Вы, несомненно, знаете, что поддаются не все, но единственный способ определить, к какой группе относитесь вы, — испытать вас...

Я поколебался, затем пожал плечами.

— Ну, пожалуй, если человек компетентный...

— Я вполне компетентен. И я вас загипнотизирую. Если вы не возражаете.

— Ладно. Я зашел уже так далеко, что нет никакого смысла бить отбой...

Россоф встал, прошел к столу, взял желтый карандаш. Уселся опять, вплотную придвинув свой стул к моему, так что наши лица оказались в метре друг от друга. Держа карандаш передо мной вертикально за отточенный конец, он сказал:

— Воспользуемся предметом. Годится почти любой, в том числе и этот карандаш — совершенно не обязательно, чтобы он блестел. Смотрите на него, но, пожалуйста, не слишком пристально; захочется моргнуть или отвести глаза — ничего страшного. Важно единственное — чтобы вы не были напряжены и не оказывали внутреннего сопротивления, иначе я окажусь бессилён. Вам удобно? Кивните, если да.

Я кивнул.

— Вот и отлично. Если вы все еще ощущаете хоть малейшее внутреннее сопротивление, преодолите его. Замечаете, как оно уходит, растворяется? И вот — исчезает совсем. Расслабьте мышцы — я хочу, чтобы вам действительно было удобно. И не надо ни о чем волноваться. Время от времени я занимаюсь самогипнозом, это довольно легко, и вы этому, безусловно, научитесь. Четыре-пять минут самогипноза — превосходное освежающее средство.

С помощью самогипноза я снимаю головную боль, если она возникла от перенапряжения, без всякого аспирина. Замечательный отдых, не правда ли? Лучше виски, лучше коктейля...— Он опустил карандаш.— Посмотрите на свою правую руку, лежащую на ручке кресла. Она полностью расслаблена, так расслаблена, что отказывается двинуться. Когда я сосчитаю до трех, вы убедитесь в этом. Попробуйте поднять руку, когда я скажу «три». Вы не сможете. Раз. Два. Три!

Рука моя отказывалась пошевелинуться. Я глядел на нее в упор, склонялся над ней, буравил глазами рукав пиджака и мысленно приказывал ей приподняться. Но она лежала совершенно неподвижно — безмолвная моя команда оказывала на нее не большее влияние, чем на стол доктора.

— Все хорошо, не волнуйтесь. Вы добровольно подверглись моему гипнотическому внушению, и все у вас получилось очень хорошо. Я с вами еще несколько минут побеседую. Ваша рука, между прочим, может теперь двигаться как ей угодно.

Я поднял руку, согнул ее в локте, несколько раз сжал и разжал пальцы, будто она до сих пор спала. Потом откинулся на мягкую кожаную спинку кресла, чувствуя себя удобнее и спокойнее, чем когда-либо ранее за всю свою жизнь.

— Мозг,— продолжал Россоф,— в некотором смысле разделен на ячейки. Разные его отделы выполняют разные функции; например, лишившись определенной области мозга в результате несчастного случая, вы теряете способность говорить. Приходится учиться заново, приспособив для этого другую область мозга. Подобным же образом можно при желании представить себе память. Воспоминания удастся отключать. Совсем отключать, словно их никогда и не было. Вот сейчас мы отключим небольшую часть вашей памяти. Как только я стукну этим карандашом по ручке кресла, вы позабудете, как зовут человека, который

привел вас сюда. На некоторое время это имя ускользнет из вашей памяти, словно вы никогда его и не знали.

Он стукнул карандашом по кожаной ручке кресла — звук был совсем слабый, но я услышал.

— Вы помните человека, который вас разыскал и уговорил прийти сюда, не правда ли? Того, с которым мы только что пили кофе? Вы можете представить себе его лицо?

— Да.

— Между прочим, как он был одет?

— Холщовые штаны, белая рубашка с короткими рукавами, мягкие коричневые туфли.

— Вы могли бы набросать его портрет?

— Конечно.

— Хорошо, так как же его зовут?

Ничто не приходило на ум. Я перебирал всевозможные фамилии: Смит, Джонс, фамилии всех, кого я когда-то знал, фамилии, когда-либо читанные или слышанные. Все было без толку — я попросту не знал, как его зовут.

— Вы понимаете, почему не можете вспомнить? Понимаете, что находитесь под гипнозом?

— Да, понимаю.

— Ну, так попытайтесь пробиться через гипноз. Старайтесь вспомнить, старайтесь изо всех сил. Вы ведь знаете, как его зовут. Вы не далее как сегодня несколько раз слышали и сами произносили его имя. Ну, давайте же: как его зовут?

Я закрыл глаза, напрягая мозг. Я рылся в памяти, старался извлечь из нее нужное имя, но не мог. Будто доктор спрашивал у меня фамилию прохожего на улице.

— Когда я снова стукну карандашом по креслу, вы вспомните. — Он опустил карандаш на кожаную обивку и спросил: — Как его зовут?

— Рюбен Прайен.

— Прекрасно. Когда я хлопну в ладоши, вы полностью выйдете из состояния гипноза. От него не останет-

ся никакого следа. Гипнотическое внушение пройдет без остатка. — Он ударил в ладоши, негромко, но отрывисто и звонко. — Чувствуете себя нормально?

— Превосходно.

— Ну что ж, сеанс прошел хорошо, вы великолепный партнер. У меня предчувствие, что вы пройдете. В следующий раз я, быть может, заставлю вас лаять тюленем и есть живую рыбу...

Затем я рассматривал кляксы Роршаха и исповедовался Россофу в том, какие мысли они навевают. Я разглядывал картинки, истолковывал их и даже нарисовал несколько собственных. Меня испытывали на ложь и на правдивость. Я вставлял в предложения пропущенные слова. Я рассказывал о себе и отвечал на вопросы. С повязкой на глазах я брал со стола различные предметы и на ощупь определял их размеры, форму, а иной раз и назначение. Наконец Россоф заявил:

— Достаточно. Более чем достаточно. Как правило, я растягиваю тесты на несколько дней, иногда на целую неделю, однако... Мы же сами до сих пор не знаем толком, что нам надо, — на черта мне притворяться, будто я умею точно определить, отвечает ли человек требованиям для свершения, быть может, вообще неосуществимого?! В вас я почти уверен, и никакие тесты уже не в состоянии поколебать меня в моем убеждении. Впрочем, все они лишь подтверждают его. Насколько я способен судить, вы нам подходите.

Он бросил взгляд на закрытую дверь кабинета и прислушался. Оттуда доносился невнятный мужской голос и женский смех.

— Рюб, — крикнул Россоф, — хватит приставать к Алисе, идите сюда!

Дверь открылась, и появился старик, очень высокий и худой. Россоф быстро встал.

— Я не Рюб, — сказал старик, — и к Алисе я, увы, не приставал...

Россоф представил нас друг другу. Это оказался доктор Данцигер, директор проекта. Мы обменялись рукопожатием. Рука у Данцигера была большая, волосатая, со вздутыми венами, такая большая, что моя ладонь совсем утонула в ней, а его глаза впились в меня вопросительно и возбужденно, словно стараясь сразу же выведать всю мою подноготную.

— Как он, прошел? — торопливо спросил Данцигер, и, пока Россоф отвечал, настала моя очередь изучать директора.

Он был из тех людей, которых запоминаешь с первого взгляда и на всю жизнь. Лет ему было, по-моему, шестьдесят пять — шестьдесят шесть, глубокие морщины залегли на лбу и щеках; на щеках они выглядели как три пары скобок, начинавшихся в уголках рта и тянувшихся к скулам, и когда он улыбался, эти скобки становились еще шире и глубже. Загорелый, лысый — на лысине у него красовались веснушки, а уцелевшие по бокам головы волосы были черными или, может, крашеными. Рослый — метр девяносто пять, если не больше, худой, с широкими, хоть и сутулыми плечами. Носил он легкомысленный, синенький в горошек галстук-бабочку, старомодный бежевый двубортный пиджак, а под ним застегнутый на все пуговицы коричневый шерстяной жилет. И, невзирая на возраст, выглядел он крепким, живым и мужественным; мне подумалось даже, что он бы, может, вовсе не прочь поприставать к Алисе, да и она, наверное, не особенно бы возражала...

— Так вы говорите — да? — медленно переспросил он. Россоф кивнул. — Ну, так и я тоже — да. Я изучил все материалы, какие у нас есть на него, и звучит все это вполне подходяще...

Он повернулся ко мне и несколько секунд испытующе глядел на меня; тем временем в кабинет вошел Рюб и неслышно прикрыл за собой дверь. Я начал даже чувствовать

себя неловко под пристальным взглядом Данцигера, когда тот неожиданно улыбнулся.

— Ладно! — воскликнул он. — Теперь вы, вероятно, хотите узнать, во что же вас все-таки втравили. Ну что ж, сперва Рюб вам покажет, а затем я попытаюсь объяснить.

Он схватился большими веснушчатыми руками за лацканы пиджака и опять уставился на меня, слегка улыбаясь и медленно покачивая головой; в этом движении мне почудилось одобрение, и я почувствовал себя польщенным более, чем мог бы ожидать.

3

По коридорам, которыми вел меня Рюб, сновали люди. Мужчины и женщины, в большинстве своем молодые, входили в кабинеты, выходили из них, проходили мимо. И каждый, он или она, кивая Рюбу или заговаривая с ним, неизменно с любопытством смотрел на меня. Рюб наблюдал за мной, слегка усмехаясь, и когда я в свою очередь взглянул на него, спросил:

— Ну, и что же вы думаете увидеть?

Я попытался найти хоть какой-нибудь ответ, но не нашел и покачал головой.

— Не имею ни малейшего представления, Рюб.

— Вы уж извините, что все так таинственно. Но объяснения дает директор, а не я. И нужно показать вам это, прежде чем он сможет хоть что-то объяснить.

Мы повернули за угол, потом повернули еще раз и попали в коридор, значительно более узкий, чем прежние. Повернули снова и очутились в совсем уж узеньком, но довольно длинном проходе.

Одна из стен здесь была глухая. В другую был врезан ряд двойных стекол, сквозь которые хорошо просматривались инструктажные, как Рюб назвал их, кабинеты. Первые три кабинета оказались пустыми — оборудование там было, как в обычных классных комнатах. Шесть-восемь деревянных стульев-парт — с одной стороны подлокотник заканчивался письменным столиком; классные доски, кафедры для преподавателей. В четвертой точно такой же комнате сидели двое: один за кафедрой, другой лицом к нему на стуле-парте, — и мы остановились.

— Мы их видим, они нас нет, — пояснил Рюб. — Всем это известно, но так лучше, чтобы не мешать занятиям...

Тот, кто сидел за партой, говорил, то и дело запинаясь и время от времени задумчиво потирая лицо рукой. Лет сорока, худой и смуглый, одетый в темно-синий джемпер и белую рубашку с открытым воротом, он выглядел гораздо старше своего инструктора. Рядом с окошком в стену была утоплена панель из нержавеющей стали с двумя кнопками. Рюб нажал одну из них, и мы услышали голос ученика из зарешеченного динамика над окошком.

Он говорил на иностранном языке, и секунд через десять мне померещилось, будто я знаю, на каком: я уже почти объявил об этом вслух, но все-таки удержался. Первое впечатление было такое, что это французский — язык, который я могу отличить от других, — потом меня одолели сомнения. Я прислушался повнимательнее: отдельные слова, почти наверняка, попадались французские, но выговор был какой-то невнятный. Ученик говорил и говорил, и теперь довольно бегло, лишь иногда инструктор поправлял произношение, и тот несколько раз подряд повторял одно и то же слово, прежде чем продолжать.

— Это французский?

По усмешке Рюба я понял, что он только и ждал подобного вопроса.

— Да, но средневековый французский. Так говорили четыреста с лишним лет назад...

Он нажал другую кнопку, динамик смолк, лишь губы человека за стеклом продолжали шевелиться, — и мы двинулись дальше. У следующего окошка Рюб нажал кнопку сразу же, я услышал, как кто-то крикнул, затем раздался удар дерева по дереву; остановившись подле Рюба, я заглянул в комнату.

Мебели в ней не было совсем, стены обтягивала тяжелая парусина, а на полу двое мужчин вели штыковой бой. Один носил плоскую каску, гимнастерку цвета хаки с высоким воротником и обмотки — форму солдата американской армии времен первой мировой войны. Другой был в черных сапогах, серой форме и глубокой каске немецкой армии. Штыки отливали странным серебристым цветом, и я понял, что они из крашеной резины. Лица мужчин блестя от пота, гимнастерки потемнели под мышками и на спине, а они все кололи, отбивали, наступали, отступали, крикая в такт ударам винтовок. Вдруг немец стремительно отскочил, сделал ложный выпад, увернулся от удара противника и всадил штык прямо тому в живот, так что резина перегнулась пополам.

— Убит, американская свинья! — заорал он победно.

— Черта с два, — отозвался другой, — небольшая царапина...

Оба рассмеялись, продолжая наносить друг другу удары, а Рюб мрачно смотрел на них и бормотал:

— Не так, мерзавцы, совсем не так! Безобразное отношение к делу!

Я бросил на него взгляд: лицо его стало раздраженным, злым, губы сжались, глаза сузились. Еще какое-то мгновение он молча смотрел в окошко, потом резко надавил на выключатель большим пальцем и отвернулся.

В следующей комнате сидело человек десять — большинство в белых плотничьих спецовках, некоторые в синих джинсах и рабочих рубашках. Мужчина в брюках и рубашке цвета хаки указкой водил по картонному макету, занимавшему весь стол. Это был макет комнаты без одной

стены, подобие театральной декорации, и мужчина указывал на игрушечный потолок. Рюб нажал кнопку.

— ...балки крашенные. Но это лишь в самых верхних точках, где темно.— Указка передвинулась ближе к стене.— Здесь начинаются настоящие дубовые балки и настоящая штукатурка. Замешанная на соломе, не забудьте, черт возьми!..

Рюб выключил звук, и мы тронулись дальше.

В этой комнате никого не было, а три стены от пола до потолка занимала огромная аэрофотография какого-то городка, и мы задержались, чтобы рассмотреть ее. Там обнаружилась и подпись: «Уинфилд, штат Вермонт. Ход восстановительных работ. Вид 9, серия 14». Я взглянул на Рюба, и он знал, что я гляжу на него, но не дал никакого объяснения — просто стоял и рассматривал фотографию, и я не стал его ни о чем расспрашивать.

Еще две комнаты оказались пустыми, а в третьей стулья были сдвинуты к стенам и посередине красивая девушка танцевала чарльстон; на столе крутился допотопный патефон с заводной ручкой. Женщина средних лет стояла поодаль и наблюдала за ней, отбивая такт указательным пальцем. На девушке было бежевое платье, подол качался и едва прикрывал порхающие колени, а линия пояса ненамного поднималась над подолом. Стрижкам такого фасона, как у нее, в свое время дали прозвище «короче некуда», и еще она жевала резинку. На женщине было платье того же фасона, разве что юбка длиннее.

Рюб нажал кнопку динамика, и мы услышали быстрое ритмичное притопывание и тонкий призрачный звук стародавнего оркестра. Внезапно музыка кончилась характерным для того времени обрывом, и девушка остановилась, шумно перевела дыхание и с улыбкой глянула на инструкторшу — та кивнула одобрительно:

— Хорошо. Муравьиные коленца вы освоили...

На этой милой фразе Рюб, сдержав усмешку, выключил

динамик, и мы, не обменявшись ни словом, отправились дальше.

Нам попались еще три пустые комнаты подряд, а в следующей вокруг преподавательской кафедры стояло штук десять портновских манекенов. На одном из стульев лежала груда белых картонных коробок, по-видимому с одеждой.

И опять мы быстро шли вдоль освещенных сверху коридоров, мимо пронумерованных дверей с черно-белыми табличками: м-р Макэлрой; м-р Бёрк, мисс Фридман — бухгалтерия; м-р Демпстер; архив Б. К. Рюбу обращались почти все, кто попадался нам по дороге, и он отвечал каждому. Мужчины в большинстве своем были одеты просто: в пуловерах, спортивных куртках, футболках, лишь немногие в костюмах и при галстуках. Женщины и девушки, иные из них прехорошенькие, были одеты, как принято одеваться в учреждениях. Двое грузчиков в спецовках катили тяжелую деревянную тележку, на ней разместился какой-то мотор или механизм, полуприкрытый парусиной. Наконец Рюб остановился у двери, такой же точно, как и все остальные, но возле нее не висело никакой таблички с фамилией, только номер. Открыл дверь и жестом показал, чтобы я вошел первым.

Человек, сидевший за маленьким столиком, вскочил на ноги еще до того, как я успел переступить порог. Кроме столика и стула, в комнатке вообще ничего не было.

— Добрый день, Фрэд, — произнес Рюб.

— Добрый день, сэр, — отозвался тот. На нем была зеленая нейлоновая куртка с молнией и рубашка, расстегнутая у ворота, и хотя я не заметил ни знаков различия, ни оружия, но сразу же признал в нем охранника: плечи мощные, грудь, шея и кисти рук — тоже, а занят он был единственно тем, что читал журнал «Эсквайр».

Позади стола в стену была утоплена стальная дверь. Ручки не существовало, но по краю двери виднелись три латунные замочные скважины одна под другой. Рюб вы-

нул связку ключей, выбрал нужный ключ, обойдя стол, вставил его в верхний замок и повернул. Из кармашка для часов он вытащил еще один ключ, вставил его в среднюю скважину и тоже повернул. Охранник выжидающе стоял рядом; теперь и он вставил свой ключ в нижнюю скважину, повернул его и ключом же потянул дверь. Рюб высвободил свои два ключа и сделал приглашающий жест. Сам он вошел следом, дверь тяжело повернулась и захлопнулась. Последовала серия щелчков — запоры стали на место, и мы оказались в клетушке размером с большой шкаф. Лампочка в проволочной сетке на потолке давала тусклый свет, и я не сразу понял, что стою на верхней площадке винтовой металлической лестницы.

Рюб двинулся вперед, и мы спустились, пожалуй, метра на три — из темноты к свету; с последней ступеньки мы шагнули на решетчатый железный пол. Если бы не пол, помещение мало чем отличалось бы от того, откуда мы только что спустились. Вдоль стен шла узкая некрашеная деревянная полка, и на ней лежало пар десять тапочек из толстого серого войлока — неуклюжих, глубиной по самую щиколотку, с застежками, как у бот.

— Надеваются поверх обуви, — пояснил Рюб. — Найдите себе пару, которая не сваливалась бы с ног. — Он кивнул в сторону еще одной железной двери перед нами. — Когда мы попадем туда, все должно быть тихо-тихо. Никаких громких и резких звуков, хотя разговаривать вполголоса разрешается — голос вниз не доходит...

Я кивнул, ощущая, что пульс у меня сейчас куда выше нормы. Что же такое, дьявол их всех возьми, я там увижу? Мы затащили застежки «бот» — в них было неудобно и жарко, — и Рюб толкнул последнюю дверь, тяжелую вращающуюся дверь без ручек и замков; мы прошли, и дверь бесшумно закрылась за нами.

По ту сторону двери нас ждало продолжение решетчатого пола — узкая висячая галерея. Ограда из стальных прутьев, доходившая едва до пояса, казалась слишком не-

надежной, чтобы застраховать от падения. Пальцы мои вцепились в поручень куда крепче, чем в том была нужда, но я не мог, просто не мог разомкнуть их и шагнуть вперед, потому что галерея у меня под ногами являлась лишь первым звеном в гигантской паутине решетчатых мостков, висящих на высоте пяти этажей над исполинским куском пустого пространства, и эти мостки сходились и расходились, соединялись и перекрещивались где-то там, вдали.

Вся эта паутина свисала с потолка — с нижнего перекрытия шестого этажа, откуда мы пришли, — на тонюсеньких металлических прутьях. Рюб дал мне передышку, и я воспользовался ею, чтобы свыкнуться с мыслью о том, что придется вылезти на середину паутины, — я смотрел вниз, но единственное, что видел, были верхушки толстых стен, поднимающихся снизу, от фундамента выпотрошенного склада, и заканчивающихся в полуметре от решетчатой эстакады. Стены эти, как я мог заметить, рассекали пространство под нами на несколько участков различных размеров и конфигураций. Глянув вверх, я увидел переплетение воздухопроводов и массу механизмов, развешанных под потолком. Тогда я вновь посмотрел на Рюба, и он улыбнулся — представляю себе, что за выражение было у меня на лице!

— Впечатляет, сам знаю. Не спешите, привыкайте. Когда освоитесь, идите вперед, куда вам заблагорассудится.

Я заставил себя пройти вперед метра три-четыре, с трудом подавляя желание вновь вцепиться в перила и все еще не смея взглянуть под ноги. Сначала галерея вела прямо вперед, затем повернула вправо, и я обратил внимание, что мы пересекли одну из внутренних стен, чуть-чуть не дотянувшуюся до наших мостков. Как только мы пересекли ее, я ощутил поток теплого воздуха снизу и услышал гул вытяжных вентиляторов над головой. Почти под самой галереей к стене тут и там крепились трубчатые кронштейны, и на этих кронштейнах висели сотни экранированных театральных юпитеров буквально всех цветов, оттенков и раз-

меров; каждая группа прожекторов нацеливалась на какую-нибудь определенную точку внизу. Я остановился и, вцепившись обеими руками в перила, приказал себе посмотреть туда, куда указывали софиты.

Пятью этажами ниже, у дальнего края участка, над которым мы находились, я увидел небольшой дощатый домик. Ракурс представился выгодный: можно было заглянуть на крыльцо, под железную крышу. Там, на ступеньках, сидел мужчина без пиджака. Он курил трубку, рассеянно уставившись прямо перед собой, на выложенную кирпичом мостовую.

По обе стороны от домика возвышались сегменты двух других строений. Боковые стены, обращенные к первому домику, были полностью закончены, к окнам были прилажены ставни, на окнах повешены занавески. Точно так же половинки крутых крыш и передние стенки, включая крылечки с изношенными ступеньками, выглядели как настоящие. На одном крылечке я заметил даже плетеную детскую коляску. Но в отличие от домика посредине два других состояли лишь из двух стен и части крыши: сверху я видел сосновые стропила, поддерживающие фасады и крыши. Перед всеми домами были газоны и тенистые деревья, кирпичные тротуары и такие же кирпичные мостовые, и кое-где на бровках торчали железные столбики для привязывания лошадей. По другую сторону улицы поднимались фасады еще пяти-шести домов. На одном крыльце валялся старенький велосипед, на другом висел гамак. Но эти дома представляли собой один обман, ложные фасады не более тридцати сантиметров в толщину, вытянувшиеся вдоль стены, которая отгораживала этот сектор от другого.

Рюб облокотился на перила рядом со мной и сказал:

— С того места, где сидит этот человек, из любого окна его дома и с любой точки его газона создается впечатление реальной улицы и реальных домов. Отсюда не видно, но в конце участка настоящей кирпичной мостовой на стене со всей возможной тщательностью и с сохранением дио-

рамной перспективы нарисовано продолжение этой улицы и весь окружающий район до самого горизонта..

Пока он говорил, внизу под нами появился мальчик на велосипеде; откуда он взялся, я не заметил. На нем была белая матросская шапочка с околышем, сплошь покрытым, как мне показалось, разноцветными значками, короткие коричневые штаны, перехваченные пряжкой под коленками, длинные черные чулки и грязные матерчатые ботинки выше щиколоток. На плече у него болтался на широком ремне рваный парусиновый мешок со сложенными газетами. Мальчик вилял на своем велосипеде от бровки к бровке, держался за руль одной рукой, а другой ловко бросал сложенную газету на очередное крыльцо. Завидев это, мужчина встал, мальчик кинул газету, мужчина поймал ее, сел обратно на ступеньку и начал разворачивать. Мальчик бросил еще одну газету на крыльцо соседнего, фальшивого двухстенного дома и завернул за угол. Там, уже вне поля зрения мужчины, он слез с велосипеда и повел его к двери в стене сектора, куда упиралась крохотная перпендикулярная улочка. Потом он открыл дверь и, протаскив велосипед за собой, исчез.

Я не видел, что было за дверью, но почти тотчас же оттуда вынырнул еще один мужчина, притворил ее за собой и двинулся к углу, на ходу надевая жесткую соломенную шляпу с плоскими полями и черной лентой. Белый ворот его рубашки был расстегнут, галстук оттянут, а в руке он нес пиджак. С высоты пяти этажей мы с Рюбом наблюдали, как, не дойдя до угла, он приостановился, сдвинул шляпу на макушку, перекинул пиджак через плечо и вытащил из заднего кармана брюк скомканный платок. Вытирая лоб платком, он двинулся дальше усталой походкой, обогнул угол и медленно побрел по кирпичному тротуару мимо человека на крыльце, который уже уткнулся в газету.

— Давайте послушаем, — сказал Рюб, приложив к уху ладонь.

Я последовал его примеру. Из глубины довольно явственно донесся голос прохожего:

— Добрый вечер, мистер Макнотон. Ох, и жарко сегодня!

Человек на крыльце поднял голову.

— А, мистер Дрекслер, здравствуйте. Не говорите, жарища. И такую же баню тут, в газете, обещают на завтра...

Прохожий едва волочил ноги — устал после работы, да еще тащись по жаре домой, — и теперь уныло покачал головой.

— Когда это только кончится!..

Мужчина на крыльце усмехнулся:

— Ну, к рождеству-то уж кончится, это точно.

Прохожий свернул с тротуара, по диагонали пересек улицу, поднялся по ступенькам крыльца одного из декоративных фасадов напротив и распахнул сетчатую дверь.

— Эдна! — позвал он. — Вот и я...

Сетчатая дверь с шумом захлопнулась, и мы увидели, как он по короткой лесенке спустился вниз, пригнувшись, юркнул под стропила и отворил еще одну дверь в стене. Потом прошел через нее, и она беззвучно закрылась.

Зато открылась другая сетчатая дверь, в фальшивом фасаде другого фальшивого дома, на крыльцо вышла женщина, подняла сложенную газету, развернула ее и стала просматривать первую страницу. На женщине было необыкновенно длинное домашнее платье в синюю клетку — подол не достигал пола всего сантиметров на двадцать. Мужчина на крыльце поднял голову на звук открывшейся двери — и опять уткнулся в свою газету.

Я повернулся к своему спутнику, но Рюб продолжал смотреть вниз, опершись локтями на перила и небрежно сцепив пальцы.

— Я не вижу киноаппарата, но полагаю, что вы там внизу либо снимаете, либо репетируете какой-то фильм.

Помимо воли голос мой звучал несколько раздраженно.

— Нет,— ответил Рюб.— Мужчина, тот, что на крыльце, действительно живет в этом доме. Там, в доме, все самое что ни на есть настоящее, и пожилая женщина приходит к нему каждый день готовить и убирать. А продукты доставляются по утрам в легкой повозке, запряженной лошастью. Два раза в день почтальон в серой форме приносит почту, в основном рекламные проспекты. Мужчина этот ждет ответа на свои письма — он просил предоставить ему работу здесь, в городке. Скоро он получит уведомление, что на работу его приняли, и поведение его изменится. Он начнет выходить в город, на службу.— Рюб мельком взглянул на меня и продолжал объяснять сцену, развертывающуюся внизу.— А пока он хлопочет по хозяйству. Поливает газон. Читает. Переговаривается о том, о сем с соседями. Курит табак «Мастер Мейсон» — из стародавних зеленых пачек. Иногда слушает радио, хотя в такую погоду очень мешают атмосферные разряды. Изредка его навещают друзья. А сейчас он читает свежий, отпечатанный час назад номер местной газеты от 3 сентября 1926 года. Он устал — к концу дня там, внизу, температура достигает сорока в тени и даже ночью не падает ниже тридцати. Самая настоящая засуха, и никакого вам кондиционированного воздуха. Если он посмотрит вверх, то увидит над собой лишь жаркое голубое небо.

Стараясь говорить спокойно, я спросил:

— Вы хотите сказать, что они разыгрывают какой-то сценарий?

— Никакого сценария у них нет. Он поступает, как хочет, и люди, которых он видит, действуют и говорят по обстановке.

— Так что же, он и вправду считает, что живет в каком-то городке?

— Нет, нет, ни в коем случае. Он прекрасно знает, где он. Знает, что все это — своего рода декорация в помещении бывшего склада в Нью-Йорке. Он никогда не

заходит за угол, но знает, что улица там и кончается. Знает, что длинная улица, протянувшаяся в другую сторону, на самом деле нарисованная перспектива. И хотя никто с ним не откровенничал, я думаю, он прекрасно понимает, что дома напротив — фальшивые, что там одни фасады. — Рюб выпрямился и, оторвавшись от перил, посмотрел мне прямо в глаза. — Все, что я вправе сообщить вам сию минуту, Сай, так это то, что он старается изо всех сил чувствовать себя на самом деле сидящим в жаркий вечер на крыльце и читающим, что сказал поутру президент Кулидж, если тот сказал что-нибудь...

— И что, действительно существует такой город и такая улица?

— О да, и улица, и дома, и деревья, и газоны в точности такие до последней травинки и плетеной колясочки на крыльце. Вы видели аэрофотоснимок этого городка — это Уинфилд, штат Вермонт. — Рюб усмехнулся и мягко добавил: — Не злитесь. Вам надо сначала все увидеть, только тогда и можно понять...

Мы двинулись дальше по паутине мостков, ниже гудящих моторов и выше сотен и сотен ярких ламп. Мы прошли прямо над домом и над головой мужчины на ступеньках, и странно было подумать, что, оторвись он от своей газеты и взгляни вверх, он увидит не нас, а только поддельное небо. Однако вверх он не взглянул, а продолжал читать газету, пока карниз не скрыл его от наших глаз. Повернув налево по другому мостку, мы пересекли стену и попали в соседний сектор.

Сразу же стало прохладнее, появилось ощущение сырости и дождя, и мы посмотрели вниз. Там, далеко под нами, лежал кусочек прерий и через него протекал маленький ручеек. В дальнем конце сектора была рощица белых берез — в сущности не рощица, а опушка более густого леса, уходившего за гребень холма. Я уже догадался, что большая часть леса просто нарисована на стене, но выглядело все очень правдоподобно. Почти точ-

но под нами стояли три вигвама из сыромятной кожи, раскрашенные выцветшими кругами, ломаными линиями и похожими на палочки изображениями людей и животных. Над вигвамами поднимались струйки дыма. Перед одним из них, привязанный к вбитому в землю колышку, лежал щенок и грыз что-то, зажав между лапами. Пока мы стояли, лампы, освещавшие сектор, стали выключаться одна за другой — мы даже слышали щелчки, — и треугольные тени, ложившиеся от вигвамов на траву, сгустились, а в струйках дыма начали проскальзывать искорки.

— Больше всего люблю эту сцену, — прошептал Рюб. — Штат Монтана, километрах в ста от места, где сейчас расположен город Биллингс. Там, внизу, восемь человек — мужчины, женщины и даже ребенок. Все чистокровные индейцы племени кроу. Пошли дальше...

Почти бесшумно переступая войлочными ботами, мы по узкому металлическому мостку пересекли сектор и еще одну стену. Теперь мы оказались над вытянутым треугольником, над самой короткой его стороной, лицом к вершине. Снизу почти к самым нашим ногам поднималось белое каменное здание. Опять-таки оно было совсем не тем, чем, наверно, представлялось с фасада: выложены были лишь две стены, поддерживаемые сзади трубчатыми лесами. У основания стен лежала грубая булыжная мостовая. Четверо рабочих в спецовках укладывали в трещины меж камнями мостовой узкие полоски дерна и сажали пучки травы, которые брали из корзин. Булыжник заканчивался травянистым откосом, спускавшимся, казалось, к самой настоящей реке. Мутная рыжая вода медленно текла по одной стороне треугольного сектора к дальнему его концу.

В этом белокаменном псевдоздании, стены которого доходили почти до наших ног, мне почудилось что-то знакомое, и я передвинулся дальше по галерее, чтобы поближе рассмотреть его фасад. Боковая стена, вдоль

которой я шел, была укреплена внизу контрфорсами, а потом я заметил, что фасад венчали две одинаковые квадратные башни. С боков на башнях выступали резные каменные фигурки, до одной из них при желании я мог бы дотянуться. Это были крылатые горгульи, фантастические фигурки на горловинах водосточных труб, а стена с контрфорсами и башни-близнецы принадлежали собору. Собору Парижской богородицы — теперь, наконец, я узнал его по фильмам и фотографиям.

Рюб следил за мной и понял, что я узнал собор; тогда он показал пальцем на ту сторону реки. Там, вдали, змеились грунтовые дороги, группками стояло несколько десятков приземистых деревянных и каменных домиков, а большую часть видимого пространства занимали поля и леса.

— Средневековье, — усмехнулся Рюб. — Париж весной 1451 года. То есть будет Париж, если удастся когда-нибудь довести всю эту дьявольщину до конца...

Он поднял руку и еще раз показал пальцем — теперь вдали за рекой я заметил человека в бежевых хлопчатобумажных брюках и синей рубашке, выпачканной краской, великана, парящего над домами и деревьями, которые едва доходили ему до колен. В левой руке человек держал палитру и старательно выписывал лесные дали по контуру, нанесенному древесным углем на стене по ту сторону мутной, медленно текущей Сены.

— До черта там еще работы осталось, — сказал Рюб. — Каждый камень собора надо соответствующим образом состарить кислотами и красителями. Как-никак к 1451 году собору было уже несколько веков. Это, можно сказать, наш самый честолобивый замысел, но сомневаюсь, чтобы даже Данцигер верил в его осуществимость. Налюбовались? Тогда пошли дальше...

Не останавливаясь, мы пересекли пустой сектор почти прямоугольной формы. Два человека внизу ползали на

коленях, размечая пол полосками ткани и цветными мелками.

— Не помню точно, что тут будет,— заметил Рюб,— кажется, полевой госпиталь американских экспедиционных сил близ Вими, во Франции, в 1918 году...

Мы смотрели вниз на часть укрытой снегом фермы в Северной Дакоте в середине зимы 1924 года. Воздух здесь был морозный, и через полминуты мы продрогли насквозь. Мы стояли над перекрестком в Денвере в 1901 году — кусок улицы, вымощенной булыжником, трамвайные рельсы и бакалейная лавочка под ветхим навесом; двое мужчин в халатах заносили туда товар. Рюб опять облокотился на перила рядом со мной и пробормотал:

— Реконструировано на основе семи десятков старых фотографий. В нашем распоряжении есть отличный стереоскопический вид плюс данные множества замеров на местности. Мы еще не кончили — сейчас как раз завозят продукты, в точности соответствующие тому времени. Когда завезем, все станет так, как было когда-то, можете не сомневаться... — Он бросил взгляд на часы. — Есть еще несколько секторов, но нам с вами пора к Данцигеру...

Мы повернули обратно, я впереди, Рюб сзади.

— А наш нью-йоркский объект и дублировать не надо. Мы с вами отправимся туда после обеда. Вы, наверно, проголодались? Недоумеваете? Устали и раздражены?

— Вот именно,— признался я,— да и ноги гудят.

4

Мы перекусили в кафетерии на шестом этаже, в комнате без окон — ее освещал вездесущий дневной свет, — площадью немногим больше стандартной гостиной, с полом, выложенным бледно-голубыми и желтыми плитками. Данцигер уже поджидал нас за столиком. Мы взяли подносы, и он помахал нам рукой; перед ним был кусок яблочного пирога и чашка с бульоном, прикрытая блюдцем, чтобы не остыл. Мы с Рюбом принялись толкать наши подносы по хромированному выступу вдоль прилавка. Я взял стакан чая со льдом и бутерброд с ветчиной и сыром, Рюб — бифштекс по-швейцарски с овощным гарниром. Кассы в конце прилавка не оказалось, денег с нас никто не потребовал. Рюб, забрав свой поднос, заявил, что, мол, увидимся позже, и присоединился к мужчине и женщине, которые только-только начали есть. Я со своим подносом направился к столу доктора Данцигера и по пути огляделся. Кроме нас троих, в кафетерии было всего человек семь-восемь, да еще могло бы поместиться человек десять-двенадцать. Пока я, не садясь, разгружал свой поднос, Данцигер понял мои мысли и улыбнулся.

— Да, — сказал он, — предприятие наше небольшое. Наверно, самое небольшое из всех значимых для истории современных государственных предприятий — приятно сознавать, что это именно так. В постоянном штате у нас всего около пятидесяти человек — со временем вы познакомитесь с большинством из них. При необходимости мы привлекаем людей и средства других государственных организаций. Однако действуем с расчетом, чтобы

никто не понял, чем мы тут занимаемся, и не задавал лишних вопросов.

Он спял блюдце, накрывавшее чашку с бульоном, взял ложку и подождал, когда я сорву обертку со своего бутерброда, есть который мне, впрочем, совершенно не хотелось. Нервы у меня были взвинчены до предела, и аппетит не приходил — вот выпил бы я с удовольствием.

— Мы, — продолжал Данцигер, — обеспечиваем секретность не тем, что ставим на бумагах отпугивающие грифы, и не тем, что заказываем какие-нибудь значки для посвященных, а полной своей неприметностью. Президент, разумеется, знает, чем мы тут занимаемся, хотя, возможно, он не очень-то уверен, знаем ли мы это сами. А может, он и не помнит о нас. Кроме того, о нашем проекте известно, пожалуй, только двум членам правительства, пескольким сенаторам и конгрессменам и кое-кому в Пентагоне. Я предпочел бы обойтись без них, но ведь от них зависят наши финансы. Однако в общем-то жаловаться мне не на что: я сдаю отчеты, их принимают, и претензий до сих пор никто не предъявлял.

Я что-то пробормотал в ответ. Соседями Рюба по столу были девушка, которая танцевала чарльстон, и молодой человек примерно ее же возраста. Данцигер перехватил мой взгляд.

— Еще два счастливирика: Урсула Данке и Франклин Миллер. Она была учительницей математики в школе в Игл-Ривер, штат Висконсин, а он администратором магазина в Бейкерсфилде, Калифорния. Она — для северодакотской фермы, а он — для Вими. Вы, кажется, видели, как он упражнялся в штыковом бое. Потом я познакомлю вас, а теперь хочу спросить: что вы знаете об Альберте Эйнштейне?

— Ну, он носил свитер с пуговицами, длиннющую шевелюру и здорово знал математику.

— Совсем неплохо. Остается лишь немного продолжить

эту характеристику. Слышали ли вы о том, что много лет назад Эйнштейн высказал гипотезу, согласно которой свет имеет вес? Пожалуй, самая невероятная мысль, какая только могла прийти человеку в голову. Собственно, до Эйнштейна она никому и не приходила — ведь подобная мысль противоречит всем нашим представлениям о свете. — Данцигер внимательно посмотрел на меня; мне было интересно, и я постарался дать ему это понять. — Но астрономы нашли способ проверить гипотезу. Во время солнечного затмения они установили, что лучи света вблизи Солнца изгибаются в его сторону. Иначе говоря, притягиваются силой его тяготения. А из этого со всей неизбежностью следует, что свет имеет вес. Альберт Эйнштейн оказался прав, он выиграл спор.

Данцигер смолк и отхлебнул несколько ложек бульона. Мой бутерброд оказался вполне съедобным: много масла и сыр неплохой на вкус — только теперь я понял, что проголодался. А Данцигер опустил ложку, промокнул губы салфеткой и вернулся к прежней теме:

— Прошло какое-то время. Гениальный ум продолжал свою работу. И вот Эйнштейн вывел формулу: $E=mc^2$. И да простит нас господь, два японских города исчезли в мгновение ока, доказав, что он опять прав.

Я мог бы говорить и говорить — список открытий Эйнштейна очень внушителен. Но я перейду прямо вот к чему. Однажды он заявил, что наши концепции времени в значительной мере ошибочны. И я ни на минуту не сомневаюсь, что и на сей раз он прав. Ибо одним из последних его вкладов в картину мироздания, незадолго до смерти, было доказательство, что все его теории едины. Они взаимосвязаны, и каждая из них обуславливает и подтверждает все остальные; вместе взятые, они дают почти законченное объяснение тому, как функционирует Вселенная. И получается, что она функционирует совсем не так, как мы думали раньше.

Пытливо глядя на меня, Данцигер принялся снимать

красный целлофан с крекеров, какие обычно подаются к бульону.

— Я где-то читал о том, как он понимал время, но, по правде сказать, немногое понял.

— Он имел в виду, что мы ошибаемся в наших концепциях прошлого, настоящего и будущего. Мы считаем, что прошлое миновало, что будущее еще не наступило и что реально существует только настоящее. Ибо настоящее — это то, что мы видим вокруг.

— Ну, если вас интересует мое мнение, то я скажу, что и мне так кажется.

Данцигер улыбнулся.

— Безусловно. И мне тоже. Это вполне естественно, и сам Эйнштейн на это указывал. Он говорил, что мы вроде людей в лодке, которая плывет без весел по течению извилистой реки. Вокруг мы видим только настоящее. Прошлого мы увидеть не можем — оно скрыто за изгибами и поворотами позади. Но ведь оно там осталось!..

— Разве он имел в виду — осталось в буквальном смысле? Или он хотел сказать...

— Он всегда говорил точно то, что хотел сказать. Когда он говорил, что свет имеет вес, он имел в виду, что солнечный свет, падающий на пшеничное поле, действительно весит несколько тонн. И теперь мы знаем — измерили, — что это так. Он имел в виду, что чудовищную энергию, которая по теории связывает атомы вместе, можно высвободить в одном невообразимом взрыве. И действительно можно, и этот факт коренным образом повлиял на судьбы человечества. И в отношении времени он сказал именно то, что хотел сказать: что прошлое там, за изгибами и поворотами, действительно существует. Оно там на самом деле есть... — Секунд десять Данцигер молчал, вертя в пальцах красную полоску целлофана. Потом взглянул на меня и сказал просто: — Я физик-теоретик, до недавнего времени преподавал в Гарвардском университете. И мое небольшое дополнение к великой теории

Эйнштейна состоит в том, что человек... что человек может и должен суметь сойти с лодки на берег. И пешком пройти вспять к одному из поворотов, оставленных позади.

Я старался, как мог, чтобы глаза не выдали мелькнувшего у меня подозрения: вот передо мной сидит, быть может, талантливый, располагающий к себе, но дико заблуждающийся старик, который как-то сумел убедить уйму людей в Нью-Йорке и Вашингтоне содействовать ему в осуществлении его невероятных фантазий. Неужели только я один догадывался об этом? Видимо, нет; ведь не далее как сегодня утром Россоф пошутил, — а если с горькой иронией? — что я стал участником небывалого розыгрыша. Я задумчиво покачал головой.

— Как это — пешком вспять?

Данцигер допил остаток бульона, наклоня чашку, чтобы извлечь последние капли, а я доел свой бутерброд. Потом он поднял голову и взглянул мне прямо в глаза, и я понял, что он не сумасшедший. Чудак — да, заблуждающийся — очень может быть, но в своем уме, и вдруг я почувствовал: я рад, самым настоящим образом рад, что попал сюда.

— Какой сегодня день недели? — спросил он.

— Четверг.

— А число?

— Двадцать... шестое? Так?

— Я вас спрашиваю.

— Двадцать шестое.

— А месяц какой?

— Ноябрь.

— А год?

Я назвал, хоть и не совладал с улыбкой.

— Откуда вы это знаете?

Стараясь найти какой-нибудь ответ, я уставился на внимательное лицо Данцигера, на его лысый череп; в конце концов я пожал плечами.

— Не понимаю, какого ответа вы от меня ждете.

— Тогда я отвечу за вас. Вы знаете, какой сегодня год, месяц и число, буквально по миллионам примет. Потому что одеяло, под которым вы сегодня проснулись, вероятно, хоть частично синтетическое. Потому что у вас дома есть, наверно, ящик с выключателем — стоит повернуть выключатель, и на стеклянном экране появятся изображения живых людей, которые станут болтать всякую чепуху. Потому что, когда вы шли сюда, красные и зеленые огоньки указывали вам, когда переходить дорогу; потому что подметки ваших ботинок тоже синтетические и продержатся дольше кожаных. Потому что, если мимо вас пронеслась пожарная машина, она требовала себе дорогу сиреной, а не колоколом. Потому что школьники, которых вы встретили, одеты были именно так, а не иначе, и потому что негр, с которым вы разминулись на улице, посмотрел на вас искоса, да и вы на него тоже, но оба постарались не показать этого. Потому что первая страница «Нью-Йорк таймс» сегодня именно такая, какой она никогда раньше не была и больше никогда не будет. И потому что миллионы, миллионы и миллионы подобных фактов встречаются вам весь день-деньской.

Большинство этих фактов возможно только в двадцатом веке, многие — только во второй его половине. Одни факты возможны только в этом десятилетии, другие — только в этом году или только в этом месяце и некоторые, немногие — только в один определенный день, только сегодня. Вы, Сай, со всех сторон окружены бесчисленными фактами, которые, как десять миллиардов невидимых нитей, привязывают вас к нынешнему веку... году... месяцу... дню... секунде.

Он взял вилку, намереваясь ткнуть ею в пирог, но вместо этого поднял и постучал ручкой себе по лбу.

— А здесь у вас еще миллионы невидимых нитей. Вы знаете, например, кто в настоящее время президент страны. Знаете, что Фрэнк Синатра мог бы уже стать дедушкой. Что по прериям не бродят больше стада бизонов и

что кайзер Вильгельм не представляет больше опасности. Что монеты у нас теперь чеканят из меди, а не из серебра. Что Эрнест Хемингуэй умер, что все нынче делается из пластика и что, сколько ни пей кока-колы, жизнь от этого лучше не станет. Список можно продолжать бесконечно, он составляет неотъемлемую часть вашего, да и общественного сознания. И он связывает вас и всех нас с тем днем и тем мгновением, когда единственно возможен такой — и никакой другой — список. Убедать от него нельзя, и я сейчас покажу вам, почему. — Данцигер смял бумажную салфетку и положил ее на край тарелки. — Кончили? Хотите чего-нибудь еще?

— Нет, спасибо, я сыт.

— Не слишком обильный обед, зато полезный. Во всяком случае, так говорят. Пошли на крышу. Свой пирог я возьму с собой.

Выйдя из кафетерия, мы прошли коротеньким коридорчиком и поднялись по цементным ступенькам к двери, ведущей на крышу. Утренний дождь прекратился, небо почти очистилось — только на горизонте стлались тучи, и несколько человек сидели здесь в парусиновых шезлонгах, подставив лица солнцу. При звуке наших шагов они повернулись к нам, иные попытались заговорить, но Данцигер лишь улыбнулся и помахал им рукой. Крыша была огромная — целый квартал вара и гравия, самая обыкновенная крыша, если не обращать внимания на десятки новых рам потолочного освещения и целый лес труб и вентиляционных выводов. Пригибаясь, чтобы пройти под ржавыми растяжками более высоких труб, и обходя попадающиеся там и сям лужи, мы добрались до пятна слепополуденной тени у подножия деревянной водонапорной башни. Данцигер жевал свой пирог, а я озирался вокруг.

Вдали, к юго-востоку, виднелась громада «Пан Америкэн эруэйз», в тени которой терялся весь район вокруг вокзала Гранд-сентрал. Еще дальше торчала серая верхушка «Крайслер билдинг», а справа от нее и еще дальше

к югу — «Эмпайр стейт билдинг». За ним стояла почти сплошная стена тумана, уже подкрашенного желтизной фабричных дымов. К западу, всего в каком-то квартале от нас, протекала река Гудзон, напоминающая мутный серый канализационный сток, — впрочем, таковым она и является. За Гудзоном высился крутой берег Нью-Джерси. К востоку меж домами проглядывала узкая полоска Сентрал-парка.

Данцигер махнул вилкой, целясь куда-то в невидимый горизонт.

— Что лежит там? Нью-Йорк? И за ним весь мир? Да, конечно, можно считать и так — Нью-Йорк и весь мир, каков он есть сегодня. Но с не меньшим основанием можно сказать, что там лежит двадцать шестое ноября. Там лежит день, в который вы сегодня утром вошли, и он сплошь заполнен неизбежными фактами и фактиками, делающими его именно сегодняшним днем. Завтрашний день будет почти таким же, и все же не совсем. Где-то какие-то предметы придут в негодность — сегодня их используют в последний раз. Треснутая тарелка, наконец, разломается, волос-другой поседеет у корня, даст о себе знать первый признак болезни. Кто-то, живой сегодня, завтра умрет. Какие-то строящиеся здания окажутся на шаг ближе к завершению, а другие — к сносу. И там, вдали, с той же неизбежностью будет лежать немножко другой Нью-Йорк и другой мир и, следовательно, другой день. — Данцигер пошел к краю крыши, на ходу дожжевывая свой пирог. — Неплохой пирог. Попробовали бы. Я позаботился, чтобы у нас был хороший повар...

На крыше было славно: солнце, отражаясь от ее поверхности, приятно грело лицо. Мы остановились у края, опершись на балюстраду. Данцигер опять махнул рукой в сторону города.

— Перемены, происходящие от одного дня к другому, как правило, слишком незначительны и не бросаются в глаза. И все-таки эти крохотные ежедневные перемены

привели нас к современности от тех лет, когда вместо светофоров и воющих пожарных машин мы увидели бы отсюда возделанные поля, ручьи и рощи, пасущихся коров, мужчин в треуголках и британские парусники, стоящие на якоре в чистых водах Ист-Ривер, под сенью прибрежных деревьев. Когда-то все это было именно так, Сай. Можете ли вы сегодня разглядеть это?

Я старался. Я пилился на бессчетные тысячи окон, прорезанные в сотнях закопченных стен, и вниз на улицы, почти насквозь забитые крышами машин. Я тщился повернуть историю вспять и рисовал себе деревенский ландшафт и человека в башмаках с пряжками и белом парике с косичкой, вышагивающего по пыльной грунтовой дороге, которую называли «широкий путь» — «бродвей». Тщился — и не мог.

— Не можете, правда? Разумеется, не можете. Вчерашний день вы способны увидеть — во всех своих основных чертах он еще цел. Многое осталось и от шестьдесят пятого, шестьдесят второго, пятьдесят восьмого годов. Кое-что осталось даже от девятисотого. И, несмотря на однообразные стеклянные коробки, на строения-уроды вроде «Пап Америкэн», на все другие преступления, совершенные против природы и людей, — он помахал рукой перед своим лицом, будто стирая их с глаз долой, — существуют еще и фрагменты более ранних времен. Отдельные здания. Иногда группы зданий. А подальше от центра сохранились целые кварталы, стоящие на своих местах по пятьдесят, семьдесят, восемьдесят, а то и по девяносто лет. Есть местечки, которым больше ста лет, а иные помнят даже Вашингтона...

На крыше появился Рюб в легком пальто и фетровой шляпе и вежливо остановился в нескольких шагах от нас, вне пределов слышимости.

— Эти уцелевшие остатки, Сай, — Данцигер еще раз ткнул вилкой в горизонт, — дошли до нас от дней, некогда таких же реальных, как сегодняшний, лежащий перед

нами; это фрагменты яркого утра в апреле 1871 года, серого зимнего дня 1840 года, дождливого восхода 1793 года.— Он мимолетно, краешком глаза взглянул на Рюба, затем вновь на меня.— Каждый такой вещественный пережиток, по моему мнению, нечто вроде чуда. Вы когда-нибудь видели «Дакоту»?

— Что, что?

Он кивнул.

— Если б вы ее хоть однажды видели, то запомнили бы и название. Рюб!

Рюб выступил вперед, как бойкий лейтенант, являющийся на вызов полковника.

— Покажите, пожалуйста, Саймону «Дакоту».

Покинув стены бывшего склада, мы с Рюбом двинулись на восток, к Централ-парку; плащ и шляпу я забрал по пути на первом этаже. Затем мы повернули на Уэст-драйв, аллею, проходящую по парку у самой западной его границы. Мы шли в тени деревьев — некоторые из них еще сохраняли листву, чистую, умытую утренним дождем, и Рюб, осмотревшись по сторонам, проговорил:

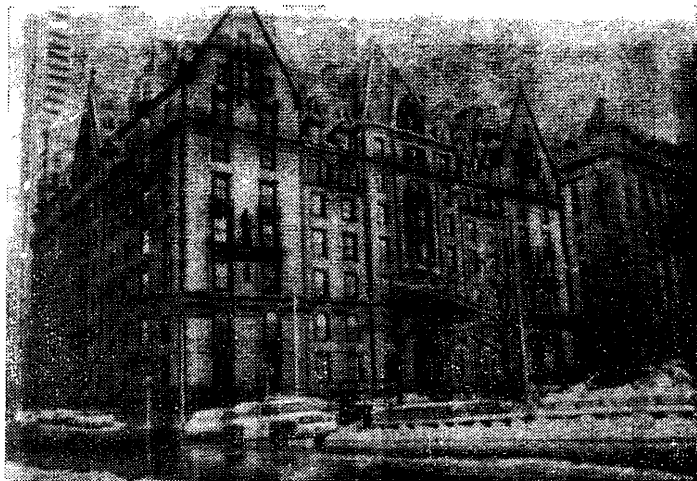
— Парк и сам по себе, признаться, совершенное чудо, неподвластное времени. Здесь, в центре одного из самых быстро меняющихся городов мира, сохранился не просто кусочек прошлого, а несколько сот гектаров, практически не тронутых десятилетиями. Наложите план Централ-парка восьмидесятих годов девятнадцатого века на современный — они почти совпадут. Детали, разумеется, изменились — скамейки, урны для мусора, надписи и указатели, покрытие дорог и тропинок. Но взгляните на старые фотографии — и, за исключением машин на дорогах, никакой разницы, заметной, скажем, с высоты шести-семи этажей, вам обнаружить не удастся...

Рюб неплохо рассчитал, когда произнести свои слова, — возможно, знал по опыту — мы как раз миновали последнее дерево и свернули с Уэст-драйв к выходу на

Семьдесят вторую улицу, и тут он поднял руку и показал вперед:

— Если, к примеру, смотреть на парк из верхних окон вон того дома...

Я увидел дом и застыл на месте. По ту сторону улицы, фасадом к парку, высилось большое — чуть не целый квартал — здание, не похожее ни на что виденное мной в Нью-Йорке. Одного взгляда оказалось достаточно, чтобы убедиться в правоте Данцигера: это был великолепный пережиток другого времени. Позже я пришел сюда еще раз — после снегопада, как нетрудно понять, — и отснял целую катушку пленки с видами здания; управляющий даже провел меня на крышу. Первый снимок сделан в точности с того места, где стояли мы с Рюбом, — дом из светло-желтого кирпича, красиво отделанный темпо-кэричевым камнем: другие снимки подтверждают, что каж-

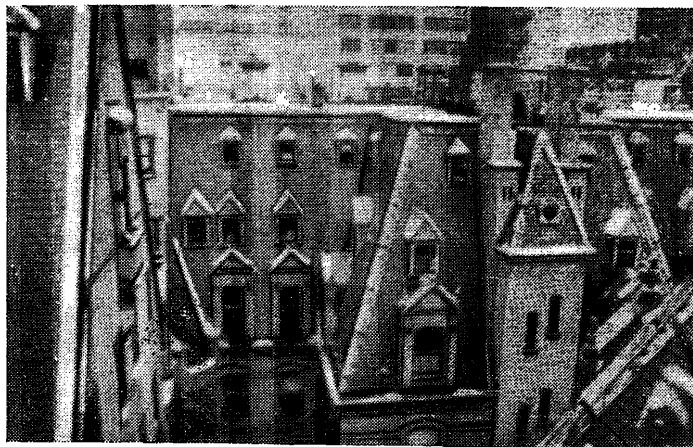


дый из восьми его этажей почти вдвое выше, чем этажи современного жилого дома, построенного рядом.

— Вот так-то жили люди восьмидесятых годов, сынок! В иных квартирах по семнадцать комнат, и больших притом; в такой квартире немудрено и заблудиться. По крайней мере в одной из этих квартир есть утренняя приемная, вечерняя приемная, несколько кухонь, уж и не знаю сколько ванных и танцевальный зал. Стены по сорок сантиметров толщиной — настоящая крепость. Осмотрите весь дом не спеша, он стоит того.

Рюб сказал чистую правду. Я смотрел и смотрел, подмечая все новые удивительные детали: роскошные резного камня балконы под некоторыми из высоких старомодных окон; балкон с оградой из витого железа, опоясывающий весь седьмой этаж; полукруглые эркеры, поднимающиеся вдоль стен, как колонны, до самой крыши, где их венчали купола.

— Это и есть «Дакота». Построена она в самом начале





восьмидесятых годов, когда тут был фактически пригород. Говорили тогда, что до этого дома отовсюду так далеко, будто он где-нибудь в штате Дакота. Так его и прозвали — во всяком случае, легенда такова. Вас, наверно, не удивит, если я скажу, что года два-три назад группа граждан, ратующих за технический прогресс, жаждала снести «Дакоту» и возвести на ее месте еще одно современное чудище с большим числом квартир на той же площади, низкими потолками, картонными стенами, и уж, конечно, никаких вам залов и комнат для прислуги, зато, можете не сомневаться, солидные барыши владельцам. К счастью, на сей раз у жильцов нашлись деньги, чтобы воспротивиться подобным планам: в доме живет довольно много состоятельных знаменитостей. Они организовались и купили «Дакоту», так что покамест ей ничто не угрожает. Если только ее не снесут при прокладке какой-нибудь новой автострады, прорезающей город прямо через Сентрал-парк.

— А можно зайти туда посмотреть, что внутри?

— Сегодня некогда.

Я бросил на дом последний взгляд.

— Оттуда должен быть чудесный вид на парк.

— Будьте уверены.

Рюб внезапно словно потерял к «Дакоте» всякий интерес, взглянул на часы, и мы зашагали обратно по Уэст-драйв. Вскоре мы вышли из парка, и впереди показалось огромное складское здание с выпуклой надписью под самой крышей: «Братья Бийки, перевозки и хранение грузов, 555-8811».

Если в кабинете Данцигера я ожидал увидеть роскошную, впечатляющую обстановку — а я именно того и ожидал, — то глубоко заблуждался. На черно-белой пластмассовой табличке у двери была одна только фамилия: Е. Е. Данцигер — и ничего больше. Рюб постучал, Данцигер крикнул: «Войдите!», Рюб приоткрыл дверь, пригласил меня войти, а сам удалился, пробормотав, что увидимся потом. Данцигер держал у уха телефонную трубку и жестом указал на стул рядом с собой. Я сел — плащ и шляпа опять остались внизу — и огляделся, стараясь в то же время не показаться слишком любопытным.

Кабинет как кабинет, меньше, чем у Россофа, и гораздо скромнее обставленный. Он выглядел даже каким-то незавершенным, как кабинет человека, которому положено его иметь, но который проводит здесь не слишком много времени. На полу лежал простенький стандартный ковер, на одной стене висела небольшая книжная полка, на другой — фотография женщины с прической стиля тридцатых годов, на третьей — огромный аэрофотоснимок горного района Уинфилд, штат Вермонт, но сделанный под другим углом, чем тот, который я видел утром. Письменный стол Данцигера явно прибыл сюда прямо из магазина канторских принадлежностей, как и два обтянутых кожей металлических стула для посетителей. В углу на полу стояла солидная картонная коробка, доверху набитая отпечатанными на ротаторе материалами. На столе у дальней

стены лежало что-то внушительное под чехлом из прорезиненной ткани.

Данцигер закончил свой телефонный разговор — что-то о том, что кто-то должен подписать какие-то документы. Он выдвинул верхний ящик стола, достал сигару, снял обертку, затем разрезал сигару конторскими ножницами ровно пополам и протянул одну половинку мне. Я покачал головой, и он положил ее обратно в ящик, другую половинку сунул в рот, но не зажег, а сказал:

— «Дакота» вам понравилась.

Это был не вопрос, а констатация факта. Я кивнул, улыбнувшись, и Данцигер улыбнулся в ответ.

— В Нью-Йорке есть и другие здания, сохранившиеся неизменными с давних пор. Многие из них не хуже, а некоторые и гораздо старше «Дакоты», и все-таки она — нечто уникальное. И знаете почему?

Я покачал головой.

— Предположим, что вы стоите у окна верхнего этажа и смотрите вниз, в парк: дело происходит, скажем, на заре, когда машин может не быть вообще. Здание, где вы находитесь, сохранилось без изменений со дня постройки, в том числе и комната, в которой вы стоите, и, возможно, даже стекло, сквозь которое вы смотрите. И что поистине уникально для Нью-Йорка: то, что вы видите из окна, тоже не изменилось!..

Перегнувшись через стол, Данцигер сверлил меня глазами, неподвижный как изваяние, если не считать половинки сигары, которая медленно перекатывалась из одного угла рта в другой.

— Слушайте дальше! — сказал он резко. — Фирма, когда-то ведавшая «Дакотой», сохранилась и поныне, и мы сделали микрофильмы со всей их ранней документации. Мы точно знаем, когда и как долго пустовали квартиры, обращенные окнами к парку. Представьте себе одну из этих квартир пустующей летом 1894 года — так оно и было. Представьте себе, что мы снимаем ту же квартиру

на те же месяцы будущего лета — что мы и сделали. А теперь постарайтесь понять меня. Если Эйнштейн и на сей раз прав — а он безусловно прав, — то, каким бы невероятным это ни казалось, лето 1894 года все еще существует. Эта пустая, безмолвная квартира существует тем давно прошедшим летом точно так же, как она существует летом наступающим. Одна и та же, неизменившаяся, она реально существует в обоих временах. И я считаю возможным — понимаете, едва-едва возможным и все-таки возможным, — что будущим летом человек сможет выйти из этой неизменившейся квартиры и очутиться в том, другом лете.

Он откинулся в кресле и глядел мне в глаза, пожевывая сигару, которая знай себе качалась во рту.

— Так просто? — спросил я после длительной паузы.

— О нет! — Он резко наклонился вперед. — Совсем не так просто! — воскликнул он и неожиданно улыбнулся. — Несчетные миллионы нитей, закрепленные вот здесь, Сай, — он прикоснулся ко лбу, — привязывают того человека именно к нынешнему лету, какой бы неизменной ни была окружающая его квартира.

Он опять откинулся назад и все смотрел на меня, продолжая чуть-чуть улыбаться. И потом сказал очень просто и по-деловому:

— Но можно сказать, Сай, что весь проект начался в ту минуту, когда мне пришла в голову мысль, что, вероятно, есть способ перерезать эти нити.

Теперь я понял — я понял цель проекта. Собственно, я догадывался и раньше, но теперь это было высказано вслух. Довольно долго я сидел и размеренно кивал, а Дандигер ждал, что я скажу. Наконец, я решил:

— Зачем? Зачем понадобилось их перерезать?

Он разлегся в кресле, свесив длинную руку через спинку, и пожал плечами.

— Зачем братьям Райт понадобилось построить аэроплан? Чтобы дать работу стюардессам? Чтобы нам удоб-

нее было бомбить Вьетнам? Нет. Я полагаю, в тот момент они думали только об одном: а выйдет ли? Я полагаю, так же думали и те, кто запускал первые искусственные спутники Земли. Им тоже хотелось посмотреть: а выйдет ли? Как ребятам, которые запалили шутиху под консервной банкой, чтобы посмотреть, взлетит ли она. И, на мой взгляд, это веская причина. Потом, конечно, понапридумали всяких впечатляющих целей, чтобы оправдать невероятные расходы на такие игрушки, а сперва, мой мальчик, все, что делается, делается просто ради интереса: а выйдет ли? Вот и у нас тот же вопрос...

По мне причина была достаточно веской.

— Хорошо, — сказал я, — но почему Уинфилд в 1926 году? Или Париж в 1451-м? Или квартиры в «Дакоте» в 1894-м?

— Место действия для нас не имеет значения. — Данцигер вытащил половинку сигары изо рта, с неприятною осмотрел ее и сунул обратно. — Да и время тоже. Это лишь подходящие цели — и только. У нас нет никакого особого интереса к индейцам племени кроу. Или же к 1850 или любому другому определенному году. Но случилось так, что в штате Монтана есть более тысячи гектаров государственной земли, почти нетронутой с пятидесятих годов прошлого века. На четыре, от силы на пять дней министерство сельского хозяйства берется закрыть проложенную там дорогу — не будет ни машин, ни междугородных автобусов — и не допустить пролета самолетов. Оно берется также снабдить нас стадом бизонов в тысячу голов. Если бы мы могли заполучить всю местность в свое распоряжение на месяц, нам не понадобилась бы декорация на «Большой арене». С ее помощью наш человек привыкнет к обстановке и, надеемся, сможет с полной отдачей воспользоваться теми несколькими днями, которыми мы будем располагать на местности.

— Что касается Уинфилда, — Данцигер кивком показал на фотографию, — то это небольшой городок в районе

истощенных сельскохозяйственных угодий, почти покинутый жителями. В течение последних сорока лет он медленно умирал, население уходило. И вот уже тридцать лет никто не тратится на модернизацию и попытки оттянуть неизбежное. Это типичная история для многих районов Новой Англии. Уинфилд более изолирован, чем другие «города-призраки», и мы закупили его через посредников в качестве удобного объекта. Якобы для строительства плотины на его месте.

Он усмехнулся.

— Мы закрыли ведущую в городок дорогу, а теперь реконструируем его. Наши люди снимают неоновые трубки, демонтируют дисковые телефонные аппараты, вывинчивают матовые электрические лампочки. Мы уже вывезли отсюда почти все электроприборы, всякие там машинки для стрижки газонов и тому подобное. Мы сдираем отовсюду весь пластик, реставрируем старые здания и сносим те, что поновее. Мы даже снимаем с отдельных улиц асфальт и превращаем их снова в чудесные грунтовые дороги. Когда мы закончим, маленький, забытый богом Уинфилд будет опять точно таким, каким он был в 1926 году. Ну, так что вы об этом думаете?

— Звучит внушительно, — улыбнулся я. — И дорого.

— Вовсе нет, — уверенно ответил Дандигер. — Обойдется немногим более трех миллионов долларов — меньше, чем стоят два часа войны, и, право же, это лучшее помещение капитала. Хотя и предпринятое ради одного человека: вы видели его сегодня на «Большой арене».

— Тот, на крыльце дощатого домика?

— Да. Это точная копия дома в Уинфилде. И Джон там сейчас делает все, что может, чтобы создать в себе настрой жизни в Уинфилде в 1926 году. Затем, когда и он и мы будем готовы, в течение десяти дней — таков наибольший практически разумный срок — примерно двести актеров и статистов начнут ходить по восстановленным улицам Уинфилда, ездить в старых машинах, сидеть на

крылечках в теплые дни. Им всем объявят, что они участвуют в опытной киносъемке скрытыми камерами, снимающими неотретпетированные, достоверные движения любого из них, как только он выходит из дома. Человек двадцать из двухсот — те, кто вступит с Джоном в непосредственный контакт, — будут нашими людьми. Мы надеемся, что к тому моменту Джон окажется морально готов наилучшим образом использовать эти короткие десять дней.

Пожевывая свой огрызок сигары, старик уставился на огромную фотографию на стене кабинета. Потом снова повернулся ко мне.

— Такова цель всех наших декораций на «Большой арене». Все они — предварительные, временные двойники действительных объектов, еще не готовых или таких, которыми мы не можем пользоваться достаточно долго. Не очень-то много, например, сохранилось на земле тысячетлетних зданий, и одно из них — собор Парижской богородицы. В нашем распоряжении будет лишь пять часов от полуночи до утра. На острове Ситэ и по обоим берегам Сены в пределах видимости от собора будут выключены свет и газ. Мы получили также разрешение установить кое-какие декорации в непосредственной близости от собора. Это самое большее, чего мы смогли добиться — через госдепартамент — от французского правительства. Оно считает, что мы собираемся снимать кино. Мы даже подготовили сценарий, в меру посредственный, что, по-видимому, их убедило окончательно. Никто из нас не возлагает на парижскую попытку больших надежд: для ее осуществления у нас будет всего несколько часов, а этого, боюсь, слишком мало. И уж слишком далеко в прошлое мы забираемся — способен ли кто-нибудь действительно почувствовать сердцем, что было тогда? Сомневаюсь, но и не теряю надежды. Делаем, что можем, на каждом объекте, какой находим, — только и всего...

Данцигер встал и, поманив меня, подошел к накрытому чехлом столу.

— Конечно, есть еще множество деталей, но существо проекта вы теперь знаете. Самое интересное я приберег напоследок — ваше задание.

Он стащил пыльный чехол — под ним оказался отлично исполненный объемный макет. Из зеленой, покрытой барашками воды торчал островерхий лесистый островок. Отделенный от острова проливом, тянулся усыпанный галькой пляж, а над ним косо вверх поднимался крутой берег. На верху кручи рос лес, и среди деревьев стоял белый домик с незастекленной верандой.

— Все это мы сейчас воссоздаем на «Большой аре-не», — Данцигер пальцем прикоснулся к вершине лесистого островка. — Это Эйнджел-Айленд в бухте Сан-Франциско; принадлежит он штату и федеральному правительству. Не считая скрытых за деревьями давно покинутых иммиграционных барачков и заброшенной пусковой площадки ракет «Найк», остров выглядит так же, как в начале века, когда этот дом, — он дотронулся до миниатюрной крыши, — был новым. Дом стоит и поныне, и никаких новых построек из него не видно, разве что из задних окон. А Эйнджел-Айленд загораживает мосты через бухту. Стало быть, не считая современных кораблей и катеров в проливе, местность точно такая же, как прежде. А в течение двух полных дней и еще одной ночи мы получим в свое распоряжение и пролив: там появятся два торговых парусника и несколько судов помельче. — Данцигер с улыбкой возложил большую тяжелую руку мне на плечо. — Сан-Франциско всегда был заманчивым туристским объектом. Но говорят, что до землетрясения 1906 года город был особенно прекрасен, совершенно неповторим. И вот он-то — Сан-Франциско, 1901 год — и есть ваше задание.

Кому по праву срывать кульминацию! Момент был какой-то невинно драматический, и жаль было разрушать его, но приходилось. Я хмуρο покачал головой.

— Нет. Если за мной сохранено право выбора, доктор

Данцигер, то я предпочел бы не Сан-Франциско. Я предпочел бы сделать попытку здесь, в Нью-Йорке.

— В Нью-Йорке? — Он недоуменно передернул плечами. — Я бы лично не стал, но если вам так нравится, пожалуйста. Я думал, что предлагаю вам нечто исключительное, но в конце концов...

Чувствуя себя неловко, я прервал его.

— Извините, доктор Данцигер, но я имею в виду не Нью-Йорк 1894 года.

Теперь он уже не улыбался — он стоял и внимательно смотрел на меня, размышляя, вероятно, о том, не ошибся ли он во мне.

— Вот как? — сказал он тихо. — А какого же?

— Января — не помню точно, какого числа, но я выясню — 1882 года.

Я еще не кончил говорить, а он уже мотал головой.

— Зачем?

— Чтобы... чтобы увидеть, как один человек отправляет письмо, — ответил я, понимая, что звучит это в лучшем случае глупо.

— Просто увидеть? И только? — спросил он с любопытством.

Я кивнул, он резко повернулся, шагнул к своему столу, поднял телефонную трубку и набрал двузначный номер.

— Фрэн! Проверьте наши данные по «Дакоте» — они на микропленке. Были ли свободные квартиры, выходящие в сторону парка, в январе 1882 года?

Мы стали ждать. Я разглядывал макет на столе, обошел его со всех сторон, пригибаясь и щуря глаза. Вдруг Данцигер схватил ручку и стал быстро записывать что-то в блокноте. Затем со словами «Спасибо, Фрэн» он повесил трубку, вырвал из блокнота листок и обернулся ко мне. В голосе его звучала досада.

— С прискорбием должен сообщить вам, что в январе 1882 года есть две свободные квартиры. Одна на втором этаже, и она не годится, зато другая на седьмом, и сво-

бодна она больше месяца, начиная с первого января и до февраля. Откровенно говоря, я надеялся, что ничего подходящего не будет, значит, из вашей затеи ничего не выйдет, и дело с концом. Поймите, Сай, тут не должно быть личных мотивов. Это очень серьезное предприятие, и для подобных вещей в нем не должно оставаться места. Так что, может, вы скажете, что у вас на уме?

— Охотно. Но я хочу не просто сказать — я хочу показать. Завтра утром. Когда вы увидите все своими глазами, то, надеюсь, дадите согласие.

— Не думаю.— Он опять покачал головой, но глаза у него теперь снова стали дружелюбными.— Тем не менее покажите мне, что там у вас есть. Утром, если хотите. А сейчас идите-ка, Сай, домой. Денек у вас сегодня выдался напряженный...

5

Месяца через три после нашего знакомства с Кэтрин я как-то раз проводил ее домой. Уже не помню точно, где мы были в тот вечер. Ездили мы на ее таратайке, и я, как обычно, загнал старушку на тротуар, втиснул в щель между магазином и соседним домом, и мы выкарабкались через багажник. В своей квартирке над магазином Кейт первым делом поставила чайник. Все было как всегда, и тем не менее мы, по-моему, оба знали — знали уже когда снимали пальто, что каким-то таинственным образом пререшагнули сегодня некую невидимую грань, и отношения между нами, до того носившие как бы предварительный характер, приняли вполне определенное направление. И Кейт вдруг начала рассказывать о себе.

Она внесла чай, подала мне чашку, села возле меня на диван и принялась говорить, словно мы оба решили, что настала пора говорить, — а впрочем, мы, пожалуй, и в самом деле решили. Большая часть того, что она рассказывала в тот вечер, не имеет ничего общего с моим повествованием, но спустя какое-то время она спросила:

— Ты знаешь, что я сирота?

Я кивнул: она говорила мне об этом и раньше. Когда Кейт было два года, ее родители уехали однажды на выходной, а ее по обыкновению оставили у соседей — Айры и Белл Кармоди. Жили они все тогда в Уэстчестере. Кармоди были значительно старше супругов Мэнкузо, но водили с ними добрую дружбу и, бездетные сами, обожали малютку Кейт. По пути домой родители девочки погибли в автомобильной катастрофе.

Кейт осталась у Кармоди, а когда выяснилось, что забрать ее некому — ближайший родственник, двоюродный брат матери, жил в другом штате и никогда не видел Кейт в глаза, — Кармоди официально удочерили ее, на что двоюродный брат с радостью согласился. Кейт, конечно, и не помнила своих настоящих родителей; Кармоди были для нее как отец и мать.

Итак, я кивнул: да, я знал, что Кейт сирота. Тогда она встала, прошла к себе в спальню и вернулась, держа в руках красную блестящую картонную папку с красными же шнурками-завязками. Села, раскрыла папку на коленях, разыскала там какую-то бумажку и — все мы в душе актеры-любители с самого рождения, — вместо того чтобы вынуть ее, принялась рассказывать, разжигая мое любопытство:

— Отцом Айры был Эндрю Кармоди, довольно известный нью-йоркский финансист и политический деятель, хотя и не из первой десятки. Позже он как-то растерял и умение делать деньги и самое свое состояние. Вершиной его карьеры были девятые годы, когда он выступал

чем-то вроде советника при президенте Кливленде — Айра как раз тогда и родился.

Чтобы сказать хоть что-нибудь, я спросил:

— И что он насоветовал Кливленду?

— Не знаю, — улыбнулась Кейт. — Надо полагать, ничего особенного. Как историческая личность он не бог весть что собой представлял. Айра говаривал, что в самой подробной истории второго президентства Кливленда* отцу, вероятно, уделили бы одно маленькое подстрочное примечание. Но в мыслях Айры отец занимал важное место, потому что покончил с собой. Уж не знаю, сколько лет было Айре в момент самоубийства, но мысли об отце не покидали его до собственного смертного часа.

Кейт вытащила руку из папки; в пальцах она держала маленький черно-белый фотоснимок.

— Эндрю Кармоди, когда разорился вконец, переехал с семьей в 1898 году в маленький городишко Джиллис в штате Монтана. Много лет спустя, уже взрослым, Айра вновь поехал туда, на противоположный конец страны, чтобы проверить, действительно ли могила отца такова, какой он помнил ее с детства. Память не подвела его. — Кейт подала мне снимок. — Айра сфотографировал ее в то лето: это плита на могиле Эндрю. Когда-нибудь мне хотелось бы съездить туда, взглянуть на нее...

Судя по снимку, плита возвышалась над землей не более чем на полметра — она была заметно ниже соседних плит и к тому же перекосилась влево. Могила у подножия плиты заросла редкой травкой, тут и там торчали облетевшие одуванчики. И вдруг я не без удивления увидел, что значки, выбитые на камне, вовсе не буквы: на ней не было вообще никакой надписи, только непонятный узор. Я поднес снимок ближе к глазам, наклонил к лампе, стоявшей у изголовья, — узор представлял собой составлен-

* Кливленд, Гровер (1837—1908) был президентом Соединенных Штатов дважды: в 1885—1889 и 1893—1897 годах.

ную из многих точек девятиугольную звезду, вписанную в окружность.

Я смотрел на снимок, вероятно, целую вечность — минуту, не меньше. Он захватывал своей абсолютной достоверностью: где-то там, через всю страну, на окраине маленького городка в Монтане и по сей день, видимо, лежит этот странный камень, испятнанный и выщербленный жарой и холодом, сменой дождей и засух многих и многих лет. Наконец я поднял взгляд на Кейт:

— Жена поставила эту штуку ему на могилу?

Кейт кивнула.

— Это-то и не давало Айре покоя.

Она опять пошарила в папке и вытащила длинный пестро-голубой прямоугольник — конверт.

— Эндрю Кармоди застрелился. Однажды летом. Сидя у себя в маленьком дощатом домике. И вот это он оставил на столе...

Я взял конверт. На нем была зеленая трехцентовая марка с профилем Вашингтона — я такой никогда не встречал — и круглый почтовый штемпель: «Нью-Йорк, штат Н.-Й., Гл. почтамт, 23 янв. 1882, 6.00 веч.» Ниже, черными чернилами, шел адрес: «Эндрю У. Кармоди, эсквайру. Пятая авеню, 589». Нижний правый угол конверта слегка обгорел, будто его подожгли, а потом почти сразу же погасили. Я перевернул конверт: обратного адреса не было.

— Загляни внутрь, — сказала Кейт.

Внутри лежал листок белой бумаги, сложенный пополам и с одной стороны слегка обугленный — видно, он находился в конверте, когда тот поднесли к огню. В верхней части листка черными чернилами было написано тем же аккуратным почерком, что и на конверте: *«Если вам интересно обсудить некоторые вопросы относительно каррарского мрамора для здания городского суда, соблаговолите прийти в парк ратуши в четверг в половине первого»*. Ниже линии сгиба синими крупными полуразборчивыми

буквами, с четырьмя кляксами, было нацарапано: *«Поистине невероятно, чтобы отправка сего могла иметь следствием гибель (здесь как будто не хватало одного-двух слов в конце строки, где бумага обгорела) мира в пламени пожара. Но это так, и вина безраздельно (еще одно обгоревшее слово) на мне, и от нее не уйти и не отречься. И вот, не в силах больше взирать на вещественную эту память о том событии, я прекращаю свою жизнь, которой следовало бы прекратиться тогда».*

Губы мои вздрогнули, я едва не усмехнулся: уж очень все это казалось неправдоподобно. Я глядел на обгоревший листок — и не мог представить себе, что человек способен сочинить такую напыщенную, многословную записку, а потом приставить к груди пистолет и застрелиться. И все же факт оставался фактом: каков бы ни был стиль послания, передо мной — я взглянул на него еще раз, и уже без усмешки — был крик отчаяния, суть последних минут человеческой жизни. Я вложил записку в конверт и посмотрел на Кейт.

— Гибель мира? — переспросил я, но она лишь качнула головой.

— Никто не знает, что он хотел сказать. За исключением, быть может, матери Айры. Она вбежала в комнату — я так живо представляю себе это, Сай, представляю вопреки собственной воле, мне эта сцена не по душе, — звук выстрела еще отдавался в ушах, в комнате стоял запах пороха, тело мужа неуклюже навалилось на стол; она схватила конверт, подождала, потом погасила пламя и решила сохранить письмо. Врача она не вызвала. На дознании после похорон она заявила, что Эндрю выстрелил себе в сердце и что было яснее ясного — он мертв. Тут же, не откладывая, она сама обмыла и одела труп и не позволила ни гробовщикам, ни кому бы то ни было даже зайти в дом, пока не подготовила тело для похорон.

В масштабах городка это был крупный скандал, и Айру в детстве неоднократно им попрекали. Но мать Айры ни-

что не смутило. На дознании, глядя следователю прямо в лицо, она заявила, что о смысле предсмертной записки не имеет ни малейшего представления, а ее поступки после смерти мужа — ее личное дело и никого не касаются. Десять дней спустя она поставила на могиле плиту, так никогда никому ничего и не объяснив.

История эта преследовала Айру всю жизнь. Он задавал себе один и тот же вопрос: почему, в чем дело? А теперь тот же вопрос задаю себе я.

И я задавал себе тот же вопрос. Мы о многом переговаривали тогда. Я рассказывал Кейт о своей жизни, главным образом о первом своем браке и разводе и о том, что мне тут с течением времени стало ясно, а что неясно, — тема, которой я раньше всячески избегал. Но даже рассказывая о сокровенном — а слушательница мне попалась внимательная и заинтересованная, — я невольно возвращался мыслями к Эндрю Кармоди и спрашивал себя: почему, в чем же там было дело?

Пожалуй, самое сильное чувство, движущее родом человеческим, сильнее чувства голода и чувства любви, — это любопытство, неодолимое желание узнавать. Оно может стать, и нередко становится, целью всей жизни; из-за него, случается, прищемляют себе не только носы — стремление удовлетворить свое любопытство может вырасти в самую важную, самую волнующую из всех эмоций. И вот утром в пятницу я сидел в кабинете доктора Дандигера, с нетерпением ожидая, что же он скажет. Он меня выслушал. Рассмотрел снимок, голубой конверт и записку, которые я одолжил у Кейт. И долго сидел, молча глядя на меня из-за стола. Одет он был сегодня в темно-синий двубортный костюм и белую рубашку с галстуком-бабочкой; я пришел в своем вчерашнем сером костюме. Выдержав паузу, он снова взял записку и прочитал вслух: *«Поистине невероятно, чтобы отправка сего могла иметь следствием гибель... мира в пламени пожара. Но это так...»*

— И вы хотели бы,— он неожиданно усмехнулся,— стать свидетелем «отправки сего», не так ли? Ну что ж, не осуждаю. Я бы на вашем месте, наверно, тоже захотел. Только, Сай, зачем вам это? Что вы надеетесь выяснить? Самое большее — вам станет известен еще один обрывочек тайны, и он будет преследовать вас всю жизнь, а вы ничего не сможете предпринять. Надеюсь, вы понимаете,— он перегнулся ко мне через стол,— что ни о каком даже самом пустячном вмешательстве в события прошлого не может быть и речи? Изменить прошлое значило бы изменить вытекающее из прошлого будущее. Последствия такого вмешательства совершенно невозможно себе представить, и связанный с ним риск ничем нельзя оправдать.

— Ну, разумеется! Я все прекрасно понимаю. Просто хочу посмотреть, кто отправил это письмо. Знаю, что это немного даст. Может, и вовсе ничего... Но... как вам объяснить...

— Не надо мне объяснять. Я вас понимаю. И тем не менее...

— Если опыт удастся, я так или иначе буду наблюдать что-то. Так почему бы не это?

— В принципе, конечно, возражений нет. Я боялся, что вы именно так и поставите вопрос. Ну, ладно, Сай. Вчера после вашего ухода я позвонил членам совета. Все равно у нас на днях было намечено очередное заседание, и я попросил перенести его на сегодня. Правда, вчера я еще не знал, что у вас на уме, но предположил, что, быть может, решение придется принимать всем вместе. Вы понимаете, что я не всегда волен действовать самостоятельно. Я доложу совету. Но уверен — они вам тоже откажут.

Некоторое время спустя Данцигер представил меня членам совета. Заседание проходило в довольно просторном конференц-зале наподобие тех, какие бывают в рекламных агентствах: передвижная классная доска, на стенах из прессованных панелей — изрядное количество

крупных фотографий и набросков, в основном декорации или проекты декораций для «Большой арены», и длинный стол, за которым расположились мужчины в пиджаках и без пиджаков. Данцигер повел меня вокруг стола, представляя всем собравшимся по очереди. Некоторых я уже знал: в числе членов совета оказался Рюб — он улыбнулся и подмигнул мне, — а также один инженер, с которым Рюб познакомил меня вчера в коридоре. Были там также профессор истории из Колумбийского университета, на удивление молодой человек с интеллигентным лицом; лысый кругленький метеоролог из Калифорнийского технологического института; профессор биологии из Чикагского университета, в самом деле похожий на профессора; профессор истории из Принстона, похожий на комика с афиши варьете; армейский полковник в штатском — подтянутый, с пронизательными глазами человек по фамилии Эстергази; угрюмого вида сенатор и еще несколько человек. Компания подобралась, я полагаю, довольно высокая, но по тому, как они смотрели на меня, как жали мне руку, я вдруг сообразил, что явился сюда не просителем, а почетным гостем. До меня, можно сказать, дошло, что именно ради меня да еще пяти-шести таких же, как я, собралось это заседание и собираются другие ему подобные, дошло, что именно мы составляем соль всего проекта. По дороге в кафетерий я осознал, так сказать, свою значительность, потом сел за столик с чашкой кофе и принялся ждать Данцигера.

Он пришел минут через двадцать с довольной и слегка удивленной миной, сел со мной рядом и сообщил, что совет удовлетворил мою просьбу. Оказывается, за меня вступились Рюб, профессор из Принстона и Эстергази. Они заявили, что вреда от моей затеи не будет, а польза — не исключается, и решение было вынесено благоприятное.

— Знаете, — с улыбкой сказал Данцигер, — вы вводите меня в искушение. В 1882 году моей матери испол-

нилось шестнадцать лет. В день ее рождения — 6 февраля — родители и старшая сестра повели ее в театр Уоллака *, и именно там она познакомилась с моим отцом. Историю эту любили рассказывать у нас в семье. Отец был жизнерадостный светский молодой человек. Перед спектаклем он увидел тетушку Мэри, известную в те времена особу, промышлявшую торговлей яблоками у театральных подъездов, — и, сам не ведая почему, вдруг дал ей золотую пятидолларовую монету на счастье. В ответ она сказала, что сегодняшний вечер будет для него поистине счастливым; он вошел в фойе и обратил внимание на девушку в зеленом бархатном платье. Людей, с которыми разговаривала она и ее родители, он знал и подошел к ним, его представили, а через несколько лет они поженились. Так что сами понимаете, на что вы меня натолкнули...

Я кивнул, а Данцигер откинулся в кресле.

— Часто, очень часто я теряю веру в этот проект. Все начинает казаться бессмысленным, невозможным. Но если вдруг удастся, Сай, если вы действительно попадете в Нью-Йорк той поры и, стоя незаметно где-нибудь в уголке фойе, увидите их встречу... Раз уж есть одна личная причина, почему бы не появиться и второй? Я был бы очень вам признателен, если бы вы набросали для меня их портреты, какими они были тогда.

Я сидел, согласно кивая, внимая его словам, а сам чувствовал, что с той радостной минуты, когда Данцигер сообщил мне о согласии совета, мое возбуждение вдруг пошло на спад и вера в проект этого странного старика начала убывать, будто из меня выдернули какую-то пробку. Чувство это приходило и уходило вновь и вновь, так что к понедельнику я уже почти привык к нему.

* Уоллак, Джеймс Уильям (1795—1864) — знаменитый американский актер и режиссер, основавший в 1861 году собственный театр.

6

В воскресенье я побрился в последний раз. Утром в понедельник в аудитории, куда Данцигер просил меня явиться, меня встретили десять манекенов, выстроившихся у стенки и накрытых бумагой. Я прошелся вдоль этой шеренги, борясь с желанием приподнять бумагу и посмотреть, что же там такое. Но не успел я набраться духу и решиться, как в комнату вбежал худенький человечек лет, как мне показалось, двадцати шести и представился Мартином Лестфогелем, моим инструктором. Мы обменялись рукопожатием и не медля решили, что будем обращаться друг к другу просто по имени. Я присел на стул-парту и наблюдал, как он, стоя за кафедрой, шарит в своем потрепанном портфеле; кожаные ремешки давно перекрутились от старости, а пониже замка виднелись остатки истертой наклейки, на которой некогда значилось: «Колумбийский ун-т».

«Ну и уродец», — подумал я. Подбородок у него был слишком мал, чтобы уравновесить большой, острый и очень длинный нос; волосы тоже были длинные — не стрижены недели три, а не чесаны, наверно, все четыре. Но когда он поднял глаза, они оказались дружелюбными, живыми и умными, а позже я узнал, что у него очаровательная жена, считающая его гением, и что лет ему ни много ни мало — сорок один.

— Ладно, — сказал Мартин, найдя искомое, а именно стопку карточек с записями; он любовно провел большим

пальцем по ребру карточек и положил их аккуратным рядом на углу стола.— Я ведь никакой не преподаватель, так что говорите сразу, если что непонятно или неясно. Я исследователь, один из немногих счастливичков, которые зарабатывают себе на жизнь тем, что им действительно нравится. Мне нравятся исторические розыски. Спросите меня, как освещались улицы в Париже четырнадцатого века, если они освещались вообще, или из чего делались мужские парики в восемнадцатом, или как заворачивали топленое сало в мясной лавке в Новой Англии в 1926 году — и я буду рыться в мусоре прошлого, чтобы выискать для вас ответ.

— Последние два-три дня,— продолжал он,— я ковырялся в восьмидесятих годах прошлого века и буду ковыряться еще. Период очень заброшенный, и непонятно почему — тогда происходило немало интересных событий. Но меня приставили к вам не только с целью напичкать вас фактами относительно того времени. Ведь и сегодня, в двадцатом веке, вы прекрасно обходитесь без знания многих относящихся к нему фактов.— Мартин вышел из-за кафедры, подошел к крайнему манекену и взялся за прикрывавшую его бумагу.— Потому я и не считаю, что вам надо знать все о восьмидесятих годах. А вот что вам надо — так это почувствовать их.

Он сдернул с манекена бумажное покрывало. Под покрывалом оказалось старое обвисшее платье из какой-то тяжелой темной материи, и я поднялся на ноги, чтобы осмотреть его. Оно безжизненно свисало с манекена, кайма подола касалась пола, длинные широкие рукава беспомощно болтались по сторонам. Ворот был высокий, а по груди и обшлагам шел сложный гарусный узор.

— Мы одолжили это в Смитсоновском институте специально для вас,— сказал Мартин.— Доставили самолетом. Платье сшито в начале восьмидесятих годов и сношено тогда же. Люди приходят в музей Смитсоновского института, рассматривают подобные экспонаты и делают

вывод, что вот так и одевались их бабушки. — Он затряс головой. — Да ничего похожего! Зарубите себе на носу, что ничего похожего! Обратите внимание на цвет — если это можно назвать цветом. Старые краски были нестойкими, Сай! — Он произнес это с таким пылом, будто я спорил с ним. — Десятилетиями эта штука выпцветала, тускнела, пока никакого цвета не осталось совсем! А материал! Весь сморщился, в одних местах сел, в других вытянулся, нитки и те истлели. Даже гарус успел стать черным. — Мартин постучал пальцами мне по плечу. — Вот что вам надо понять, более того — почувствовать: женщины восьмидесятых годов были не привидениями, а живыми женщинами, которые ни за что не надели бы этот мешок! — Он ткнул большим пальцем в ветхое платье. — Женщина, которой это принадлежало, что же она носила на самом деле? А вот что! Вот что она себе сшила на званый вечер!..

Мартин рывком стащил покрывало со следующего манекена, и я увидел — нет, не платье, а роскошный наряд из темно-малинового бархата с мягким неизношенным ворсом, ниспадающий спереди и сзади великолепными тяжелыми складками. Гарусная отделка искрилась, сверкала красными блестками, переливалась, словно платье двигалось. Зрелище было захватывающее — с потолка шел ровный свет, и одеяние горело, как драгоценный камень.

Мартин пылливо поглядел на меня, потом взмахнул рукой, указывая на новое платье, и спросил:

— Можете вы представить себе женщину, нет, девушку — живую, из плоти и крови, — надевшую это платье и ставшую в нем совершенно неотразимой?

И я воскликнул:

— Черт возьми, да! Я представляю ее себе танцующей...

В течение целой недели — я то и дело ощупывал свою отрастающую бороду — мы осматривали бесконечные кол-

лекции мужских и женских платьев, головных уборов, а также всякие сумочки, муфты, перчатки — оригинал и следом копию, оригинал и копию. Однажды утром я держал в руках женскую туфлю из ломкой, растрескавшейся серо-черной кожи. Носок и опояска по верху туфли безобразно выцвели, перламутровые пуговицы выщербились — не обувь, а какая-то допотопная диковина. Но Мартин тут же подал мне дубликат из свежей мягкой кожи, с новенькими пуговицами из блестящего перламутра, с ярко-алым носком и такой же опояской по верху. Мартину нельзя было отказать в воображении: туфля была новая, да не совсем. Кожа пахла как новая, но подошва была слегка поцарапана, каблук по краям чуточку сбит, а на подъеме наметилась легкая складка.

— Вся беда с вещами, которые приходят к нам из прошлого, — сказал Мартин, улыбаясь, — состоит в том, что они одряхлели. Они — реликвии, и только. Они могут, конечно, рассказать нам кое-что о прошлом, но, как правило, не возникает и намёка на ощущение, что ими действительно когда-то пользовался живой человек. — Он кивком показал на туфлю, которую я держал в руках. — А вот эта могла бы принадлежать живой хозяйке, хоть нам и пришлось воссоздавать каждый шов...

Я тоже кивнул: нетрудно было представить себе девушку, сидящую на краю кровати: вот она надевает эту туфлю, застегивает ее и любит ее, поворачивая ногу туда-сюда, чтобы заставить блестящую кожу играть на свету.

В течение нескольких дней мы с Мартином листали кпиги с пожелтевшими страницами и заплесневелыми обложками. Уголки страниц рассыпались под пальцами — только призраки могли бы читать такие книги. Затем Мартин извлек из ящика точные копии тех же книг, но в ярких новых красных, голубых, зеленых обложках с названиями, тисненными золотом, со свежими белыми страницами, еще пахнущими типографской краской. Ясно

было, что эти книги никто еще не читал — пока не читал. И где-то в глубине моего сознания восьмидесятые годы начали мало-помалу оживать.

Однажды в обеденный перерыв мы с Мартином встретили в кафетерии Рюба, и он подсел к нам за столик. Потом, весь остаток дня, он водил меня по кабинетам: мы заходили в столярную и слесарную, портняжную и сапожную мастерские, в библиотеку, в конференц-зал, в диспетчерскую «Большой арены», в крошечный кинозал и во все другие помещения, где работали люди, и Рюб знакомил меня со всеми подряд.

Я познакомился с Питером Марплом, молодым художником — раньше он был декоратором в одном из нью-йоркских театров, и совсем неплохим декоратором: как выяснилось, я видел даже несколько спектаклей, оформленных по его эскизам. Я познакомился с Лэрри Макдермоттом, главным фотографом проекта, который раньше подрабатывал в том же рекламном агентстве, что и я. Познакомился с техниками, стенографистками, инженерами и бухгалтером. Познакомился с доцентом-историком, прибывшим из Калифорнийского университета, и несколькими людьми, должностные функции которых остались мне неизвестными; про одного из них Рюб сказал: «Наш главный спец по взяткам», на что тот ответил просто усмешкой.

Познакомился я и со всеми своими коллегами — кандидатами в путешественники по времени, кроме двух, уже занятых на «Большой арене»: Джона Макнотона, обитателя домика в Вермонте, и Джорджа Уинга, индейца племени кроу, бывшего армейского старшины, ныне проживающего в одном из виденных мной вигвамов. Среди кандидатов был тот, кого я наблюдал на занятиях по старофранцузскому языку; у нас оказался даже общий знакомый, имени которого ни он, ни я так и не смогли припомнить. Была еще мисс Эйлин Джоргенсен, худенькая верная молодая учительница из Линкольна, штат

Небраска, которая только что приступила к изучению Сан-Франциско начала века в аудитории, соседней с моей. И были интересная девушка, танцевавшая чарльстон, и мужчина, тренировавшийся в штыковом бою.

В коридоре по дороге к лифту Рюб заметил:

— Маху мы дали с этой парой. Началось с того, что они стали вместе пить кофе, потом вместе обедать, потом встречаться вне работы. Ну, а теперь, понятно, интересуются только друг другом. Они скоро поженятся; это, конечно, славно, но у нас ведь не брачная контора. Маловероятно теперь, чтобы они успешно справились со своими заданиями. Так что мы поневоле вынуждены запереть каждого в своем стойле, и правило стало такое: с другими кандидатами только здороваться и никаких приятельских отношений, понятно?

— Ну, раз уж я упустил эту королеву чарльстона, так и быть...

Как-то утром я провел час в кабинете доктора Россофа — он обучал меня самогипнозу. Оказалось, что это на удивление просто, во всяком случае методика была нехитрой. Россоф усадил меня в свое большое, обтянутое зеленой кожей кресло и посоветовал расположиться поудобнее.

— Закройте глаза, если хотите, хоть это и не обязательно. — Я закрыл глаза. — Теперь молча повторяйте про себя, что вам становится все лучше и легче, что вы все больше расслабляетесь и душой и телом. И пусть оно так и случится. Затем скажите себе, что вы медленно, постепенно впадаете в транс. Легкий транс — вы бодрствуете и понимаете, что происходит. И пусть вас не смущает само слово «транс» — это всего лишь удобный термин. А потом устройте проверку: внушите себе, что вы временно не можете поднять руку, и если вы действительно не сможете ее поднять, значит, вы в транс. Сделайте любое другое гипнотическое самовнушение. Например, если болит голова, скажите себе, что досчитаете до

пяти — и боль пройдет. Или сотрите какие-либо мысли, эмоции, воспоминания, и пусть они затем вернутся гипнотическим внушением. Договорились? Это, между прочим, удивительное оружие.

Я кивнул, и Россоф вышел, оставив меня наедине с собой. Я сделал все, как он велел, и почувствовал себя па редкость хорошо и удобно. Затем я внушил себе, что постепенно впадаю в легкий транс, и мне казалось — я ощущаю, как транс завладевает мной. Сидя совершенно неподвижно, почти в полусне, я уверял себя, что не могу поднять руку, что бессилён двинуть ею. И наконец, уставившись на собственный локоть, попытался ее поднять — рука подскочила так резко, что чуть не выбила мне глаз.

Я предпринял еще одну попытку — не торопясь, почувствовав, как расслабляется каждая мышца. И единственной частью моего тела, не ведавшей, что я впал в состояние гипноза, оставалась моя рука. Каждый раз она подскакивала, словно старательная, но глупая собака, которая никак не может взять в толк, чего от нее хотят. Вернулся Россоф, выслушал меня и предложил попрактиковаться дома, когда я в самом деле устану и мне захочется спать.

И было еще одно утро, когда Мартин Лестфогель повесил на классную доску экран, а сзади на стенде уже стоял проектор для диапозитивов. Мартин сел рядом со мной, зажав в кулаке панельку дистанционного управления. Щелкнул клавишей — в проекторе зашумел вентилятор, а на экране возник белый квадрат с чуть размытыми краями. Еще щелчок — и квадрат превратился в резкий черно-белый рисунок, в старую гравюру на дереве. Гравюра изображала городскую сценку, по-видимому восьмидесятых годов: оживленная улица, заполненная каретами, телегами, пешеходами. Исполнение было неплохое, графикой художник владел просто хорошо, но к такой манере не прибегали уже более полувека.

— Сделана скорее всего с фотографии, — сказал Мартин приглушенным голосом; не отдавая себе в том отчета, он заговорил тихо, как обычно говорят в темноте. — До изобретения растров многие гравюры для иллюстраций делались прямо по фотографиям. Если я угадал, то перед вами абсолютно достоверное воспроизведение реальной действительности.

Теперь я попал в свою стихию — и откликнулся:

— Сегодня мы так действительность не передаем. Картинка эта напоминает мне японское искусство: плоская перспектива, и у всех без исключения раскосые глаза. Для нас рисунок не реалистичен, однако для зрителей того времени...

— Точно. Можете продолжить лекцию сами и лишить меня куска хлеба. А ведь мне семью содержать надо. Ну, ладно. Мы дали копию этой гравюры и кучу других Сиднею Эркхарту. Вы его знаете?

— Видел его работы: уличные сценки, городские пейзажи. В основном акварель. Вполне приличный художник.

— Он умеет показать душу города. Как вы думаете, здесь это удалось?

Мартин нажал клавишу на своей панельке, и на экране появился Сидней Эркхарт, какого я с удовольствием приобрел бы для себя. Та же сценка, которую мы только что видели, та же во всех деталях. Но уже не гравюра, а рисунок, к тому же в цвете: контуры, намеченные пером, залиты цветной тушью разных оттенков. Сценка та же, но выполненная в манере импрессионистов: все в ней двигалось. Выезды действительно бежали рысью, а лошади-тяжеловозы блестели от пота и напряжения. Колеса карет крутились, спицы отсвечивали на солнце, и уса-тый мужчина, перебегавший дорогу под самым носом у лошади, действительно бежал, быстро перебирая ногами. Я их видел. На какую-то долю секунды, едва на экране вспыхнул забросок Эркхарта, я ощутил себя стоящим на

тротуаре и наблюдающим сценку собственными глазами — она была почти живая.

Мы провели целое утро за этим занятием, сперва разглядывая рисунок или фотографию начала восьмидесятых годов, а затем «перевод», как называл их Мартин, — работы Эрхарта, Карла Морза, Мюррея Сидорфски или еще кого-нибудь. Не все «переводы» оказывались удачными, иные получились только частично. Но некоторые удались безусловно, и я внезапно с трепетом ощущал, что передо мной подлинное мгновение прошлого.

Задолго до того, как мы закончили, я уже знал, что смогу проделать такую же штуку без посторонней помощи. И совсем не обязательно было становиться Эрхартом или кем-нибудь еще: я тоже мог бы всмотреться в старый снимок или гравюру и вжиться в них, вжиться настолько, чтобы всеми чувствами коснуться давнишней реальности, отображенной на бумаге. Уже и теперь я мог бы сделать это не хуже авторов многих рисунков там, на экране, а может, и лучше. Я не был, правда, уверен, сумею ли выразить это так же хорошо графически, хватит ли у меня таланта; скорее всего нет. Но мысленно я могу сделать это лучше — наверняка.

По дороге в кафетерий я поделился своими впечатлениями с Мартином, и он понимающе закивал:

— Мы как раз и надеялись пробудить у вас подобное чувство. Россоф даже предсказал, что так оно и будет. Но времени для собственных эскизов у вас почти не останется, и целью сегодняшнего занятия было дать вам направление: у нас сколько угодно материала, который вы сможете изучить и «перевести» сами...

Следующие три дня я провел один на один с проектором, рассматривая всевозможные виды и сценки восьмидесятых годов и анализируя их в поисках скрытого в каждом зерна реальности, приобретая день ото дня все больший навык и все большую скорость.

А однажды, часа в четыре пополудни, меня завели в

портняжную и обмерили с головы до пят. Потом я стоял в одних носках, держа по ведру песка в каждой руке, и сапожник очертил контуры моих ног.

Почти целую неделю Мартин читал мне лекции по своим картотечным записям. Начал он с вопроса: каково было население Соединенных Штатов в 1880 году? Я разделил нынешнюю цифру пополам и ответил, что сто миллионов, но Мартин предложил мне споловинить ее еще раз — американцев тогда насчитывалось всего пятьдесят миллионов человек, да и те в подавляющем своем большинстве жили к востоку от Миссисипи. По прериям Дальнего Запада еще бродили бизоны, новая трансконтинентальная железная дорога представлялась национальным чудом и вызывала, пожалуй, больше восхищения, чем космические полеты в наши дни, а индейцы еще всюю снимали скальпы с белых пришельцев. Это была иная страна, это был иной мир; еще существовали вымершие ныне животные, да и вымершие социальные системы — Европа была битком набита королями, королевами, императорами, царями и царицами, причем не номинальными владыками, а подлинными самодержцами.

Мартин рассказывал и о том, как тогда путешествовали и перевозили товары. Уже существовали пароходы, и железная дорога насчитывала несколько десятилетий от роду, и тем не менее торговые корабли плавали в основном под парусами, а большинство людей в мире передвигалось либо пешком, либо верхом или конным транспортом. Американцы, как правило, жили и умирали в том же штате и даже в том же населенном пункте, где родились; куда больше народу пересекало океан, чем страну. И тем не менее мир восьмидесятых годов был гораздо ближе к нашему, чем может показаться с первого взгляда.

— Он был другой, Сай, совсем другой, — говорил мне Мартин, — но не чуждый нам мир, и мне сдается, что вы чувствовали бы себя в нем как дома.

Кейт нашла, что мои длинные, спускавшиеся к ворот-

нику волосы и каштановая борода, которую я начал уже подстригать, очень мне идут, и я с ней согласился. По вечерам она стала помогать мне выполнять домашние задания. Как-то раз я повел ее обедать в ресторан на Мэдисон-авеню, пригласив туда также Рюба и доктора Данцигера, и она им понравилась. После этого ей позволили прийти «на склад». Доктор Данцигер лично показал ей «Большую арену», а его секретарша — почти все остальное. Меня на экскурсию не позвали — я был слишком занят с Мартином Лестфогелем.

Таким образом, Кейт теперь сделалась, можно сказать, моей соучастницей, и зачастую вечерами у себя или реже у меня дома она устраивала мне экзамены по лекциям Мартина, сверяясь по его же записям. Она помогала мне вживаться в восьмидесятые годы по снимкам и гравюрам, которые я приносил с собой. Однажды в субботу утром я провел Кейт в свою аудиторию и показал ей реставрированные платья, шляпы, перчатки и обувь того времени; она была в восторге и непременно хотела что-нибудь примерить. Она была мне отличной помощницей и, думаю, главным ускорила усвоение учебного материала. Мартин, во всяком случае, не сомневался, что это так. Она же здорово помогла мне освоить технику самогипноза. Именно с ее слов я наконец представил себе ощущение «впадения в транс», и как-то вечером, сидя у нее в уютном антикварном кресле-качалке, сумел по-настоящему загипнотизировать себя, и рука моя отказывалась, на самом деле не хотела пошевеливаться. Потом я внушил себе, что забыл свой собственный адрес и не вспомню, пока Кейт не заговорит, и долго сидел, тщетно пытаюсь вспомнить его, и не мог; было интересно и немного страшно.

По просьбе доктора Данцигера я перестал читать газеты, журналы и современные книги; я отключил также телевизор и радио — и ни на минуту не пожалел об этом. А в один прекрасный день дело дошло до дегустации блюд. Происходила она в кафетерии после обеда, который я по

настоящему Мартина пропустил, и в зале не было никого, кроме толстого пожилого повара, доктора Россофа и меня. Сперва повар подал тарелку с отварной бараниной, вареной картошкой и свеклой. Россоф сел напротив, повар встал неподалеку, и оба с легкой усмешкой наблюдали за мной. Я пощипал с тарелки одного, другого, третьего, пробуя и закатывая глаза, как знаток. Баранину я вообще никогда раньше не ел и попросту не представлял себе, чего от нее ждать. А вот картошка и свекла были какие-то не такие. Я тщательно жевал, стараясь определить, в чем же разница, и Россоф даже поторопил меня:

— Ну?

Я проглотил и ответил:

— Вкусно. Вкуснее, ароматнее, чем я привык.

Россоф и повар усмехнулись снова, и Россоф сказал:

— В восьмидесятые годы овощи выращивали без химических удобрений, без инсектицидов и предпосевной обработки. В них нет ни консервирующих веществ, ни витаминных добавок.

— А варились они в нехлорированной воде,— уточнил повар.

Потом мне дали помадку — сахар для нее рафинировали каким-то дедовским способом, однако, по-моему, она не отличалась от любой другой помадки. Мне подали кусочек бифштекса — он оказался жестче и явно иного вкуса, чем те, какие я ел до тех пор. Было также отличное мороженое из непастеризованных сливок. И немного неразбавленного виски, изготовленного специально для меня, крепкого, плохо очищенного.

И наконец наступил вечер, когда я поужинал у себя дома, вымыл посуду и выкинул из холодильника все, кроме запечатанных бутылок и консервных банок. Потом я присел за карточный столик в гостиной и принялся писать письма и открытки своим друзьям и знакомым.

Я писал, что здесь, в Нью-Йорке, работа у меня что-то не клеится и вот сегодня, 4 января, повинуюсь внезапно-

му импульсу, я пошел и купил подержанную машину, упаковал вещи и завтра же уеду, пока не передумал. Поеду куда глаза глядят, скорее всего подальше на запад, и буду по дороге делать зарисовки, эскизы и снимки. Сообщу, мол, о себе при первой возможности и свяжусь, как только вернусь. Все это вранье мне не слишком нравилось, но я понимал, что ни лично, ни по телефону не сумею изворачиваться с должной убедительностью.

Открытки и письма я опустил на Лексингтон-авеню, в квартале от своего дома. Бросив их в ящик, постоял, огляделся — вокруг лежал Нью-Йорк второй половины двадцатого века. Впрочем, смотреть было особенно не на что: бесконечные стены, длинная полоса асфальта, по которому ехало одно-единственное такси, да кусок черно-серого неба над головой, откуда не пробивалось даже самой маленькой звездочки. Казалось, выхлопные газы всех машин города, набравшиеся за день, осели именно здесь и нещадно щипали глаза; стало холодать, а с поперечной улицы к Лексингтон-авеню приближалась группа молодых негров, и я не стал ждать, когда они подойдут, чтобы объяснить в своих давних симпатиях к Мартину Лютеру Кингу. Я пошел по авеню вверх и кратчайшим путем вышел к бывшему складу. Я устал, мне хотелось спать — и в то же время я чувствовал, как от волнения гулко бьется сердце.

Через полтора часа, в десять минут второго ночи, мы покинули здание; на улице у дверей стояла маленькая красная машина Рюба. Он сел за руль, доктор Россоф сзади справа, а я слева, чтоб они вдвоем хоть частично прикрыли меня; поверх костюма, надетого мной «на складе», — я старался поменьше думать о костюме — мы набросили плащ доктора. Скрывать длинные волосы и бороду, разумеется, не было нужды.

Не припомню, чтобы я по дороге проронил хоть слово, но хорошо помню, что все время нервно зевал. Рюб оста-

новился, не доехав метров десяти до главного подъезда «Дакоты», и протянул мне руку; я пожал ее.

— Ну, Сай, желаю удачи,— сказал он.— Хотел бы я оказаться на вашем месте...

Россоф открыл дверцу и вылез из машины. Я передвинулся вдоль сиденья и последовал за ним.

У ворот нас ожидал портье в ливрее; он молча кивнул нам, и мы, никого не встретив, поднялись по широкой старинной лестнице до седьмого этажа. Моя квартира была через несколько дверей по коридору, и я вытащил ключ.

— Мой плащ, Сай,— напомнил Оскар, и я снял плащ и отдал ему.

— Может быть, зайдете? — предложил я, но он только головой покачал; он уставился на мой костюм, потом перевел взгляд на мои волосы и бороду, будто увидал их впервые. На лице его отразилось какое-то трепетное удивление.

— Нет. Я полагаю, что сейчас здесь нет места ни для чего и ни для кого из этого времени.— Он протянул мне руку.— Вы знаете, как поступить, когда почувствуете, что готовы.

Мы пожали друг другу руки, и я направился к своей двери, вставил ключ в замок и надавил на массивную резную бронзовую ручку; дверь повернулась на петлях бесшумно, словно совсем ничего не весила — и тем не менее я ощутил, какая она тяжелая. Я оглянулся, чтобы еще раз попрощаться с Россофом, но он уже уходил. Вот он завернул за угол, к лестнице, бросил на меня последний взгляд и исчез.

Я вошел в квартиру и прикрыл за собой дверь. Глаза постепенно привыкли к слабому свету, проникавшему сквозь высокие окна. Расположение квартиры я знал — я был здесь однажды с Данцигером и Рюбом, когда закончились работы по реставрации. Приблизившись к окну, я посмотрел вниз, где под луной бледнели извивы аллеи и пятнами лежали тени деревьев Сентрал-парка. Да, я знал,

что если перегнуться, то прямо под окном я увижу светофоры и редкие машины, скользящие по улице Сентрал-парк-уэст. Подними я глаза — и по ту сторону парка я увидел бы светлячки еще не погасших окон в жилых громадах вдоль восточной его стороны. Посмотри я направо — и я неизбежно заметил бы неоновые рекламы на крышах отелей у южной оконечности парка, а еще дальше — огни больших небоскребов центра.

Но я не смотрел ни вправо, ни влево. Я смотрел только на тени Сентрал-парка и на лунную дорожку, что блестела на пруду почти прямо передо мной, и думал: вот так же она блестела и тогда, когда этот дом был новым. Там и сям вдоль аллей горели фонари, окруженные ореолом легкого ночного тумана, и мне представлялось, что они, вероятно, выглядят так же, как много десятков лет назад.

Я помнил, что на окне есть тяжелая зеленая штора, — я опустил ее в темноте, затем задернул бархатные гардины. Прodelал то же самое со всеми другими окнами, вытащил из кармана коробку спичек и чиркнул одну о подметку. Она зашипела, занялась — по черенку потек расплавленный воск, — потом загорелась спокойным пламенем. Прикрыв пламя рукой, я поднес спичку к резной бронзовой Г-образной трубке, выступающей из стены. Под стеклянным колпаком вспыхнул голубоватый клинышек огня, осветив неверным полукругом серый с цветастым узором ковер у моих ног; наконец, свет стал ровным.

Секунду-другую я смотрел на комнату, па окружающую меня обстановку. Было почти два часа ночи. Два часа ночи на 5 января 1882 года, напомнил я себе, осознав вдруг, что эксперимент начался.

Я готовлю довольно сносно, хотя кухня, как правило, бывает полна дыма,— в общем по-холостяцки. А теперь, спустя неделю после того, как я перешел на самообслуживание, даже воспоминания о настоящей вкусной еде заметно потускнели. Сегодня у меня на ужин предполагались свиные отбивные и картошка, жаренная в сале, и я надеялся, что в виде исключения оба блюда поспеют одновременно. Уверенности в этом я, однако, не испытывал и, возясь на кухне, подумал о том, что собственная готовка мне порядком приелась; тут я усмехнулся — «приелась» было явно не то слово.

Мальчик-разносчик с Фишборнского рынка доставил отбивные утром к черному ходу квартиры. Я стоял в дверях в своих черных, неглаженных шерстяных брюках без обшлагов, широких помочах, тяжелых черных ботинках на пуговицах, рубашке в бело-зеленую полоску без воротничка, но с запонками под него спереди и сзади, и двубортной черной жилетке с плетеным кантом; поперек живота тянулась тяжелая часовая цепочка чистого золота. Я вручил мальчику написанный карандашом заказ на мясо и бакалейные товары на завтра и дал ему пять центов на чай. С одной стороны монеты был выбит щит, с другой — большая цифра 5; мальчик рассыпался в благодарностях. Убирая мясо в холодильник, я представил себе, как он взбирается на облучок своего легкого фургона. Летом парусиновые борта фургона закатываются наверх, а когда пойдет снег — его ждали со дня на день, — фургон заменят большие сани.

Мясо, которое я уложил на слой льда, было завернуто в грубую бумагу и перевязано бечевкой — никакого вам целлофана или гуммированной ленты. В первый раз кто-то об этом позабыл, но на следующий день кто-то другой, видимо, заметил ошибку, и больше она не повторялась. О масле и сале тоже позаботились; их доставляли в плоских ковпичках из тонюсеньких дощечек, и каждый ковпичек обертывали в такую же бумагу.

Картошка моя жарилась вовсю на огромной черной, набитой углем плите, а я приглядывал за ней, изредка помешивая. Мне нравилось на кухне: она была просторная, с солидным круглым деревянным столом и четырьмя высокими деревянными стульями посередине. Плита по размеру напоминала большой канцелярский стол, но отличалась от него множеством никелированных завитков. Одну стену целиком, от пола до потолка, занимал исполинский посудный шкаф; за стеклянными дверцами на покрытых клеенкой полках стояли фарфоровая и стеклянная посуда, кастрюли и сковородки.

Огонь, пылающий в плите, наполнил кухню теплом, стало уютно, окна затуманились. Я отвернулся от плиты, перешел к шкафу, достал полбуханки хлеба из большого красного хлебного ящика и отрезал себе три толстых куска. Уж их-то я съем целиком — единственной по-настоящему вкусной вещью, какую я теперь ел, оставался хлеб. «Может, именно хлеб и спасает тебя от голодной смерти», — подумал я; разговаривать сам с собою вслух я еще не научился. Хлеб был домашний, выпеченный ирландкой, которая, по ее словам, торговала им только вразнос.

У меня уже вошло в привычку обедать и ужинать прямо на кухне, чтобы не таскать посуду туда-сюда. Вот и сегодня я ужинал здесь, почитывая вечернюю газету, которую подобрал у дверей. Сегодня было 10 января, так что передо мной лежал свежий хрустящий номер «Нью-Йорк ивнинг сан» от 10 января 1882 года. Ознакомившись с ним и отужинав — отбивные оказались вполне съедобны,

хоть и несколько суховаты, зато полусырую картошку не стал бы есть и умирающий с голоду стервятник,— я вытащил из кармана часы и нажал кнопочку сбоку, чтобы отщелкнуть золотую крышку, прикрывающую циферблат. Они показывали самое начало восьмого — на четыре минуты впереди кухонных часов, которые еще не пробили. Какие часы правильные, я не понял, да это и не имело значения: никаких развлечений па вечер не предвиделось. Сейчас семь, следовательно, когда перемою посуду, будет полвосьмого. Потом, до девяти, пораскладываю пасьянсы, затем лягу и в постели посмотрю последний номер еженедельной «Иллюстрированной газеты Фрэнка Лесли», доставленный сегодня почтальоном...

А через несколько дней у меня были гости. Я вымыл посуду после ужина, расставил ее на сушилке, зажег свечку в фарфоровом подсвечнике, выключил газ над столом и раковиной и двинулся по длинному коридору к гостиной, прикрывая свечку рукой. Там я зажег одну настенную горелку и лампу на столе, скользнул глазами по окнам — на улице уже стемнело, рассмотреть за окнами я ничегошеньки не мог — и опустился в кресло. Кресло было обито материей цвета спелой сливы, а на ручках и понизу украшено, наверно, целым миллионом кисточек.

Когда раздался звонок, я буквально подпрыгнул. Мне и в голову не приходило, что кто-нибудь может позвонить ко мне: мальчик-разносчик всегда стучал. По правде сказать, я даже не знал, что на двери есть звонок, и поспешил к ней едва ли не бегом, опасаясь, не случилось ли беды.

На площадке стояли, улыбаясь, Рюб Прайен и черно-волосая кареглазая женщина. На Рюбе было пальто по самую щиколотку, с коричневым меховым воротником, в руке он держал котелок и еще что-то, чего я в полумраке площадки не разглядел. Женщина была в таком же длинном темно-синем пальто с капюшоном и в белом шарфике, завязанном под подбородком.

— Привет, Сай,— сказал Рюб.— Проходили мимо и решили заглянуть. Наше счастье, что застали хозяина дома.

— Заходите, заходите! — воскликнул я, обрадованный как мальчишка.— Хорошо надумали, что пришли!..

Рюб представил мне свою спутницу — ее звали Мэй,— и я принял у них пожитки. У Рюба в руках оказались две пары коньков — собственно, просто лезвий, прикрепленных к деревянным площадкам и снабженных кожаными ремешками. Выяснилось, что они собирались в парк покататься на коньках — флаг, по словам Рюба, поднят и костры горят. Он предложил мне присоединиться к ним, однако я отказался: благодарю за честь, но, к сожалению, кататься не умею. Я сварил им кофе, а когда вернулся, Мэй сидела за фисгармонией и просматривала ноты.

Фисгармония по размерам и по виду походила на пианино и разукрашена была лишь чуть побольше Тадж Махала. Желтое дерево — кажется, дуб — несло на себе неизмеримое количество всевозможных резных, пиленных и точеных завитушек, словно целая орава спятивших резчиков по дереву атаковала инструмент и превратила бы его в кучу стружек и опилок, если бы их не оттащили за волосы. Мэй взяла чашку; ее простое шерстяное платье, коричневого, в цвет глазам, доходило почти до пола, белый воротничок был заколот спереди серебряной брошью, а черные волосы с пробором посередине собраны сзади в тугой узел. Рюб, восседающий в деревянной качалке, выглядел просто бесподобно: сюртук с четырьмя пуговицами и узкими высокими лацканами, жесткий стоячий воротничок с острыми уголками и черный галстук, заколотый золотой булавкой; на ногах у него красовались высокие черные ботинки на пуговицах, такие же, как у меня.

Мэй поставила чашку, раскрыла ноты и заиграла нечто под названием «О спрячь меня», а потом «Фуникули, фуникула!». Играла она неплохо, и мы с Рюбом сидели, слегка улыбаясь, покачивая в такт головами и всячески притворяясь, что музыка нам нравится. Потом мы мипуту-

другую потолковали о погоде, о вчерашнем пожаре на Девятой улице, о прокладке туннеля под Гудзоном. Я предложил им выпить, но Рюб ответил: нет, пора, а то они, чего доброго, и до катка не дойдут, — и они ушли. И оставили меня в таком возбуждении, что я целый час не мог успокоиться; я пытался читать, но только через час начал хоть примерно понимать смысл того, о чем читал.

Тяжкие последствия имел этот визит и на следующий день. После завтрака и обязательной «Нью-Йорк таймс» я вдруг почувствовал, что сыт по горло и не желаю больше обманывать самого себя. Все это притворство показалось мне совершеннейшей глупостью, и, вместо того чтобы приняться за книжку, которая была у меня в руках, я запустил ею в кресло. Я стоял посреди гостиной, физически ощущая на себе не одежду, а надоевший театральный костюм, явственно представляя себе настоящий Нью-Йорк, раскинувшийся вокруг, с кинотеатрами, спектаклями, кабаре, радио, телевидением, а главное — с людьми, которых смертельно хотелось видеть; а ведь для этого надо всего-то выйти за дверь. Над городом пролетали самолеты — я слышал их рев. Город был запружен автомобилями — он раскинулся рядом, только я не видел его, он вздымался к небесам стеклом, сталью и камнем, — а Нью-Йорк восьмидесятих годов давно обратился в прах.

Однако, едва начавшись, бунт мой тут же пошел на убыль, и я уже знал, что через минуту-другую сумею без насилия над собой снова войти в роль. Наверно, почти каждому из нас случалось проводить отпуск в каком-нибудь глухом уголке, вдали от газет и телевидения. Повседневный мир остается где-то далеко-далеко, и постепенно осознаешь: единственное, что имеет значение, — это окружающая тебя обстановка и спиюминутные твои дела.

Так и здесь. Желание включить телевизор становилось все более смутным; воспоминание о том, что испытываешь,

сидя за рулем автомашины, — тоже. А последние слышанные мною новости, как внутренние, так и международные, давно устарели. Все ощущения, свойственные миру, из которого я ушел, заметно притупились, а ведь то, что мы делаем, о чем думаем, чего хотим, — по большей части дело привычки. И оказалось вовсе не трудно прикрыть на мгновение глаза, потом оглянуться, поднять книжку и начать ее читать с того самого места, где я остановился вчера ночью, как если бы ничего и не произошло.

И все же дни сменялись днями, а я не предпринимал ни одной попытки — понимал, что потерплю неудачу. Время текло, как будто я выздоравливал после долгой болезни — медленно, без всяких усилий, без чрезмерной скуки, но и без волнений, часы и дни таяли, как лед по весне. Внешний мир провалился куда-то в небытие, и единственной реальностью осталось мое теперешнее существование. А в нем все соответствовало 15, 16, 17, 18, 19 января... 1882 года. И я почти, почти верил в то, что так оно и есть. Но за окнами... Если бы не здания, окружающие Сентрал-парк, он с высоты, вероятно, выглядел так же, как и тогда. Снимок на следующей странице сделан, когда я в первый раз заходил ненадолго в свою квартиру. И теперь, глядя ночью или на заре вниз на парк, я старался укрепить в себе ощущение девятнадцатого века, простирающегося окрест. Но однажды, когда мне уже начинало казаться, что я близок к цели, через поле зрения пронесся темно-красный «мустанг» со сверкающими колесами и поднятым задом. И уж во всяком случае я ни разу не рискнул поднять глаза от старых аллей и тропинок, создавая, что за парком явственно и неизбежно виден двадцатый век.

Как-то после обеда я сидел в гостиной. Часа в четыре — часы на кухне, почудилось мне, только недавно пробили — я поднял глаза от книжки: что-то изменилось. Я огляделся: нет, все на месте. Потом я посмотрел вверх — потолок как-то посветлел, изменился падающий на него с



улицы свет. И еще что-то. Стены у «Дакоты» отличались редкой толщиной, снаружи доносились лишь самые резкие звуки, и то приглушенно; но теперь не стало и их. Ни гудков, ни воя тормозов, ни визга шин — полнейшая тишина. И вдруг откуда-то издали до меня долетел радостный ребячий крик.

С книжкой в руках я приблизился к окну, выглянул — и даже дух захватило: все покрывал сплошной слой свежего, чистого, сверкающего снега, а мимо окна неслись и неслись мириады крупных хлопьев. Улица внизу замерла, на ней не осталось ни одной машины — те, что стояли, отъехали, прежде чем снег захватил их в плен. Мостовая Централ-парк-уэст сияла нетронутой белой гладью, светофоры бессмысленно меняли свет с зеленого на красный, с красного на зеленый, а в парке — в парке было просто великолепно. Там было движение: детишки в красном, голубом, коричневом, зеленом бегали, скакали, падали, валялись в снегу, черпали его пригоршнями, кидались снегом, ели его. Кое-кто успел уже прихватить санки, и целый рой детей копошился вокруг огромного снежного кома выше их ростом.

Грозы и метели приводят меня в восторг; с полчаса, не меньше, простоял я у окна, глядя, как мимо несутся огромные снежные хлопья, как Централ-парк постепенно превращается в гравюру на меди — белая окантовка легла на черные ветви деревьев, а холмики и впадинки, аллеи и тропинки исчезли, скрытые белой пеленой.

Спустя какое-то время я согрел кофе, потом — ужинать было еще рано, но я проголодался — сделал себе бутерброд, взял яблоко и вернулся в кресло. Наступали сумерки, снежное покрывало приняло синеватый оттенок. Я сидел и смотрел, как уходит день. Через некоторое время я заметил, что светофоры на улице погасли — то ли выключенные экономии ради, то ли выведенные из строя метелью. Теперь они и выглядели по-иному: высокие шайки снега сверху и на козырьках делали их похожими на обык-

новенные фонари. Стало холоднее — я ощутил это даже через окно, — стемнело. Снаружи ничто не двигалось, только снег, ветер и снег, тишина была полная. Глядя вниз, на Сентрал-парк, я вдруг подумал: а шел ли снег в январе 1882 года?

Я шагнул к газовым рожкам, чиркнул спичкой и, подняв руки, один за другим зажег все светильники. Кофе в фарфоровом кофейнике, поставленном на полу у кресла, еще не остыл, и я опять нацедил себе полчашки, но так и не выпил ни глотка. Я снова сел у окна; в комнате воцарились тепло, уют и тишина, если не считать легкого шипения газа, да изредка шелеста снежинок по стеклу. Я откинулся в кресле, вытянул ноги и, придерживая чашку на коленях, уставился на голубые язычки пламени — за резным узором стеклянных колпаков они походили на крошечные средневековые алебарды.

Я даже не думал — это называлось как-то иначе. Я сидел в полнейшем покое, и в голове у меня не осталось ни единой мысли, за исключением непроизвольно возникшей картины деловых кварталов: там, ближе к центру города, на улицах, надо думать, еще были люди. Я увидел их будто воочию: согнувшихся наперекор метели мужчин, придерживающих котелки за поля, и женщин, глубоко засунувших руки в теплые муфты, а рядом по скользкой мостовой шаркали разъезжающимися копытами лошади. На какую-то долю секунды передо мной мелькнуло приподнятое копыто, мокрое от слякоти, с комьями серого снега на щетках. Теперь я уже не просто представлял себе — нет, не то слово, — я чувствовал вокруг себя город и его обитателей, и тех, кто, как я, сидит сегодня по домам при мягком свете миллионов газовых светильников.

Не хотелось шевелить даже пальцем; снаружи было так бело и так тихо, только снежинки неслись и неслись мимо окна, а комнату наполнял покой, лишь тени по углам изредка вздрагивали в такт колебаниям клиновидных язычков пламени. Я все собирался отхлебнуть кофе, да

так и не собрался. В конце концов я поставил чашку на пол, принудил себя подняться, подойти к окну и спустить штору. Может, кто-то там на улице и заметил, что погасло еще одно окно, может, нет — меня это уже не занимало.

Когда звонок над дверью подпрыгнул на своей спиральной пружине, я почти спал в кресле. Я открыл дверь и ничуть не удивился, заведя Оскара Россофа: он притоптывал, обивая снег, налипший на густо смазанные жиром ботинки. У него была блестящая черная, подстриженная клинышком борода.

— Привет, Сай, — сказал он, щелчками сбивая воду с котелка, который держал в руке. — Проходил мимо — дай, думаю, зайду передохнуть. Не помешаю? Вечер скаточный, но идти тяжело.

— Входите, Оскар, входите! Рад вас видеть...

Он вошел и, дружески улыбаясь, принялся расстегивать свое длинное, по щиколотку, зимнее пальто. Затем отдал пальто мне и быстро потер руки, радуясь теплу. На нем был черный курток с шелковыми лацканами, брюки в черно-белую клетку, разлетающийся крыльями воротник и широкий черный галстук. Мы прошли через комнату к стульям, стоящим один против другого, и Оскар сел, расстегивая курток. Поперек его жилетки тянулась массивная золотая цепь, вся увешанная золотыми и слоновой кости брелоками.

— Я разожгу огонь, Оскар. Или сперва выпьем? А может, кофе? Вы ужинали?.. — Я соскучился по обществу и болтал почти без умолку.

— Да нет, Сай, я ненадолго. Заглянул на минутку. Так что, пожалуйста, ни о чем не беспокойтесь. Кроме виски: рюмку виски я бы выпил. Неразбавленного. — Он опять потер руки, поглядывая на окна. — Ну и погодка!..

Я принес виски в маленьких граненых бокальчиках, мы подняли их, приветствуя друг друга, и пригубили напиток.

— Хорошо! — воскликнул Оскар, откинувшись на спинку стула и рассеянно поигрывая золотым брелоком в форме монетки, висящим среди прочих на часовой цепочке. — Хорошо сидеть вот так, с бокалом виски, и слушать, как за окнами замирает метель...

Я кивнул.

— Очень рад, что вы пришли, Оскар. Я совсем уже засыпал.

— В такой вечер немудрено и задремать. — Он отпил виски и вновь откинулся, лениво перекатывая в пальцах брелок; золото тускло поблескивало в отсветах газа. — Это так успокаивает — на улице все стихло, а здесь уютно и тепло...

Я опять кивнул и начал что-то говорить в ответ, но Оскар медленно покачал головой и улыбнулся, совсем уже полулежа.

— Не старайтесь поддерживать светскую беседу, Сай. Не надо меня развлекать. Тут так уютно, что хочется насладиться покоем, ни о чем не думать... Ветер, кажется, кончился, стало тихо-тихо. А снег идет, кружится, падает большими мягкими хлопьями. Вы сейчас всем довольны, Сай, я вижу, что довольны. Чувствуете себя легко, спокойно. Умиротворенно. И, мне кажется, я помогаю вам. Потому что, хоть вы и слушаете меня, но слышите скорее не слова, а звуки, интонации, журчанье речи, намеки на смысл. Всякая напряженность уходит из вас, уходит вся, без остатка; я вижу, вы и сами понимаете это. Вы так умиротворены, что даже держать в руке бокал становится тяжеловато, замечаете? Бокал стал слишком тяжел, поставьте его рядышком на пол. Так-то лучше, не правда ли? Если вы теперь попытаетесь взять его снова, попытка окажется вам не по силам. Да вы и не хотите его поднимать, вам он просто ни к чему. Но все равно попытайтесь, Сай, попробуйте хотя бы приподнять его на секунду. Не можете? Ну, ничего. Не имеет значения. Вы очень

устали, и через минуту я дам вам уснуть. Вот только скажу кое-что и уйду...

Вы поспите совсем немного, Сай, но это будет замечательно глубокий, освежающий сон. Глубокий и без сповидений. Вы почувствуете себя отдохнувшим как никогда. А когда проснетесь, все, что вы знаете о двадцатом веке, улетучится из вашей памяти. Во сне именно эта часть ваших знаний сожмется до размеров булавочной головки, неподвижно спрятанной в глубинах сознания.

Вот уже, вот оно и начинается, Сай. На свете нет таких чудес, как автомобили; нет ни самолетов, ни вычислительных машин, ни телевидения, ни самого мира, в котором они возможны. Ни в одном словаре нет и не может быть таких понятий, как «ядерный взрыв» или «электроника».

Вы никогда не слышали имени Ричарда Никсона... Эйзенхауэра... Аденауэра... Франко... генерала Паттона*... Геринга... Рузвельта... Вудро Вильсона... адмирала Дьюи**. Все, что вам известно о последних восьмидесяти восьми годах, стерлось из вашего сознания. Стерлось начисто. Все без исключения. Большое и малое. От важнейших событий до ничтожнейших бытовых подробностей.

Но вы знаете, каков окружающий мир, вы прекрасно это знаете. Почему бы вам не знать, каков мир сегодня, 21 января 1882 года? Ведь это сегодняшнее число и это год, в котором мы с вами, как известно, живем. Потому что я одет именно так, и вы. Потому и комната такая, какова она есть. Не засыпайте еще минутку, Сай. Повреме-

* Паттон, Джордж Смит (1885—1945) — американский генерал времен второй мировой войны. Командовал корпусом в Северной Африке, затем армией в Сицилии и Нормандии.

** Джорджу Дьюи в 1882 году исполнилось уже 45 лет, однако он был тогда малоизвестным морским офицером. Прославился он в ходе американо-испанской войны в 1898 году, когда наголову разбил испанский флот в Манильской бухте и был пожалован от конгресса званием адмирала флота.

ните еще немножко, не закрывайте глаз. Совсем немножко, буквально несколько секунд.

А теперь слушайте, что я скажу. Сейчас я дам вам последнюю инструкцию; вы запомните ее и повинуетесь ей. Вы проспите двадцать минут. Вы проснетесь отдохнувшим. Вы пойдете погулять. Просто небольшая прогулка, чтобы подышать свежим воздухом перед сном. Вы постараетесь, чтобы вас никто не видел. И уж во всяком случае ни с кем ни при каких обстоятельствах не заговорите. Вы не совершите никаких действий, какими бы незначительными они ни были, способных хоть каким-либо, даже самым печальным образом на кого-нибудь повлиять.

Потом, когда вернетесь сюда, вы ляжете спать и проспите всю ночь. Утром вы проснетесь, как обычно, совершенно свободным от всякого гипнотического внушения. И едва вы откроете глаза, в вашей памяти снова вспыхнут все ваши знания о двадцатом веке. Но прогулку свою вы запомните. Прогулку свою вы запомните. Прогулку свою вы запомните. А теперь... Теперь спите...

Я был смущен: проснувшись, я сразу же посмотрел на стул, где сидел Оскар, и увидел, что его нет, а бокал стоит на столе, и спросил себя — что же он обо мне подумал, если я позволил себе заснуть в присутствии гостя? Впрочем, он не обидится — мы ведь старые друзья, — посмеется, и все.

Я чувствовал себя отдохнувшим, бодрым, полным сил — пожалуй, слишком бодрым, чтобы ложиться спать, — и решил прогуляться. Снег все еще падал, падал большими, мягкими хлопьями. Ветра больше не было, а я и так слишком долго сидел в четырех стенах, и мне захотелось выйти на улицу, на снег, вдохнуть всей грудью холодный свежий воздух. Я подошел к шкафу, достал и надел пальто, кашне, ботинки и круглую черную барашковую шапку.

Я спустился по лестнице, довольный, что никто не по-

пался мне на пути: говорить ни с кем не хотелось, и если бы я услышал чьи-то шаги, то, наверно, переждал бы, пока человек не пройдет. Спустившись, я вышел из подъезда, быстро огляделся по сторонам, но кругом не было ни души — видеть мне сегодня совершенно никого не хотелось — и направился прямо через улицу к Централ-парку. Ночь выдалась отличная, просто замечательная. Воздух обжигал холодом, за ресницы цеплялись снежинки, затуманивая на мгновение свет фонарей, и без того полускрытых за крутящейся снежной завесой.

Мостовую занесло снегом почти уже вровень с тротуаром, и на этом снегу не виднелось ни следов, ни колеи. Я пересек улицу и углубился в парк. Аллеи я не разглядел и не понял даже, где она; просто-напросто пошел вперед, избегая кустов и деревьев. Идти было тяжело — снегу намело сантиметров двадцать, если не больше. Я еще подумал, что не стоит слишком удаляться от освещенной улицы, а то не мудрено и заблудиться. Оглянувшись — уличные фонари различались отчетливо, и в их свете на снегу темнели мои следы; следы заметало прямо на глазах и через минуту-другую, понятно, заметет совсем, и если я забреду слишком далеко, то вернуться по ним никак не смогу.

Тем не менее я продолжал идти, высоко поднимая ботинки с налипшим на них сырым снегом, радуясь самому этому усилию, чуть-чуть пьяный от искрящейся снежной ночи и своего одиночества в ней. Сзади, откуда-то издали, ко мне долетел ритмичный звон колокольчика, он с каждой секундой нарастал, и я опять обернулся к улице. Постоял, прислушался к мерному динь-дильень, — и вдруг из-за призрачных ветвей вынырнул, скользя по середине освещенной улицы, единственный экипаж, способный передвигаться в такую ночь: легкие узкие сани, запряженные стройной лошадкой. Лошадка бежала сквозь снег упругой, беззвучной рысцой; в открытых саниах под одной накидкой, тесно прижавшись друг к другу, сидели муж-

чина и женщина. Динь-дилень — под снегопадом, через вихри в конусах света, отбрасываемого фонарями... На сидоках были меховые шапки вроде моей, и мужчина держал в руках кнут и вожжи. Женщина улыбалась, подняв лицо навстречу снегу, и тишину нарушал лишь колокольчик, приглушенный цокот копыт да шорох полозьев. Потом они проехали, я видел их уже со спины, сани удалялись, уменьшались, и колокольчик звенел все тише. Они почти скрылись с глаз, когда я услышал, как женщина коротко рассмеялась, и смех ее за падающим снегом звучал далеким и радостным.

Я уже надеялся, идти дальше в глубь парка охоты не возникало, и я повернул назад. Тонкие параллельные следы полозьев еще выделялись на снегу посередине улицы Сентрал-парк-уэст, но их быстро заметало, а мои первоначальные следы успели исчезнуть совсем. Я поднялся к себе домой, снял пальто и шапку, погасил газовые рожки в гостиной, готовясь ко сну. Подошел к окнам взглянуть на улицу последний раз, — и тут мне захотелось снова ощутить на лице снег, я раскрыл доходящие до пола окна и выбрался на балкон. На улице подо мной уже не осталось ни моих следов, ни следов саней, и снег лежал опять ровный и незапятнанный. Несколько секунд я смотрел на черно-белый парк, потом бросил взгляд на север. Единственное, что я увидел, и то еле-еле, сквозь снежную пелену, было здание Музея естествознания за несколькими кварталами от меня — там светился один ряд окон. Я вернулся в комнаты, лег и почти мгновенно уснул.

8

— Рассказывай сызнова, — потребовал Рюб. — Думай, черт побери! — В голосе его проступали разочарование и гнев. — В этих санях не было ничего особенного? Так-таки ничего? И седоки ничегошеньки не сказали?..

— Полегче, Рюб, полегче, — вымолвил Данцигер.

Он, Рюб и Оскар Россоф, все на сей раз в своей обычной одежде, сидели у меня в гостиной; кто держал чашку кофе в руках, кто поставил ее рядом с собой. Оскар курил сигарету. Я ни разу не видел его курящим, но, когда он прикончил вторую подряд, Данцигер в свою очередь попросил у него сигарету и тоже закурил.

Я сидел перед ними в рубашке и в матерчатых тапочках и, прихлебывая кофе, выжимал из себя мельчайшие подробности вчерашней прогулки, мысленно пересматривал картины, возникающие в памяти, в поисках хоть чего-нибудь нового. Наконец я еще раз покачал головой:

— Это были... это были обыкновенные сани. Мне очень жаль, я седоки не проронили ни слова. Когда они уже проехали, женщина рассмеялась, но если мужчина и сказал что-нибудь, что вызвало ее смех, я его не расслышал.

— А уличные фонари? — раздраженно спросил Оскар. — Они были газовые или электрические? Это уж можно было заметить!

Раздражение легко передается, и я буркнул:

— Знаете, Оскар, я обратил на них не больше внимания, чем вы, когда выходите на улицу вечером.

— И ты больше никого не видел? — спросил Рюб, прищурив глаза. — Никого и ничего? Не слышал ни звука? Как насчет звуков — ты хоть что-нибудь слышал?

Мне не хотелось их огорчать, я чувствовал себя кругом виноватым, едва ли не преступником, но после некоторого раздумья, после тщетных попыток вспомнить, не упустил ли я какую-нибудь мелкую деталь, пришлось снова качать головой.

— Стояла мертвая тишина, Рюб. Повсюду снег, и никакого движения — только снег...

Губы у него дрогнули, но он тут же крепко сжал их, сдерживая злость. И даже заставил себя улыбнуться мне, чтобы показать, что он все-все понимает. Но какой-то физической разрядки было не избежать, и он встал, втиснул руки в задние карманы своих армейских брюк и принялся мерить комнату шагами.

— Проклятье! Сто проклятий, тысяча проклятий! Это мог быть восемьдесят второй год, вполне мог быть! И мог быть сегодняшний день. Кто-то вытащил откуда-то сани своего любимого дедушки, а светофоры из-за метели не работали. — Рюб отвернулся к Россофу, беспомощно развел руками и горько рассмеялся. — Это же черт знает что! Может, ему удалось, может, он-таки побывал там! А убедиться нет никакой возможности. Ну и ну!..

Он подошел к своему креслу, рухнул в него и потянулся за чашкой кофе, стоявшей на ковре.

Медленно, приглушенно, стремясь рассеять висящее в комнате раздражение, заговорил Данцигер:

— После прогулки вы вернулись сюда, Сай? И никого не встретили?

— Никого, — подтвердил я.

— Вы вошли сюда, в гостиную, подошли к окнам и выглянули в парк?

— Именно, — кивнул я, глядя ему в глаза, искренно надеясь, что он сможет вытянуть из меня что-нибудь такое, о чем я и сам не догадывался.

— И что вы там увидели — ничего особенного?

— Ничего.— Я откинулся в кресле, совсем подавленный.— Мне очень жаль, доктор Данцигер, ужасно жаль, но для меня прошлая ночь действительно была восемьдесят вторым годом. Во всяком случае, была им в моем сознании. Так что не приходится удивляться — просто я не обращал внимания...

— Понимаю.— Он кивнул несколько раз подряд, улыбнулся, затем, пожав плечами, повернулся к остальным.— Ну что ж, придется ждать следующей возможности и снова попытать счастья, только и всего...

Мы промолчали. Данцигер взглянул на сигарету, тлеющую в руке, скорчил недовольную мину и загасил ее в пепельнице; значит, опять бросал курить. Молчание длилось минуты две, затем Россофф сказал:

— Сай, подойдите к окнам, хорошо? И выйдите на балкон точно так же, как вчера...

Я двинулся к застекленной двери, открыл ее, вышел на балкон и обернулся, вопросительно глядя на Россофа; процедура эта мне уже порядком надоела, однако я чувствовал себя обязанным выполнить все, чего от меня хотят.

— Закройте глаза,— сказал Россофф. Я подчинился.— Ну вот, сейчас вчерашняя ночь. Вы стоите на балконе и смотрите вниз, на парк. Не открывая глаз, мысленно представьте себе всю картину. Как только она станет отчетливой, опишите ее во всех подробностях.

Через секунду-две, не раскрывая глаз, я начал:

— Чистый, белый, совсем нетронутый, девственный снег — очень красиво... Деревья будто углем вычерчены на белом фоне. Снег сплошь покрывает улицу и тротуар, совершенно нетронутый снег — я замечаю, что даже мои следы уже исчезли, а он все идет и идет... Снежинки блестят в пятнах света у подножия фонарей, а больше ничто не движется, не слышно ни звука. Я стою, несколько секунд гляжу вниз, на парк, потом поворачиваюсь, чтобы вернуться в комнату. Замечаю еще несколько светящихся

окон в Музее естествознания — наверно, уборщицы за работой. Я задергиваю шторы и... Вот, к сожалению, и все.— Я обвел взглядом всех троих и шагнул в комнату.— Потом я лег и проспал до...

Я не кончил. Доктор Данцигер медленно вставал, выпрямляясь во весь свой огромный рост. Лицо его оживилось. Он стремительно подошел ко мне, вытянул руку и жестко, до боли сдавил мне плечо. Повернул меня лицом к балкону, вытолкнул обратно за дверь и сам последовал за мной.

— Смотрите! — Большая, с выпуклыми венами рука мелькнула у меня перед глазами, схватила меня за подбородок и силком направила мой взгляд к северу.— Вот куда вы смотрели вчера ночью! Посмотрите опять! Где он? Где ваш Музей естествознания?..

Конечно, никакого музея там не было — между мной и ним стеной стояли кварталы домов, и каждый намного выше «Дакоты». С моего балкона музей не был виден уже много десятилетий, и сознание этого факта вдруг поразило и меня, и Рюба, и Оскара, и Рюб прошептал:

— Вышло-таки! — Потом лицо у него покраснело, и он заорал: — Вышло! Боже мой, вышло!..

Рюб и Оскар схватили меня за руку и припались трясти ее, поздравляя меня и друг друга, а я стоял, глупо улыбаясь, покачивая головой и стараясь осознать, что вчера ночью я на несколько минут прогулялся отсюда, из «Дакоты», в зиму 1882 года. Доктор Данцигер полузакрыв глаза, чуть покачнувшись и, кажется, находился на грани обморока. Потом все мы стали бормотать что попало, ухмыляться, отпускать дурацкие шутки, а я, хоть и принимал в этой сумятице посильное участие, ухмылялся и ликовал со всеми, мысленно вновь стоял на балконе в тишине белой ночи и глядел вдаль сквозь кварталы пустого пространства — пространства, которое вот уже десятки лет заполнено каменными громадами зданий.

Двадцать минут спустя мы уже были «на складе», и

меня препроводили в комнату, которую я смутно помнил с тех времен, когда под руководством Рюба бродил по зданию экскурсантом. Теперь я сидел во вращающемся кресле, а к шее моей прилепили пластырем ларингофон. На консоли рядом со мной крутилась магнитофонная лента, а за почти бесшумной электрической пишущей машинкой сидела девушка с наушниками на голове; печатала она с моего голоса, записанного на пленку, чуть-чуть отставая от живой речи. Там и тут, прислонившись к стенам, стояли и слушали, выжидая чего-то, Данцигер, Рюб, Росссоф, принстонский профессор-историк, полковник Эстергази и десяток других, с кем я встречался и раньше.

— Фредерик Боуг,— говорил я,— Фредерик Н. Боуг из Буффало, штат Нью-Йорк. Последний раз я видел его три с половиной года назад в художественной школе.— Я поразмыслил секунду, потом продолжал: — На экранах шел фильм под названием «Выпускник». Играла Энн Бенкрофт. И еще актер по имени Дасти Хофман. Режиссер Майк Николс.— Опять помедлил, прислушиваясь к тихому постукиванию электрической машинки.— Продается шоколад «Герши» в плитках. Коричневая бумажная обертка, надпись серебром.— Еще пауза.— Клиффорд Дабни из Нью-Йорка, лет двадцати пяти, работает составителем рекламных текстов. Элмор Боб — декан в жепском колледже Монклер. Руперт Ганзман — депутат законодательного собрания штата. В Вайоминге живет чистокровный индеец племени сиу по имени Джералд Монти-замберт. В октябре прошлого года на Пятьдесят первой улице; неподалеку от Лексингтон-авеню, был пожар. А Пенсильванский вокзал недавно снесли...

В комнату тихо, почти неслышно вошел молодой человек — его я когда-то тоже встречал. Он осторожно сорвал с каретки верхнюю, уже заполненную половинку листа и унес ее; девушка продолжала печатать на нижней половинке. А я продолжал наговаривать на магнитофон имена своих знакомых и имена людей, о которых когда-

нибудь что-нибудь слышал, вперемежку знаменитостей и личностей, никому не известных; факты и фактики, крупные и мелкие, всякие, лишь бы они относились к миру, каким я помнил его до вчерашнего вечера:

— Куин Элизабет — королева английская, а «Куин Мэри» — пароход, его продали какому-то городу в Южной Калифорнии.... В парикмахерской на Сорок второй улице, близ отеля «Коммодор», работает мастер по имени Эммануэл...

Дверь отворилась, и вошел, улыбаясь, лысоватый мужчина лет сорока; его я тоже встречал несколько раз в кафе-терии.

— Пока все в порядке, — сообщил он. — Во всяком случае все, что мы сумели проверить.

По комнате прокатился возбужденный шепоток. Мужчина ушел, а я продолжал:

— Выходит комикс под заглавием «Орешки», и в последнем выпуске девочка Люси сказала собачке Снупи...

В одиннадцать часов Данцигер остановил меня, заявив, что довольно. А к полудню мы уже знали, что все наудачу названные мной факты — факты из мира, каким я помнил его до вчерашнего вечера, — остались фактами и сегодня. Несколько шагов, сделанные мной по снегу в мир 1882 года и обратно, не изменили ничего в том мире и — как следствие — в нашем. Не было, например, ни одного человека, которого или о котором я знал бы вчера и который не существовал бы и сегодня. Никто, никак и ни в чем не изменился. Ни один факт, большой или крошечный, ничем не отличался от моего воспоминания о нем. Все осталось точно таким же, как было раньше, никаких заметных изменений не произошло, а это значило, что, соблюдая необходимую осторожность, эксперимент можно продолжать.

Но первым делом я навестил Кейт. После обеда я отправился к ней пешком через город; она закрыла свой магазинчик, мы поднялись с ней наверх и на протяжении

сорока минут я трижды пересказал ей свое вчерашнее приключение.

— А как оно все-таки было? Что ты чувствовал? — допытывалась Кейт снова и снова.

Я пытался, как мог, ответить ей, подыскать нужные слова, а она сидела, наклонившись ко мне, прищурившись, приоткрыв рот, стараясь уловить все оттенки смысла, заложенные или подразумеваемые в каждом слове. Временами она удивленно, а то и восторженно качала головой, но в общем была, разумеется, разочарована: передать ей свои ощущения я так и не сумел, и когда пришла пора уходить, я понимал, что Кейт по-прежнему хочет знать: «А как оно все-таки было? Что ты чувствовал?»

Вернувшись «на склад», я переоделся в кабинете Россофа, а он воспользовался случаем, чтобы задать мне свои вопросы, в основном такого типа: в состоянии ли я эмоционально пережить и разумом принять реальность того, что со мной произошло? И, проявляя усердие, я продумывал ответ, пока натягивал на себя одежду. Мысленно я снова видел сани, удаляющиеся в круговороте снежинок, слышал затихающий звон колокольчика. И ясный музыкальный смех женщины в чудесную зимнюю ночь. По спине у меня от восторга пробежали мурашки. Я кивнул Россофу и ответил: «Да».

После этого он отвез меня к «Дакоте». Теперь мы спешили. Я ведь прожил в своей квартире довольно долго, прежде чем смог наконец достичь вчерашнего успеха; теперь в моем распоряжении оставались только сегодняшний вечер, завтрашнее утро и часть дня, чтобы добиться того же, — если я в самом деле хотел присутствовать при отправке длинного голубого конверта со штемпелем: «Нью-Йорк, штат Н.-Й., Гл. почтамт, 23 янв. 1882, 6.00 веч.» Кроме того, теперь, в развитие эксперимента, переход в прошлое мне следовало осуществить самому, без помощи доктора Россофа.

К четырем часам я уже поднимался по лестнице. В коридоре у двери лежал пакет с рынка. Я поднял его, а когда, отомкнув дверь, вошел в гостиную, то это было поразительно похоже на чувство, с каким приходят к себе домой. В шесть я торчал на кухне у плиты с длинной вилкой в руке, ожидая, пока закипит картошка, и просматривая «Ивнинг сан» за 22 января 1882 года; все обстояло так, словно я и не нарушал установившегося образа жизни. Перед тем как подняться к себе, я заметил, что вчерашний снег с улицы счистили, светофоры заработали снова и по мостовой несутся потоки машин. Однако такие мелочи уже не имели для меня никакого значения. Потому что я знал — знал! — что там, за окнами, есть и параллельный январь 1882 года. И еще я знал — именно знал, — что, когда настанет момент, я смогу опять выйти в этот январь.

Я ткнул вилкой в картошку — еще жестковата — и, не покидая своего поста у плиты, вновь взялся за сложенную вдоль столбцов газету. Суд над Гито, убийцей президента Гарфилда, продолжается; следствие по скандальному делу «Стар Рут» все затягивается; на одинокой ферме в штате Вайоминг индейцы скальпировали целую семью... У входной двери зазвенел звонок.

Держа газету в руке, я прошаркал в тапочках по длинному широкому коридору, открыл дверь и... У порога стояла Кейт. На ней было долгополое пальто, голова была повязана шарфиком, а на лице застыла нервная улыбка — она ждала, что я скажу. Я ничего не сказал — я замер, уставившись на нее, тогда она проскользнула мимо меня в гостиную. Я повернулся, машинально затворив дверь, со словами:

— Кейт! Какого черта?..

Но она уже пересекала комнату, стаскивая пальто. Кинула его на кресло и обернулась ко мне — в шелковом платье бутылочно-зеленого цвета, отороченном белым кружевом, застегнутом на пуговицы у шеи и на запясть-

ях; подол, качнувшийся от резкого движения, приоткрыл высокие, наглухо застегнутые ботинки. Одним рывком, словно опасаясь, что я ее остановлю, она сдернула темную косынку. Волосы у нее были расчесаны па прямой пробор, туго стянуты назад и собраны в узел на шее.

Я невольно улыбнулся — так хорошо она выглядела: густые медные волосы, светлая, чуть веснушчатая кожа, большие карие, дерзкие глаза — в сочетании с переливчатой бутылочной зеленью платья; она знала, что делает, когда выбрала именно этот цвет. Приметив мою улыбку, она быстро сказала:

— Я иду с тобой, Сай. Посмотреть, как будет отправлено письмо. Оно мое, и я тоже хочу посмотреть!..

Я с уважением отношусь к женщинам, никогда не смотрю на них свысока и презираю мужчин, способных на такое. На мой взгляд, женщины не менее принципиальны, чем мужчины, только принципы у них, по правде сказать, совсем иные. Я признавал, что могу положиться на Кейт буквально во всем, могу довериться ей абсолютно, поскольку ее оценки добра и зла очень близки к моим. Но теперь мы спорили без конца: Кейт у плиты — подготовку к обеду она сразу же взяла на себя, — я у кухонного стола; спор продолжался и когда мы сели за стол, разделив между собой две мои отбивные. Я начинал чувствовать себя ханжой, напыщенно отстаивающим древние моральные устои. Потому что Кейт было попросту наплевать на секретный характер проекта, на то, что ему придается важное значение, что в него вложены огромные силы и средства, что в его осуществлении участвуют высокопоставленные лица. Без особых усилий Кейт добралась, как по линейке, до правды — женской правды, — спрятанной под научными претензиями. Она понимала, что все это в сущности не более чем огромная, дорогая, занятая игрушка; все мы просто забавляемся этой игрушкой, и, как девчонка-сорванец на детской площадке, она протискивалась сквозь круг мальчишек, чтобы

позабавиться вместе с нами. И, черт возьми, протискивалась она лихо.

Я перешел к аргументам практического характера — и совершил роковую ошибку. Тем самым я предоставил ей возможность тут же возразить, потрясая вилкой и забыв о еде, что она тоже подготовлена, что она узнала о восьмидесятих годах ровно столько же, сколько и я. Более того, она подготовлена лучше, чем я прошлой ночью, потому что теперь она, как и я, уверена, что задуманное осуществимо.

За бесконечными моими словесными выкрутасами пряталось в сущности убеждение, что она права. Я был убежден, убежден до мозга костей, что завтрашний день увенчается успехом, и это был не голый оптимизм, а твердое знание. И я знал также — если сумею выразить свою мысль, — что сила моей убежденности в состоянии увлечь Кейт за мной. Я знал достоверно, что мы можем добиться успеха вдвоем, и после обеда, когда посуда была перемыта, спор наш постепенно сошел на нет.

Не то чтобы я прямо сказал ей, что согласен. Но она ходила взад и вперед, выкладывая свои аргументы, и длинное платье раскачивалось и резко шуршало. Я сидел и любовался ею, с трудом сдерживая улыбку, — выглядела она сейчас прекрасно, и всякий раз, как она проходила под газовым рожком, волосы у нее вспыхивали каким-то особым блеском. Она выглядела просто роскошно, и в конце концов я встал, подошел к ней, обнял ее и поцеловал. Спор закончился, она победила.

Большую часть следующего дня — как только разделились с завтраком, посудой и утренней газетой — мы провели, читая вслух. Но прежде я разжег камин в гостиной. Потом подобрал с пола под окном книжку, которую листал, когда выглянул в парк и обнаружил, что началась метель, — всего лишь позавчера, заметил я себе не

без удивления. Книжка была с одной из полок этой самой гостиной: новый, свеженький экземпляр романа «Обвиненная в убийстве», написанного м-ом Эммой Д. Е. Н. Саутуорт и опубликованного немногим более года назад, в 1880 году. Издание было дешевенькое, в мягкой обложке, однако на ней не красовалось никаких полуголых девиц — просто черный шрифт на красной бумаге.

«Когда Сибил пришла в себя после обморока, подобного смерти, — читал я, — она поняла, что ее несут по узкому, извилистому, по-видимому, подземному проходу; крошечная тьма, которую нарушал лишь розовый отблеск свечи, движущейся впереди, как звезда, не давала ей разглядеть какие-либо подробности. Ею овладело предчувствие неминуемой гибели, и всепоглощающий ужас заполнил душу, сковав все ее мысли».

Я поднял голову и улыбнулся Кейт — она сидела поджав ноги на кушетке. Улыбнулся я напыщенности этой прозы; думаю, что и достаточно искушенные читатели восьмидесятих годов смеялись над подобными пассажами. И все же я погасил свою улыбку, и Кейт восприняла мой намек. К тому времени я перечел уже немало литературы такого рода; поначалу стиль ее казался мне забавным, но теперь приелся, и я научился читать такие книжки по диагонали, ради сюжета, который был не лучше, но и не хуже, чем во многих нынешних детективных романах.

Читали мы по очереди, с перерывами на кофе и на обед, и к середине дня довели книжку до конца. Кончалась она, как и большинство ей подобных, информацией о том, что случилось с главными героями после событий, описанных в романе. Последняя страница выпала на долю Кейт.

«Добавить остается немного, — прочитала она. — Рафаэль Риордан и его мачеха г-жа Блондель явились опознать труп и присмотреть за его отправкой. Джентилиска, став-

шая теперь импозантной матроной, смотрела на мертвое тело со странно смешанным выражением жалости, отвращения, грусти и облегчения».

— Постой-ка,— прервал я Кейт и, когда она подняла на меня взгляд, раскрыл глаза как можно шире, слегка нахмурился и приподнял уголок рта.— Похоже это на жалость?

— Более или менее.

Я нахмурился еще сильнее и, удерживая один глаз широко раскрытым от жалости, прищурил другой.

— Теперь я добавил толику отвращения. А сейчас, смотри — это будет грусть.— Я отвесил челюсть.— И наконец, обрати внимание, номер без сетки, музыка — туш: облегчение!..— Я задрал подбородок, раскрыл рот до предела, стараясь изо всех сил удержать на лице четыре выражения одновременно.— Ну как, на кого я похож?

— На удушенника.

— Этого я и боялся. Но держу пари, Джентилиска справилась с задачей без труда. Наверно, она сумела бы добавить сюда еще и ужас, и досаду, и восторг, не напрягая при том ни одного мускула на лице. Но знаешь, что мне нравится? Мне, кажется, нравятся люди, которым нравятся такие книги.

Кейт понимающе кивнула, и мы замолчали. В каминной трубе тихо рокотала тяга, потом на решетку свалился кусок угля.

— Они там сейчас,— сказал я, показав через комнату на окна; все, что мы видели, было серебристое зимнее небо.

Я говорил искренне. Весь день я ощущал живое присутствие вокруг нас нью-йоркской зимы 1882 года — ощущал сильнее, реальнее, чем когда-либо за все прошедшие дни и недели. Потому что теперь это стало для меня непреложной истиной: то время не умерло, оно существует.

— Они ждут нас, Кейт,— промолвил я, и единое настроение, единое чувство уверенности связало нас.

И Кейт кивнула, захваченная этой абсолютной уверенностью.

— Пожалуй, пора, — сказал я.

Мгновенный испуг мелькнул на ее лице, мелькнул и исчез; она еще раз кивнула и прикрыла глаза.

Я и сам закрыл глаза, взял Кейт за руку и так сидел — в тепле и уюте, расслабив все мышцы, чувствуя, как рассасывается, уходит прочь последнее напряжение. И наконец, зная, что и Кейт не отстанет, я заговорил про себя:

«Через несколько минут и на несколько минут сознание твое отключится полностью — ты задремлешь, почти уснешь. Сегодня 23 января. Будет, конечно, то же самое число, когда ты вновь откроешь глаза: 23 января 1882 года. У вас с Кейт есть дело. Ты выйдешь с ней в парк, и в твоём сознании не останется ничего от другого времени. Единственной твоей мыслью будет, что вам нужно на почту. Нужно поспеть туда не позже половины шестого. Нужно посмотреть, кто отправит голубой конверт. Не вмешивайся в события. Наблюдай за ними, проходи через них, но не стань причиной какого-либо события и не помешай свершению какого-либо события. Разумеется, есть разница, есть новизна, но все будет в порядке, все будет в порядке. В какой-то момент, скорее всего на пути через парк, когда ты удостоверись, что перед тобой зимний день 1882 года... в этот момент ты вспомнишь и настоящее. Вспомнишь настоящее и, таким образом, впервые станешь действительным наблюдателем».

Я подскочил в кресле, глаза у меня раскрылись; мне казалось, будто я и в самом деле задремал. Кейт смотрела на меня, а я держал ее за руку.

— Я тоже вздремнула, — сказала она. — Надо сходить на почту. Ты пойдешь?

— Пойду, — кивнул я и встал, потягиваясь. — Сделай милость, вытщи меня отсюда и встряхни хорошенько. Давай собираться...

В коридоре, еще позевывая, я достал из шкафа пальто с капюшоном, боты и круглую черную меховую шапку. Кейт надела пальто и повязала шарф. В каком году и в каком веке все это происходит, занимало меня не больше, чем любого, кто собрался на улицу. И внизу, выйдя из парадного на Семьдесят вторую улицу, ссутулившись и спрятав от холода подбородок в воротник пальто, я и не подумал оглядеться по сторонам, а переходя улицу, граничащую с парком, не посмотрел ни вправо, ни влево. Зачем? Мне такое и в голову не пришло.

Было морозно, и нам никто не встретился. Мы выбрались с территории парка на юго-восточном его углу, где Пятая авеню пересекается с Пятьдесят девятой улицей, и я растегнул пальто, намереваясь достать из кармана мелочь на проезд. Тут Кейт издала легкий стон, и я быстро взглянул на нее. Она прижала руку ко лбу и плотно зажмурила глаза, лицо ее побелело. Я бросился поддержать ее — но тут же покачнулся сам и вынужден был выставить ногу, чтобы удержать равновесие...

Чего-чего, а физической реакции мы не ожидали. Я обнял Кейт за плечи — она дрожала. Чтобы хоть как-то поддержать и ее и себя, я оперся спиной о дерево у бортики тротуара, ощущая, как на лбу и над верхней губой выступает пот, сознавая, что и сам бледен как полотно. Уставясь на носки собственных ботинок, я глубоко вдыхал острый холодный воздух, пока не почувствовал, что пот на лице высыхает, и не понял, что справился с собой. Тогда я снова взглянул на Кейт — она уже открыла глаза и кончиком языка облизывала пересохшие губы.

— Спасибо, уже прошло, — сказала она, распрямляя плечи. — Но боже мой, Сай!.. — добавила она шепотом.

Мы повернулись не сразу, не сразу смогли решиться на это. Но мы слышали, как скрипят по холодному сухому снегу железные ободья колес, как тарахтит разболтанный кузов, как резко хлопают по лошадиным бокам кожаные вожжи. Медленно, очень медленно повернули мы

головы в ту сторону — и увидели, снова увидели маленький деревянный омнибус с полукруглой крышей и высокими колесами на деревянных спицах; его тянула упряжка тощих лошадей, и из ноздрей у них при каждом шаге вырывались клубы белого пара. Омнибус приближался, заполняя все поле зрения, я смотрел на него — и теперь уже помнил, откуда я прибыл сюда и как. Но потребовалось еще несколько секунд самой настоящей борьбы с собой, прежде чем разум окончательно принял тот факт, что мы стоим на углу Пятой авеню серым январским днем 1882 года.

9

К ейт усмехнулась. Я бросил взгляд на юг, вдоль хорошо знакомой мне Пятой авеню, и испытал новый приступ слабости.

Все, наверно, видели, если не в натуре, то, на худой конец, на экране эту блистательную, великолепную улицу, широченную, обрамленную по обеим сторонам рядами башен из металла, стекла и устремленного ввысь камня: сверкающий фасад «Корнинг глас билдинг» — гектары стеклянных стен, испанский алюминиевый «Тишмен билдинг», каменный массив «Рокфеллер-центра», старенький собор св. Патрика, приткнувшийся со своими двумя шпилями среди возносящихся окрест громад. И сияющие витрины магазинов, и большая грязно-белая библиотека на углу Сорок второй улицы, с каменными львами по бокам широкой главной лестницы. А еще дальше, у Тридцать четвертой улицы, п днимается во всю

свою невероятную высоту «Эмпайр стейт билдинг» — если только по какому-то чуду воздух достаточно прозрачен, чтобы разглядеть его отсюда. Именно эта картина — асфальт, и камень, и башни из стекла и металла, громоздящиеся до небес, — стояла перед мысленным моим взором, когда я бросил взгляд вдоль Пятой авеню.

Ничего. Ничего подобного не было. Маленькая улочка. Узкая. Вымощенная булыжником. Обсаженная деревьями улочка жилого района. Раскрыв рты, стояли мы и смотрели на ровные ряды домиков из бурого песчаника, из кирпича и камня; перед ними росли деревья, а кое-где за оградами лежали даже заснеженные газончики. И самыми высокими точками по всей длине этой тихой улицы были тонкие шпили церквей, а выше не было ничего, кроме серого зимнего неба. Навстречу нам, гроыхая по булыжнику там, где не сохранилось снега, ехал еще один запряженный лошадьми омнибус, единственный движущийся экипаж в пределах нескольких кварталов.

Кейт, уцепившись за мою руку, шепнула:

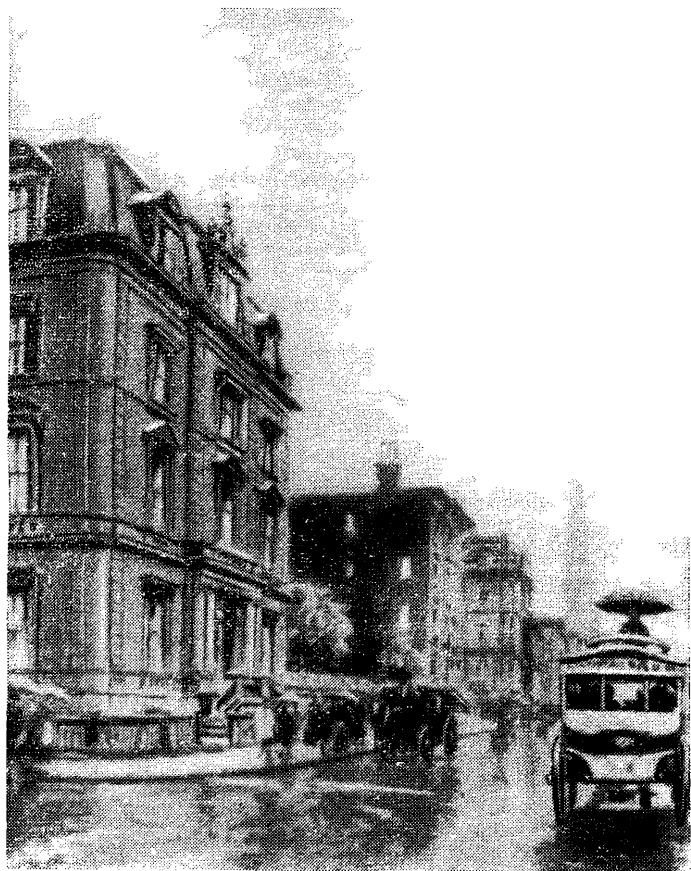
— Гостиницы «Плаза» нет!

Я посмотрел туда, куда она показывала, на другую сторону Пятьдесят девятой улицы: там, где мы привыкли видеть гостиницу, простирался пустырь, словно ее стерли с лица земли. Нам еще предстояло побороть привычный строй мыслей: ее не стерли — ее просто не построили. Но небольшая одноименная площадь через улицу от парка оказалась на месте, и посреди площади красовался выключенный на зиму фонтан. Я подтолкнул Кейт локтем:

— Гляди, извозчик!..

Вдоль тротуара Пятьдесят девятой улицы выстроились пять или шесть пролетов в ожидании пассажиров.

Что-то лязгнуло, и мы испуганно оглянулись: маленький омнибус остановился совсем неподалеку от нас. На крыше у него болтался закопченный фонарь, и, подойдя поближе, я уловил резкий запах керосина. Входная дверь была сзади, над выступающей ступенькой, и, открывая ее



перед Кейт, я бросил взгляд на ездового, но тот недвижимо сидел на своем высоком облучке, закутанный в одеяло и прикрытый сверху громадным зонтом. Я взобрался следом за Кейт, вожжи шлепнули по крупам лошадей, омнибус дернулся, и мы поехали. На предыдущей странице набросок, сделанный мной по памяти: что мы видели, когда зимним днем 23 января 1882 года покатали по Пятой авеню в сторону центра.

Внутри омнибуса по всей небольшой его длине шли две скамейки, и Кейт присела сзади у самой двери, а я прошел вперед к жестяной коробке с надписью: «Проезд 5 ц.». Разыскав две пятицентовые монеты, я бросил их в коробку — и обратил внимание на дырку в крыше, через которую ездовой мог убедиться в том, что я действительно заплатил за проезд.

Потом мы сидели рядом — других пассажиров пока не было, — непрерывно вертя головами и пытаюсь разглядеть обе стороны этой незнакомой улицы сразу.

— Нет, это не Пятая авеню, это не может быть Пятая авеню, — сказал я полущутя-полусерьезно, а Кейт в ответ лишь ткнула пальцем в окошко: мимо нас промелькнул уличный фонарь — четыре горизонтальные полосы крашеного стекла, образующие нечто вроде мелкого ящика, и на ящичке четко значилось: «5-я авеню».

Раздался негромкий удар гонга, и я заметил его источник: впереди нас на Пятую авеню выкатилась легкая крытая повозка, окрашенная в темно-зеленый цвет. Почти сразу же она повернула вправо, пересекла тротуар и полосу заснеженного газона, и мы увидели кучера в профиль. Он носил густые усы, а на голове — темно-синюю фуражку с прямым, совершенно плоским козырьком. Сбоку повозки висел медный гонг, который мы уже слышали, и на зеленом ее борту блестели золотые буквы: «Больница св. Луки». Повозка вкатилась в полукруглый проезд и остановилась у незнакомого большого здания, выходящего одним длинным крылом на Пятьдесят пятую

улицу; это и была больница. Странное зрелище — больница здесь, на Пятой авеню, и я подумал о больных, за которыми присматривают сестры в длинных юбках и бородатые доктора. Тихо, чтобы не привлечь внимания возницы, я поделился своими мыслями с Кейт, и она прошептала в ответ:

— Врачи и сестры, которые и слыхом не слыхивали о таких вещах, как пенициллин, антибиотики и сульфамиды...

Я не мог припомнить, касался ли этой темы Мартин Лестфогель; интересно все же, есть ли тут в больнице хотя бы анестезирующие средства?

В окне дома на углу Пятой авеню и Пятьдесят третьей улицы я заметил вывеску: «Школа танцев Аллена Додсуорта», а затем мимо нас скользнули два старых знакомого. Первый на углу Пятьдесят второй улицы — один из вандербильтовских особняков. Вспомнилось, что когда-то, мальчишкой, я приехал в Нью-Йорк с отцом, и мы стояли и смотрели, как сносят этот особняк, чтобы освободить площадку для «Кроуэлл-Коллиер билдинг». Тогда дом был старый, грязный, облезлый и обшарпанный; теперь он предстал перед нами юным, в сиянии чистого белого известняка, а через улицу от него размещался «Католический сиротский дом призрения». Еще квартал — и мы встретили настоящего доброго друга. Приближаясь к нему, мы расцвели улыбками, и Кейт прошептала:

— Я так рада... Я просто счастлива видеть его.

Я кивнул:

— Ради одного того, что вот он цел и невредим, я почти готов обратиться в католичество...

Потому что он стоял там же, где всегда, — старый друг, славный серенький собор св. Патрика; он казался огромным, намного выше окружающих домов, но был точно таким же, как и сегодня, — нет, не совсем таким же, была какая-то разница... Какая? Я прижался лбом

к стеклу, вывернул голову, глядя вверх, и понял, что два шпиля-близнеца — нет, не исчезли, конечно, но еще не построены.

Омнибус остановился, открылась дверь. Вошел человек, опустил монету в жестяную коробку и уселся на скамейку напротив, скользнув по нашим лицам равнодушным взглядом. Положил ногу на ногу и принялся смотреть в окно. Хлопнули вожжи, и мы снова тронулись в путь, — а я все следил за ним исподтишка и ощущал волнение, тревогу, почти испуг от первого своего по-настоящему близкого соседства с живым человеком 1882 года.

Пожалуй, обыкновенный этот человек, с которым я никогда больше не встречался, оказался в некотором роде самым сильным впечатлением моей жизни. Он сидел, рассеянно уставившись в окно, в странном своем черном котелке с высокой тульей, поношенном черном полупальто и зелено-белой полосатой рубашке без воротничка, но с бронзовой запонкой у ворота, — выглядел он лет на шестьдесят и был чисто выбрит. И я — это может прозвучать абсурдно, но я был зачарован цветом его лица: оно совершенно не походило на коричневато-белые лица со старинных фотографий. Вернее, тип лица оставался тем же, только волосы, вылезающие из-под загнутых полей котелка, оказались черными с сединой, глаза — голубыми, уши, нос и свежесбранный подбородок — розовыми с мороза, а морщинистый лоб поражал своей бледностью. Ничего в нем не было особенного, и ехал он невеселый, усталый, скучающий. Но это был живой человек, внешне еще достаточно крепкий, полный сил и энергии, и ему, наверное, предстояли еще многие годы жизни. Я повернулся к Кейт и, почти касаясь губами ее уха, шепнул:

— Когда он был мальчишкой, в президентах ходил Эндрю Джексон. Господи, да у него на памяти годы, когда Соединенные Штаты были совершенно дикой, неисследованной территорией!

На углу Сорок девятой улицы мелькнула вывеска: «Пансион и школа для приходящих юных леди и джентльменов досточтимого Ч. Г. Гарднера с супругой». Потом мы проехали Сорок восьмую, и Кейт горячо прошептала:

— Вот, он, номер пять-восемь-девять! — Я ничего не понял, и она зашипела на меня: — Дом Кармоди!..

Я обернулся и увидел большой красивый особняк из бурого песчаника, с богато разукрашенной оградой. Небезынтересно бы узнать, находился ли в его стенах в ту минуту Эндрю Кармоди, который много лет спустя пустит себе пулю в сердце в городишке Джиллис, штат Монтана...

По мере нашего продвижения к центру города Пятая авеню становилась все более и более оживленной. Толпы народа сновали по тротуарам, пересекали мостовую. А я смотрел на них — сначала с трепетом, потом с восторгом: на бородатых, помахивающих тростями мужчин в блестящих шелковых цилиндрах, в меховых шапках вроде моей, в котелках с высокой тульей, как у пассажира напротив, или с низкой — это у молодежи. Почти все они ходили в длинных, до пят, пальто или шинелях, добрая половина мужчин носила пенсне, а когда те, что постарше, встречали знакомых, то неизменно подносили трость к полям цилиндра. Женщины носили шали или шляпы с шелковыми бантами, завязанными под подбородком, короткие приталенные зимние пальто с отрезными подолами, перерины или заколотые брошью кашне; у некоторых были муфты или перчатки, и у всех без исключения — ботинки на пуговицах, мелькающие из-под длинных юбок.

Вот они, вот они — люди со старых, застывших гравюр, только... только теперь они двигались. Пальто и платья там, на тротуарах и на мостовой впереди и позади нас, сияли свежими вишневыми, зелеными, синими, густо-коричневыми, невыцветшими черными тонами, и длинные складки переливались светом и тенью. Кожаные



и резиновые подметки оставляли следы в мокром снегу перекрестков, и облачка пара в холодном воздухе делали видимым дыхание каждого из этих людей. Сквозь вздрагивающие, дребезжащие стекла до нас долетали живые голоса; я услышал даже громкий девичий смех...

На протяжении двух кварталов к нам в омнибус сели пять-шесть пассажиров: мужчина при цилиндре и в пенсне, за ним еще несколько человек, а затем, у одной из сороковых улиц, вошла женщина и прошествовала вперед к кассе, махнув длинным подолом по нашим ногам. На ней была фетровая шляпка с цветочками, простое черное пальто, длинное светло-зеленое кашне, завязанное вокруг шеи, а из-под пальто выглядывал подол пунтурного платья. На вид я бы дал ей чуть больше тридцати, и по первому впечатлению, когда она прошла мимо нас, мне хотелось назвать ее красавицей. Но вот монета звякнула о дно коробки, она повернулась и села немного впереди нас. Рисунок, приведенный здесь, сделан мною по памяти. Теперь я разглядел лицо вошедшей и поспешно отвел глаза, чтобы не оскорбить ее; лицо оказалось изрыто десятками оспин, и я сообразил, что оспа все еще оставалась распространенной болезнью. Другие пассажиры не удостоили женщину ни малейшим вниманием.

Мы проехали мимо гостиниц «Виндзор» и «Шервуд», затем мимо постройки под названием «Старый ивовый коттедж» — вывеска в готическом стиле была растянута на всю ширину фасада. А сама постройка была деревянная, совершенно допотопной архитектуры — со ставнями и широкой верандой, на которую вели, словно в сельскую лавочку, несколько крутых ступенек. Перед фасадом прямо на тротуаре росло большое дерево, пешеходы волея-неволей огибали его, и выглядел «Старый ивовый коттедж» так, словно относился к колониальным временам*.

* Имеется в виду период до 1776 года, до начала американской революции. Нью-Йорк (под названием Новый Амстердам) основан в 1626 году, а современное название носит с 1664 года.

Рядом на этой несусветной Пятой авеню располагался «Торговый дом Генри Тайсона» — по-видимому, просто мясная лавка.

В этот миг Кейт тронула меня за руку и хмуро повела головой.

— Сай, с меня хватит. Слишком много впечатлений. Я хотела бы... хотела бы спрятаться куда-нибудь и закрыть глаза.

— Понимаю. Как не понять...

Омнибус приблизился к тротуару. Я поманил Кейт, и мы сошли как раз рядом с двухколесной пролеткой, ожидавшей седоков.

Открыв дверцу, я помог своей спутнице вскарабкаться внутрь. Когда я сел с нею рядом, голова у нее была откинута, веки смежены. Над нами что-то зашумело — я посмотрел вверх и увидел, как в крыше сдвинулась маленькая панель, образовалось квадратное окошечко и в нем появился глаз, половина второго глаза, покрасневший от холода нос и часть больших обвислых усов.

— К главному почтамту, — сказал я, вынул часы, нажал кнопку и, откинув крышку, бросил взгляд на циферблат. Было почти пять. — За полчаса довезете?

— Почем я знаю, — ответил извозчик с отворачиванием, цокнул языком и дернул поводья. Мы выбрались на середину улицы. — Движение нынче что ни день, то хуже, никогда теперь ничего не знаешь. Попробуем — может, еще проскочим вниз по Пятой до Вашингтон-сквер. А там свернем к Бродвею и минуем эту чертову надземку — извините, мадам, за грубость...

Я тоже откинул голову на подушки и закрыл глаза. Я уже насмотрелся вдосталь, места для новых впечатлений почти не осталось. Но когда панель в крыше задвинулась, я не сдержал улыбки: все-таки Нью-Йорк во все времена останется Нью-Йорком.

10

Цок-цок, цок-цок... Медленно, ритмично били копыта по плотно утрамбованному снегу, чуть громче и звонче — по булыжнику, и цокот их действовал успокаивающе, как и мерное, с легкими толчками, покачивание протетки на рессорах. Я начал приходить в себя, кое-как совладав с избытком впечатлений, и время от времени даже открывал глаза.

Затем я услышал в отдалении иступленный звон колокола, он нарастал с каждым ударом, а когда мы пересекали Тридцать третью улицу, достиг прямо-таки сумасшедшей силы. Кейт судорожно выпрямилась, а я повернулся и увидел, как прямо на нас несется упряжка огромных белых скакунов с развевающимися гривами; оглушительно стуча подковами, они везли красную с бронзой пожарную машину, кучер изо всех сил хлестал кнутом, и за повозкой стлалась плоская лента белого дыма, как за кораблем. Наш извозчик стеганул своего коня и дернул поводья, чтобы убраться подобра-поздорову с дороги. Пожарная машина пробмчалась через Пятую авеню, сверкая красными с позолотой спицами, и все кучера и ездовые натягивали вожжи, уступая дорогу. Через четыре-пять кварталов мы опять услышали тот же звук, теперь уже с другой стороны, и я сообразил, что Нью-Йорк 1882 года, город деревянных балок, перекрытий и стен, освещается и отапливается открытым огнем.

Движение становилось все гуще и гуще. И вдруг мы с Кейт резко столкнулись, протетка притормозила и юзом пошла к тротуару. Дернулась, проехала еще чуток,

я услышал яростную ругань извозчика, опустил окно и высунул голову; шум на улице стоял невообразимый.

Мы были у перекрестка Пятой авеню с Бродвеем, и экипажи со стороны Бродвея вливались в наш поток, что еще представлялось возможным, или пытались пересечь его, что выглядело просто невозможным. Каждый экипаж, за редким исключением, имел по четыре колеса, на каждом колесе имелся железные ободья, грохочущие и скрежещущие по булыжной мостовой, и у каждой лошади — четыре подкованных, грохочущих копыта, а об управлении движением никто и не помышлял. Стучали, сталкиваясь друг с другом, колеса, стонало дерево, трещали цепи, скрипела кожа, кнуты щелкали о лошадиные бока, люди кричали и ругались, и вообще ни одна из улиц, какие случилось мне видеть в двадцатом веке, не была и в половину так шумна, как эти.

Наконец мы пробились через перекресток, и подковы мерно зацокали дальше по Пятой авеню.

— Надо бы светофоры поставить, — крикнул я извозчику.

— Чего, чего?

— Поставить сигнальные огоньки, чтоб регулировать движение, — сказал я, но он, естественно, смерил меня недоуменным взглядом и притворил окошечко в крыше.

Главный почтамт занимал треугольный участок напротив сада ратуши, там, где в Бродвей вливается улица Парк-роу. Пока мы с Кейт шли до центрального подъезда, нас разбирал смех: здание было такое нелепое, сплошные окна да декоративные колонны, поднимающиеся на все пять этажей до самой крыши, а на крыше разместились башенки, обшитые кровельной дранкой, чугунные перила, пузатый купол и еще флагшток, на котором реял длинный остроконечный штандарт с надписью «Почта».

Внутри здания оказались кафельный пол, медные плевательницы, темное дерево, матовые стекла и газовый свет. Мы обнаружили исполинскую панель с вычурными

прорезями для писем, и подле каждой прорези таблички: «Центр», «Бруклин», «Стейтен-Айленд», «Пригородный район»*; особые прорези предназначались для писем, адресованных в каждый штат и каждую территорию, а также в Канаду, Ньюфаундленд, Мексику, Южную Америку, Европу, Азию, Африку и Океанию. Позади этой исполинской панели скрывалась еще стена с тысячами личных провумерованных почтовых ящиков. Было уже больше половины шестого; мы с Кейт заняли позиции по обе стороны панели и стали ждать.

В течение ближайших пятнадцати минут человек пятьдесят, в основном мужчины, подходили к панели и бросали письма, и надо было видеть выражение удивления и отвращения, застывшее на лице Кейт. Ибо чуть ли не каждый, не прерывая шага, издали сплевывал густую слюну, коричневую от жевательного табака, и старался на ходу попасть в какую-нибудь из десятков больших плевательниц, расставленных по залу. Некоторые были снайперами, поражали цель точно и звучно и проходили дальше, донельзя довольные собой. Другие промахивались сантиметров на тридцать и более, и, как только глаза привыкли к тусклому освещению, мы увидели, что кафель сплошь заплеван; Кейт нагнулась и, прихватив юбку пальцами, брезгливо приподняла подол.

Минута шла за минутой, а мы все ждали; людской поток втекал в зал и вытекал из него, беспрерывно поскрипывали и хлопали на петлях створки прорезей для писем. Я был уверен, что Кейт, как и я, мысленно держит в руках голубой конверт с обожженным углом и последними словами самоубийцы. Предстояло ли нам сейчас увидеть его снова? Может статься, и нет: отправитель с равным успехом мог опустить его в один из наружных ящиков. Не успел я додумать мысль до конца, как во мне

* Современный Нью-Йорк делится на пять основных районов: Манхэттен, Бронкс, Бруклин, Куинс, Стейтен-Айленд.

созрело убеждение, что именно так оно и было и что мы никогда уже не увидим «отправку сего» — письма, которому надлежит «иметь следствием гибель... мира».

Но тут он появился, ровно без десяти шесть по стенным часам он протиснулся через тяжелые двери зала. Вот он приблизился — быстрой, целеустремленной походкой, типичный Джон Буль с черной бородой и выпирающим животом, и во мне вдруг вспыхнуло такое волнение, что на какую-то долю секунды я буквально ослеп. Он шел по необъятному кафельному полу и, казалось, заполнял его собою целиком, шел прямо на нас, сжимая в волосатой правой руке тонкий, длинный голубой конверт. Низкая плоская шляпа самодовольно сидела на самой макушке, полы расстегнутого пальто разметались от быстрой ходьбы, и из-под пальто рельефно и воинственно выпячивался живот. Голова его была запрокинута, так что жесткая борода торчала прямо вперед, словно он бросал вызов всему миру; в углу рта, приподняв губу, висела сигара, и создавалось впечатление, будто он огрызается.

Это был внушительный, запоминающийся человек, он не замечал меня, да и никого вокруг; злые карие глазки его смотрели прямо перед собой, он был поглощен своими заботами, своими помыслами, важностью того, что вознамерился совершить. И наконец мы пережили миг, ради которого явились сюда из другого времени.

Он поднес длинный голубой конверт к медной прорези с табличкой «Центр», и на мгновение я увидел знакомую лицевую сторону. Увидел странную, немного вкось наклеенную зеленую марку — вспомнил ее со штампом гашения и увидел наяву неправдоподобно чистой; увидел выведенный с характерным наклоном адрес: «Эндрю У. Кармоди, эсквайру. Пятая авеню, 589» — вспомнил старые, выцветшие чернила и увидел наяву свежие, черные. Край конверта, необгорелый и запечатанный, протолкнул медную створку прорези внутрь, рука разжа-

лась, блеснул бриллиантовый перстень. И голубой конверт исчез, чтобы начать свой таинственный путь в будущее, лишь слегка покачивалась в прорези медная за-слонка.

А человек тем временем повернулся на каблуках и удалялся быстрыми шагами, и... собственно, мы увидели все, что хотели, — но не могли же мы позволить ему просто уйти и навсегда исчезнуть в ночи. Не сговариваясь, Кейт и я последовали за ним.

Мы протиснулись в дверь — на улице уже стемнело. Человек, за которым мы следовали, повернул к северу, туда, откуда мы недавно пришли. За краем тротуара почти в полной темноте лежал Бродвей, все еще шумный, хотя движение значительно спало. Теперь на мостовой видны были лишь какие-то неясные очертания да разрозненные движущиеся тени. Иногда в свете фонарика, качающегося на оси фургона, мелькали веера забрызганных грязью спиц, но сама повозка, кучер и упряжка то-нули во мраке; или же блестела серебристая дверная ручка и трясущийся полированный кузов кареты, освещенные боковым фонарем, — и опять-таки больше ничего. И по ту сторону улицы в окнах и подъездах нигде не было света, виднелись только очертания дверных и оконных проемов, смутно вырисованные горящими в полсилы ночниками. Мимо нас спешили пешеходы, — вероятно, запоздавшие конторские служащие; тусклые уличные фонари на мгновение вырывали их лица из тьмы, окрашивали желтизной — и тут же эти лица вновь бледнели и исчезали до следующего фонаря.

Кейт крепче ухватила за мою руку, прижалась ко мне — я понимал ее состояние. Незнакомая, мгlistая улица, где железо все еще грохотало по булыжнику, мрак, прерываемый квадратами, прямоугольниками, ко-нусами неяркого света, самый оттенок которого был непривычен, — все это, пожалуй, пугало и меня. И тем не менее — господи, подумать только, мы здесь, среди таин-

ственно торопливых, едва различимых в ночи людей! — теперь я знал наверняка, что Рюб Прайен сказал правду: это действительно самое увлекательное приключение на свете.

У очередного фонаря мужчина внезапно шагнул к обочине и сошел с тротуара на мостовую. Он остановился в слегка трепещущем круге желтого света и стоял на булыжнике, выпятив живот, сдвинув блестящую шляпу на затылок; нас он по-прежнему не видел, вертел головой то туда, то сюда — так ведут себя люди, нетерпеливо рассматривающие омнибус в потоке экипажей. Мы волея-неволей продолжали идти, чуть замедлив шаги, и, когда поравнялись с ним, он еще раз взглянул вдоль улицы и порывисто кинулся назад на тротуар.

— Омнибус? — произнес он вслух вопросительно, будто сам себе удивляясь. — Ни к чему мне теперь ждать омнибуса!..

Он вернулся на тротуар, а мы с Кейт устремили взоры на мостовую, притворяясь, будто не обращаем на него ни малейшего внимания. Далеко он не ушел — на ближайшем углу выстроились в ряд четыре-пять извозчиков, и он быстрыми шагами приблизился к первому в очереди.

— Домой! — бросил он звонко и радостно, потянувшись к дверце. — До самого дома с шиком!

— И где же это ваш дом? — язвительным тоном спросил извозчик, нагибаясь с открытого облучка.

— Грэммерси-парк, девятнадцать, — был ответ.

Дверца хлопнула, извозчик цокнул языком, щелкнули поводья, и пролетка отъехала, затерялась в жиденьком потоке покачивающихся фонарей и ламп. Я опять повернулся к Кейт, но она стояла неподвижно, впившись глазами в землю.

На краю тротуара, у подножия телеграфного столба сохранилась полукруглая лепешка неистоптанного снега. И на нем в тусклом свете, падавшем от фонаря, виднелся четкий и ясный отпечаток — миниатюрная, по совершенно

точная копия надгробия, фотографию которого показывала мне Кейт, надгробия на могиле Эндрю Кармоди на окраине городка Джиллис, штат Монтана.

— Не может быть, — пробормотала Кейт каким-то бесцветным голосом. Взглянула на меня и повторила: — Этого просто не может быть!..

Теперь ее голос звучал неожиданно зло, и я вполне понимал ее: это настолько не подходило под какое бы то ни было разумное объяснение, что положительно сводило с ума.

— Знаю, что не может быть, — сказал я. — И тем не менее — факт...

Отпечаток оставался фактом; мы нагнулись, чтобы рассмотреть его поближе. На снегу перед нашими глазами отиснулись прямое основание и прямые стороны, переходящие в точный полукруг — именно так рисуют надгробия на карикатурах, — а внутри узор, образованный десятками крошечных точек: девятиконечная звезда, вписанная в окружность.

Когда я поднял голову, пролетка уже исчезла, растворилась в темноте. Я постоял еще немного, глядя в глубь улицы прищуренными глазами, однако искал я уже не ее. За секунду или две до того сквозь постепенно стихающий железный грохот Бродвея я разобрал звук, который подсознательно отметил как знакомый, но только сейчас меня осенило, что это за звук.

— Кейт, — спросил я, — хочешь выпить? Сидя перед ярко горящим камином?

— Бог мой, да, конечно.

Я взял ее под руку, и мы прошли вперед десяток шагов до угла. На стеклянном ящике фонаря читались названия улиц: «Бродвей» и под прямым углом к нему «Парк-плейс». В одном коротком квартале до Парк-плейс лежал источник знакомого перестука. Три высоких узких окна, брезжащие красноватым светом, и двойной скат крыши, чернеющий на фоне ночного неба: над улицей, как на на-

сесте, приютился старый-престарый друг, станция надземки.

Поднимаясь по лестнице, я радовался привычному рисунку витых чугунных перил. Мальчиком я часто приезжал в Нью-Йорк и много раз катался на надземке. И вот теперь, на этой маленькой станции, я вновь увидел голые изношенные деревянные половицы, деревянные рифленые стены и деревянную с выемкой полочку билетной кассы, отшлифованную и отполированную десятками тысяч рук. На полу стояла плевательница, а под потолком висела единственная керосиновая лампа под жестяным колпаком. Но даже тусклое освещение казалось знакомым: такие станции существовали еще в пятидесятых годах нашего века, и я бывал на них.

Я просунул две пятицентовые монеты через полукруглую дырочку в проволочной решетке, отделявшей меня от усатого кассира. Тот взял их, не поднимая глаз от газеты, которую читал, и выбросил мне два билета. Мы прошли на платформу, и на какое-то мгновение я был опять-таки поражен видом пассажиров, ожидающих поезда: женщин в чепцах и шляхах, в юбках, чуть не подметающих платформу, с муфтами в руках, и мужчин в котелках, цилиндрах и меховых шапках, при бакенбардах, сигарах и тростях. Ту-у-у! — послышался высокий радостный гудок, мы повернулись к рельсам, и тут я был по-настоящему ошеломлен. Мартин, разумеется, говорил мне, показывал картинки, но я совсем запамятовал: к нам приближался кургузый, низенький, игрушечный паровозик, пыхтя и извергая искры из карликовой трубы. Паровозик притормозил, стал пыхтеть пореже, выпустил в обе стороны клубы пара, из окна высунулся машинист, и наконец поезд вполз на станцию.

Вагон оказался почти полон, но я уже привык к облику окружающих нас людей, а взглянув на Кейт, понял, что и она тоже привыкла. Мне и в голову не приходило, что человек с каштановой бородой, усевшийся напротив нас, едет на свадьбу: блестящий цилиндр был для него, как и для

многих других в вагоне, повседневным головным убором. Рядом с ним, рассеянно уставившись в пространство, сидела женщина в темно-синем шарфике, завязанном под подбородком поверх коричневой вязаной шали; на ней было длинное темно-зеленое платье, а между краем платья и верхом черных, на пуговицах, ботинок выглядывали толстые белые вязаные чулки в поперечную красную полосу. Но теперь я видел не только одежды — я мог уже разглядеть за ними женщину, нет, девушку. И видел, что она, каков бы ни был ее наряд, молода и красива. Мне даже подумалось — почему, не знаю, но подумалось, — что у нее хорошая фигура.

Кейт толкнула меня локтем.

— Никаких реклам, — прошептала она, показывая глазами на пространство за окнами.

— Интересно, сколько лет пройдет, прежде чем подобная идея осенит чью-нибудь гениальную голову?..

За окном было много огней, тысячи огней, но никакого блеска — просто тысячи искорок, никак не разгоняющих темноту; в основном это были газовые светильники — издали их пламя казалось белым и почти устойчивым, — но, разумеется, водились в городе и свечи, и керосиновые лампы. И никаких цветных огней, никакого неона, никаких надписей, лишь бескрайнее черное пространство, усыпанное точечками света, и все эти точки — поразительно — ниже нас. Мы смотрели поверх крыш Манхэттена, и самыми высокими строениями на всем его протяжении были десятки церковных шпилей, вырисовывающиеся — ну да, на фоне реки Гудзон, которая виднелась все явственнее в лучах восходящей луны. Через несколько минут, когда не видимый нам месяц поднялся выше, поверхность реки стала ярче, заблестела, и я вдруг заметил темные силуэты парусников, стоящих на якоре вдали от берега, силуэты их голых мачт.

Мы сошли на конечной станции, на углу Шестой авеню и Пятьдесят девятой улицы, всего в каком-то квартале от

того места, где сегодня днем выбрались из Сентрал-парка. Миновав перекресток, мы опять очутились в парке и шли сквозь него в полном молчании; не сговариваясь, мы отложили обмен впечатлениями до возвращения в наше убежище, в «Дакоту», — дом высился впереди одиноким темным пятном на фоне лунного неба.

Потом мы с Кейт сидели в гостиной, держа в ладонях уже по второму бокалу крепкого виски с водой. В камине ярко пылал огонь, и мы говорили и снова говорили обо всем, что только можно было сказать по поводу голубого конверта, его отправителя и миниатюрной копии надгробного камня, отпечатавшейся на снегу. Наступила пауза, и наконец я сказал:

— Так все-таки что из виденного за день произвело на тебя самое сильное впечатление? Улицы, люди? Здания? Вид города из окна надземки?

Кейт задумчиво отхлебнула виски и ответила:

— Нет, лица. — Я недоуменно посмотрел на нее. — Лица не те, к каким мы привыкли, — продолжала она, покачивая головой, словно я с ней спорил. — Лица, которые мы сегодня видели, какие-то совсем другие...

Я подумал, что, возможно, она права, но сказал:

— Это просто так кажется. Люди одеты по-другому. Женщины почти не накрашены. Мужчины с бородами, усами, бакенбардами...

— Не то, Сай, не то, да к бородам мы и сами привыкли. У них действительно какие-то другие лица. Ты подумай об этом.

Я отпил из своего бокала.

— Может, ты и права. Даже наверное. Другие — но в чем?

Ни она, ни я не сумели дать немедленного ответа. Однако, глядя на огонь и потягивая виски, я вспоминал виденных сегодня людей — в омнибусе, на тротуарах Пя-

той авеню, в вагоне надземки, в освещенном газом, отделанном мрамором и темным деревом зале незнакомого, давно исчезнувшего почтамта — и чувствовал, что Кейт права. И вдруг меня озарило: я только что произнес, хоть и про себя, слово «исчезнувший». Я внимательно взглянул на Кейт и, проверяя себя, спросил:

— Слушай, Кейт, а где мы сейчас? Что там за окнами? Все еще восемьдесят второй?

Она поразмыслила секунду-две и отрицательно качнула головой.

— Почему ты так думаешь?

— Потому что... — Она пожала плечами. — Потому что мы вернулись, вот и все. Мы закончили свои дела, вернулись сюда, в эту квартиру и, стало быть, в наше время, — сказала она и вдруг засомневалась: — А разве нет?..

Мы поднялись и, сжимая в руках бокалы, решительно двинулись к окнам, выглядывающим в темноту Сентрал-парка. Коснувшись лбами стекла, посмотрели вниз, на улицу. И увидели длинную цепочку светофоров — в обе стороны, на сколько хватал глаз, горел красный свет. Потом светофоры переключились на зеленый, машины рванулись с места, какой-то таксист злобно засигналил легковушке, вылетевшей из парка и пытавшейся проскочить на Семьдесят вторую. Я обернулся к Кейт, пожал в свою очередь плечами и поднес к губам остаток виски.

— Ну, вот мы и дома.

11

Неизбежную отчетную процедуру уже успели окрестить «перепроверкой», и вот я опять сидел с микрофоном, висящим на груди, наговаривая на пленку имена и факты. Одновременно я присматривался к людям, сидящим и стоящим вдоль стен, и они в свою очередь не спускали с меня глаз. Я говорил и говорил — монотонно, под аккомпанемент приглушенного клацанья электрической машинки, а они все сверлили меня взглядами, сознавая, видимо, что я теперь отличаюсь от любого из них. И, присматриваясь к ним, я тоже сознавал это.

Рюб пришел сегодня в выцветших, но чистых и отлично отутюженных армейских брюках и рубашке без знаков различия. Он откинулся в пластмассовом креслице, заложив руки за голову и неотрывно глядя на меня; усмехнулся, когда глаза наши встретились, скривил рот и покачал головой в притворном трепете и благоговении — взгляд его был полон хорошей, дружеской зависти. Доктор Данцигер стоял, ухватившись по привычке за лацканы коричневого двубортного пиджака, и глаза его, устремленные на меня, горели неистовой радостью. Полковник Эстергази, подтянутый и невозмутимый, в сером костюме, прислонился к стене, обхватил запястье одной руки пальцами другой и изучающе меня разглядывал. Были там и профессора из Колумбийского и Принстонского университетов, и знакомый мне сенатор, и другие, кого я уже встречал, и трое-четверо, кого я видел впервые.

Когда я закончил, мы двинулись в кафетерий, чтобы переждать минут сорок. Я сидел с Рюбом, Данцигером и

полковником Эстергази и выпил три, а может, и четыре чашки кофе. Все столы и стулья были заняты, люди сидели даже на обшивке батареи отопления у дальней стены. Мне пришлось отвечать на многочисленные шуточки — все, кто подходил к нашему столу, спрашивали, как правило, догадался ли я по сходной цене купить земельный участок на острове Манхэттен. На минутку к нам подсел Оскар и спросил:

— Что вас больше всего поразило?

Я попытался рассказать ему о человеке, сидевшем напротив нас в омнибусе, о живом, не таком еще старом человеке, который вполне мог помнить президентство Эндрю Джексона. Оскар кивнул с легкой усмешкой, и я почувствовал, что он понял меня. Как только он отошел, Руб наклонился ко мне и переспросил:

— «Нас»? Кто еще был с тобой, Сай?

Но я ответил, что в омнибусе, на одной скамейке со мной, сидели один или два других пассажира.

Быстрыми шагами вошел уже знакомый мне высокий лысоватый мужчина и остановился около нашего столика; в кафетерии воцарилась мертвая тишина. Усмехнувшись, он сообщил, что на данный момент все сверенные факты сходятся, и выразил уверенность, что сойдутся и остальные. Тишина немедленно взорвалась возбужденным го-моном.

В час пятнадцать собрался совет. Я сидел у края длинного стола в конференц-зале и в четвертый раз за день пересказывал свои впечатления. Оба ряда стульев у стола были заняты, с одной стороны добавили еще ряд складных стульев, но свободных не оставалось и там. Насколько я мог судить, оглядывая присутствующих, тут собрались все, с кем я сегодня уже встречался, плюс по крайней мере десяток новых, неизвестных мне лиц. Один из этих неизвестных, как позже сообщил мне Данцигер, был специальным представителем президента.

Я опять говорил в единственном числе, не упоминая о

Кейт. Я знал, что мне еще придется рассказать о ней Данцигеру, но хотел, чтобы мы сначала остались одни. Я описывал каждый свой шаг, каждую увиденную и услышанную мелочь — и все это в абсолютной тишине. Вокруг стола и на раскладных стульях сидело, наверно, человек двадцать пять, и ни один не каплянул и ни на секунду не отвел от меня взгляда. Может, кто-нибудь и закурил или откинулся на спинку стула, переменял позу или скрестил ноги; вероятно, да — отчет мой продолжался минут двадцать, не меньше. Но у меня осталось впечатление недвижимой тишины, которую нарушал только мой голос, и такого сосредоточенного внимания, что я ощущал себя выступающим в луче какого-то невидимого юпитера.

Потом в течение получаса я отвечал на вопросы. В основном они в разной форме повторяли один и тот же, все тот же вопрос, на который не находилось ответа: «А как оно все-таки было? Что вы чувствовали?» Теперь они были возбуждены, они шевелились, хмурились, перешептывались, щелкали зажигалками. Потому что, как ни старался я вникать в детали, я не мог передать им сущности того, что со мной произошло; тайна оставалась тайной.

Одна серия вопросов — те, которые задавал сенатор, — отличалась от других по тону. По непонятным мне причинам он был настроен явно враждебно. Создавалось впечатление, будто он подозревает или по меньшей мере учитывает такую возможность, что я мистификатор. Сказать по чести, принимая во внимание все обстоятельства, я не могу назвать подобное подозрение совершенно обосновательным, но ведь, кроме него, никто и вида не подал, что не верит. Сенатор, например, не помнил, чтобы его дед когда-либо упоминал об омнибусе, похожем на тот, какой описал я. Провозгласив это, он хитро посмотрел на меня, будто поймал на лжи. Естественно, мне не оставалось ничего другого, кроме как пожать плечами и повторить, что я видел именно такой омнибус. Подозреваю, что он про-

сто-напросто следовал инстинкту ловкого политика — обеспечить себе путь к отступлению на случай, если что-нибудь потом обернется не так. Но тут Эстергази ловко прервал его каким-то незначительным вопросом, а затем позабыл предоставить ему слово повторно. Полковник поблагодарил меня, попросив не уходить из здания, пока не кончится обмен мнениями. Я сказал: «Да, конечно», он поблагодарил меня еще раз, и я принял это как указание, что могу идти. Когда я уходил, мне даже немного поаплодировали, и я покраснел.

Мне показалось, я целую вечность просидел в кабинете Рюба, листая старые номера журнала «Лайф» и вновь убеждаясь, как бывало в приемной врача, что совершенно невозможно определить, видел ты раньше данный конкретный номер или нет. Я просмотрел также «Плейбой» и «Журнал американской пехоты», а потом прогулялся по коридору в кафетерий за бутылочкой кока-колы, которую так и оставил недопитой. Раза два ко мне заходила секретарша Рюба и все допытывалась, как оно все-таки было «взаправду», а я в который уже раз подыскивал слова, чтобы передать свои ощущения. Наконец, в начале пятого, она зашла в третий раз — сообщить, что меня просят в конференц-зал.

Мне ни разу не случалось попадать в комнату присяжных заседателей после того, как они провели в ней взаперти несколько часов, но думаю, что и вид и атмосфера там должны быть именно такими. В конференц-зале имелась установка для кондиционирования воздуха, так что дым рассосался, но пепельницы уже не вмещали окурков и над столом висел отчетливый сигаретный запах. Пиджаки были сняты, галстуки приспущены, блокноты исчерчены каракулями, на столе лежали мятые бумажные шарики и даже переломленный пополам карандаш; лица у большинства были решительные, а кое у кого — угрюмые. Едва я вошел, Эстергази встал с любезной улыбкой. Он-то оставался совершенно спокоен, пиджак застегнут, рубаш-

ка не смята. Непринужденным жестом он указал мне на стул, на котором я сидел раньше, подождал, когда я сяду, сел сам, поставил локти на стол и изящно сомкнул руки.

— Мне очень жаль, что мы заставили вас так долго ждать; вы, вероятно, устали и физически и морально, — сказал он вроде бы участливо, и я пробормотал какой-то всхлипывый ответ.

Видимо, я ждал, что первым возьмет слово Данцигер, и бросил взгляд вдоль стола на него. Одна большая рука директора лежала на краю стола, но стул был немного отодвинут, словно он — шевельнулась в голове мысль — отмежевывается от остальных. И выражение лица было... рассерженным? Нет, пожалуй; скорее всего лицо ничего не выражало. Никак не удавалось определить, что он чувствует или думает, — а может статься, он просто устал. Говорил Эстергази.

— Мы должны были заслушать все мнения, мы хотели учесть все оттенки мнений, прежде чем принять столь важное решение, как то, с которым, — он обвел глазами сидящих вокруг стола, — мы сейчас все согласны.

Он улыбнулся и секунды две внимательно смотрел на меня, и я вдруг понял, что интересую его как личность, а не только как человек, выполнивший трудное задание.

— Ваше первое «путешествие», если его можно так назвать, осуществлялось со всеми возможными предосторожностями. Никто вас не видел и не слышал, и никаких следов от вашего кратковременного пребывания в прошлом не осталось. Вмешательства в события прошлого не происходило вообще — вы не воздействовали на него ни на йоту. Однако второе ваше путешествие было — умышленно, согласно плану — более смелым. Вы опять-таки не вмешивались в события, если только не считать, — он расцепил руки и поднял указательный палец, как лектор из военной академии, требующий тишины, — если не считать само ваше присутствие событием. Событие, конечно, незначительное, но на сей раз вас видели, с вами, хотя бы

кратко, разговаривали. Какие мысли могли возникнуть вследствие встречи с вами? Могли ли они как-то, в большей или меньшей степени, повлиять на последующие события? В этом заключалась опасность, и серьезная опасность, но,— тут он стукнул кулаком по столу, впрочем, совершенно беззвучно, и старательно подчеркнул каждое слово,— опасность уже позади, риск оправдал себя. Мы пошли на этот риск, и вот перед нами полный доклад, и опять-таки нет ни малейшего указания на то, что ваше присутствие в прошлом хоть как-нибудь повлияло на события настоящего.

Он помолчал и вдруг добродушно осклабился.

— И должен вам сказать, что меня лично это несколько не удивляет. Это подтверждает гипотезу, с которой согласно большинство из нас и с которой, я убежден, рано или поздно согласятся и остальные,— гипотезу, которую мы называли гипотезой «веточки в реке». Пояснить вам ее? — обратился он ко мне, и я кивнул.— Как вам известно, время нередко сравнивают с рекой, с потоком. То, что происходит в какой-либо точке потока, в определенной степени зависит от того, что произошло когда-то раньше выше по течению. Но каждый день, каждую секунду происходит бесчисленное множество событий, мириады событий, и некоторые из них огромного масштаба. Так что, если время — река, то она неизмеримо шире и глубже, чем Миссисипи в половодье. А вы,— он послал мне улыбку,— вы представляете собой крошечную веточку, брошенную в ревущий поток. Не исключено, по крайней мере теоретически, что самая маленькая веточка способна воздействовать на поток в целом; она, например, может где-нибудь застрять и положить начало большому затору, который в свою очередь может оказать влияние даже на такой могучий поток. Стало быть, теоретическая возможность, теоретическая опасность изменить историю, по-видимому, существует. Но насколько она реальна? Каковы действительные шансы что-либо изменить? Практи-

чески стопроцентная вероятность — за то, что веточка, брошенная в невообразимо мощный поток, в необъятную Миссисипи событий, не окажет на него никакого, ни малейшего влияния!..

На мгновение лицо его порозовело, потом снова приняло обычный бледный, почти мертвенный цвет; он откинулся на спинку стула, положил руку на стол и тихо закончил:

— Такова теория и таковы факты.

Воцарилось молчание, длившееся секунд шесть или семь; если бы в комнате были часы, мы услышали бы их тиканье. Затем Данцигер, не меняя позы, не придвинувшись к столу и не пошевелив даже пальцем, мягко возразил:

— Теория такова. И я с ней согласен. И не удивительно, что согласен, ибо, в сущности, теория эта моя. Но таковы ли факты? Думаю, что да, полагаю, что да. — Он медленно повернул голову, оглядывая всех присутствующих. — Ну, а если мы ошибаемся?

Я был поражен — Эстергази с серьезным видом закивал головой и забормotal:

— Да, да. Существует и такая возможность. Несомненная и страшная. И все же, — он медленно, с неохотой повел плечом, — если мы не собираемся свернуть проект единственно по той причине, что он удался...

— Нет, конечно, нет, — довольно резко прервал его Данцигер. — Никто за это не ратует, а я меньше всего. Единственное, что я говорю...

— Знаю, — сказал Эстергази с сожалением в голосе. — Не спешить. Следовать вперед с чрезвычайной осторожностью. Растянуть эксперимент на недели, месяцы и даже годы, если это необходимо для полной уверенности в успехе. Ну что ж, возможно, и я придерживался бы того же мнения, если бы... если бы у меня был выбор. Но, как знает сенатор, как знаю я и многие здесь присутствующие, — вам, доктор Данцигер, к сожалению, не представ-

лялось случая это узнать, — правительственные дела так не делаются. — Он обвел широким жестом вокруг себя, словно обозначил контуры приютившего нас здания. — Все это стоит денег, в том-то и беда. И теперь по той простой причине, что опыт оказался удачным, мы обязаны, именно обязаны оправдать расходы практическими результатами. Мы все согласились с тем, что мистер Морли вновь отправится в прошлое. Совершенно пемыслимо, чтобы он этого не сделал. Однако... однако действовать ему придется быстрее и смелее, чем некоторым из нас, возможно, хотелось бы. Чисто исследовательские работы, предоставленные самим себе, могут вестись с бесконечным долготерпением. Но здесь вопрос денег. Государственных денег. Израсходованных секретно. Без согласия конгресса. Так что теперь, черт возьми, нам нужно выдать практические результаты.

Он оглядел меня, затем — медленно-медленно — весь стол и продолжал:

— Тем не менее я хотел бы сейчас сказать мистеру Морли и всем остальным — а вам, доктор, это известно и без меня, — что, хотя решения, имеющие жизненное значение для проекта в целом, не могут, к сожалению, приниматься доктором Данцигером единолично, он по-прежнему остается во главе дела. Он здесь хозяин, только совет вправе отменить или изменить его решения, и в тех редких случаях, когда это может потребоваться, это произойдет лишь после самого тщательного и серьезного анализа его мнения. Так что теперь, мистер Морли, — он опять улыбнулся мне, — возвращаю вас вашему началу.

Он встал, расправляя плечи, все последовали его примеру, начался общий разговор, и заседание закрылось.

В кабинете Данцигера я заговорил первым. Выбравшись из конференц-зала, он, Руб и я двинулись по коридорам, перебрасываясь ничего не значащими фразами. Когда мы зашли в кабинет, Данцигер сел за стол, вынул

из верхнего ящика половинку сигары и осмотрел ее, очевидно размышляя, закурить или нет. В конце концов он сунул сигару в рот не зажигая. Я молча ждал, пока он завершит процедуру, потом, не вставая, перегнулся к нему через край стола; Рюб расположился слева от Данцигера, чуть позади него, прислонив свой стул к стене.

— Доктор Данцигер, — сказал я, — мне не известно, кто такой полковник Эстергази. Судя по всему, какой-нибудь полковник запаса эквадорской армии. — Рюб ухмыльнулся, ему это понравилось. — Но кто бы он ни был, я клятвы верности ему не давал. Ни тому или тем, кто за ним стоит. Завербовали меня вы и Рюб, я работаю на вас и сделаю то, что скажете мне вы.

Когда я заканчивал свою речь, Данцигер широко улыбался, явно польщенный.

— Спасибо, Сай. Большое спасибо, — сказал он. Усевшись поудобнее в своем вращающемся кресле, он вытянул нижний ящик стола и поставил на него ногу. — Знаете, вплоть до вашего успеха все шло прекрасно. В самом деле, без сучка и задоринки. Отчеты мои принимались без комментариев, совет послушно рассматривал поднимаемые мной вопросы, в основном просьбы о дополнительных ассигнованиях. Как правило, ассигнования выделялись, хоть и не всегда в тех размерах, о каких я просил. Зачастую едва набирался кворум, заседания редко длились более получаса. Не думаю, чтобы большинство членов совета вообще хоть сколько-нибудь верили в успех проекта, да они, как правило, люди просто назначенные. И мне, по-видимому, начало казаться, что это моя личная вотчина. — Он вынул изо рта половинку сигары, осмотрел ее задумчиво, снова взял в рот и, положив локти на стол, сплел пальцы рук. — Но Эстергази, разумеется, прав. Это не просто забава, и пора показать какой-то практический результат. Сам знаю. Предпочел бы двигаться вперед медленнее, как можно медленнее. А с другой стороны, полагаю, как и все остальные, что мы, вероятно, достаточно

осторожны. Вероятно... Предпочел бы обойтись вообще без всякого риска, но права выбора у меня больше нет.

Тем не менее я соглашаюсь с решением. Я хочу, чтобы вы делали то, чего от вас хотят все, конфликта здесь не предвидится. А то, чего мы хотим все, напоминает мне, пожалуй, о нашем первом искусственном спутнике Земли. — Данцигер по обыкновению откинулся в кресле. — Самый первый, крошечный — сколько он весил? Несколько килограммов? И все просили места на борту, помните? Биологи просили поместить мышей, чтобы изучить воздействие космической радиации. Ботаники явились со своими семенами, географы, метеорологи, да и военные желали установить фотоаппараты. Связисты, радиоинженеры и бог знает кто еще — все приходили со своими просьбами и даже требованиями. В конце концов была создана капсула, в которой пытались дать место — или хотя бы видимость места — каждому из претендентов.

То же самое, Сай, случилось теперь с нами. Именно поэтому совет разрешил вам подсмотреть за вашим человеком с конвертом. Он, по-видимому, каким-то образом связан с кусочком истории, с одним из второстепенных советников президента Кливленда. Естественно, любопытно было бы выяснить, что это за связь. В общем историки хотят убедиться в том, может ли наш проект помочь им, открывает ли он новые пути расширения исторических знаний, пути, о которых до сих пор и не помышляли. У социологов есть свои вопросы, у психологов свои, ну а у физиков, которых я здесь представляю, у тех миллион вопросов. Ваш человек, связанный каким-то образом с маленьким примечанием к истории, представляет собой такую же первую капсулу. Если вы сможете осторожно понаблюдать за ним, изучить его и если результат окажется обнадеживающим, тогда мы сможем постепенно перейти к более крупным, более масштабным целям, к таким, где ощущаем серьезную нехватку знаний.

Итак, вот чего мы хотим, Сай. Мы хотим, чтобы вы, действуя с чрезвычайной осторожностью, как мышь в углу, как муха на стене, понаблюдали за ним. Узнайте все, что можно, — такова ваша основная задача. Безусловно, это усилит ваше вмешательство в события прошлого, но, — он помолчал, потом пожал плечами, — постарайтесь свести его до минимума, хорошо? Вы знаете, где живет ваш человек. Сможете вы вернуться туда и сделать то, о чем мы вас просим?

Я кивнул было утвердительно, но, прежде чем я успел ответить, заговорил Рюб — тихо, в высшей степени дружелюбно, но серьезно:

— Только давай в одиночку. На этот раз в одиночку. На этот раз девочка Кейт пусть останется там, где ей надлежит быть.

Я открыл рот — и не нашелся, что сказать. Я так и сидел с открытым ртом, пока Рюб не улыбнулся слегка.

— Ладно, не старайся объяснить. Я и без тебя догадываюсь, как все произошло, и винить тебя, вероятно, трудно. Да ничего плохого, видимо, и не произошло. Однако, право же, у нас достаточно хлопот и без привлечения посторонних наблюдателей...

Я кивнул:

— Согласен. Я и сам собирался рассказать доктору Данцигеру, можешь мне поверить. Но как ты узнал?

— Мы все знаем. В нашем хозяйстве, кроме тебя, немало других мелких и нудных деталей. Ты у нас приманбалерина, и мы не пристаем к тебе со всякими винтиками и гаечками. Но наблюдение за проектом ведется всеми возможными способами, и никакие личные соображения — не оправдание. Понял?

Это было предупреждение и, если угодно, угроза, но я заслужил ее, а потому снес покорно:

— Понял.

Рюб улыбнулся своей широкой улыбкой, той самой, которая так понравилась мне с самого начала. Выпрямил-

ся на стуле — тот с маху стукнулся передними ножками в пластиковый пол — и встал.

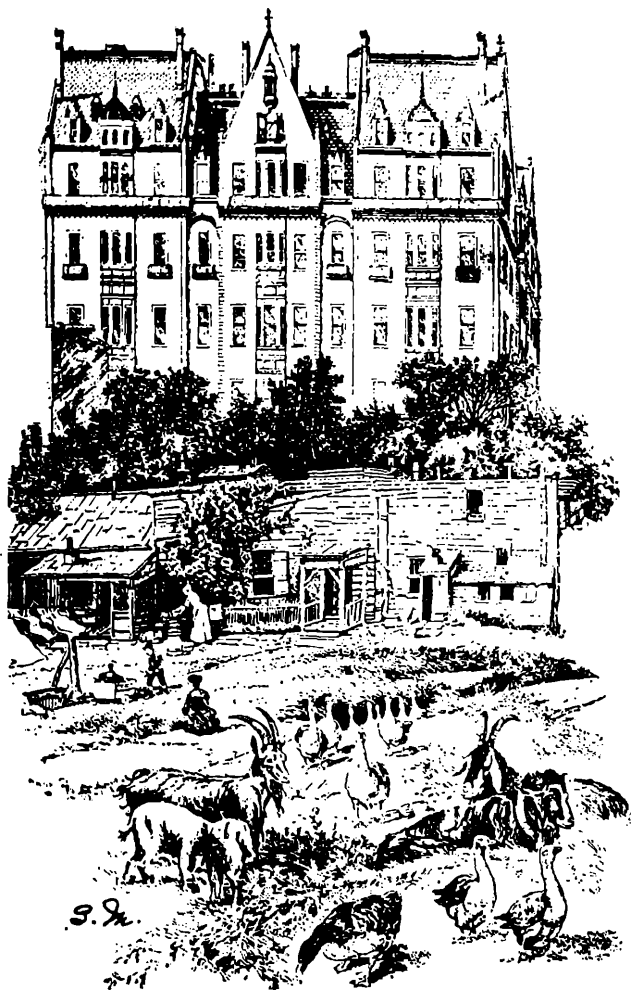
— Ну что ж, тогда назад, в «Дакоту». Пошли, счастливчик, я тебя подвезу.

12

На этот раз, выйдя из «Дакоты» на Семьдесят вторую улицу с саквояжем в руке, я чувствовал в себе уверенность. Я двинулся налево, к Сентрал-парку, лежащему по ту сторону улицы, и хотя никакой заметной разницы не было, я твердо знал, в каком я времени. И когда через перекресток впереди проехала повозка с сеном, запряженная парой лошадей, меня это ничуть не удивило.

Но я кое-что вспомнил, поэтому на углу, вместо того чтобы пересечь улицу и направиться в парк, повернул к северу. Я вспомнил незастроенное пространство, сквозь которое смотрел с балкона несколько ночей назад, черную пустоту между «Дакотой» и Музеем естествознания. Теперь я хотел взглянуть на это пространство при дневном свете, и полминуты спустя, когда оно вдруг раскрылось передо мной, я остановился, пораженный, и тут же расхохотался.

Уж не знаю, что я ожидал увидеть, — вероятно, все что угодно, только не это, — и, все еще посмеиваясь, я достал из саквояжа альбом для эскизов. Я сделал грубый, но достаточно точный и подробный набросок и позже закончил его. Вы видите его на следующей странице. Вот что я увидел, стоя в десятке метров от тротуара на углу Семьдесят



S. 2.

четвертой улицы и Сентрал-парк-уэст; на рисунке я лишь добавил листву, чтобы деревья стали приметнее. Обитатели этих домишек, этих лачуг, построенных явно собственными руками, занимались сельским хозяйством! Я не преувеличиваю — они выращивали овощи и держали скот, и, пока я рисовал, я слышал блеянье овец, хрюканье свиней, гоготанье гусей и одновременно грохот надземки вдали.

Наконец я направился дальше, пересек Сентрал-парк и надземкой добрался до центра. Дом девятнадцать по улице Грэммерси-парк оказался давним знакомцем. Он и сейчас стоит там, и мне случалось проходить мимо него и мимо других солидных старых домов, окружающих квадратик маленького парка. Насколько я могу судить, дом не изменился и поныне: простой трехэтажный дом из бурого песчаника, с белыми крашеными оконными рамами, чисто выскобленными каменными ступеньками и черными витыми чугунными перилами. В углу одного из окон на первом этаже маленькая бело-голубая вывеска сообщала: «Комнаты и пансион».

Я стоял на тротуаре, сжимая ручку саквояжа и разглядывая дом с чувством человека, которому предстоит прыгнуть в воду с вышки куда более высокой, чем все, на какие он дерзал подниматься до сих пор. Теперь я собирался предпринять нечто неизмеримо большее, чем мимолетное обращение к прохожему. Как бы осторожен и осмотрителен я ни был, теперь мне предстояло окунуться в жизнь этого времени с головой, и я все стоял и глядел на вывеску, бледнел и краснел от волнения и любопытства, но никак не решался сделать первый шаг.

А надо было — в любую секунду может открыться дверь, кто-нибудь выйдет и увидит меня торчащим здесь без дела. Я заставил себя приблизиться, быстро взбежать по ступенькам и, пока не растерял решимости, крутанул блестящий бронзовый набалдашник в центре двери; по ту ее сторону резко звякнул звонок, и я услышал шаги. Те-

перь уж не отвертеться — к лучшему или худшему, но я буду вовлечен в события.

Дверная ручка повернулась, дверь приоткрылась внутрь, и я поднял глаза. На пороге, вопросительно глядя на меня, стояла девушка лет двадцати с небольшим в сером бумажном платье и длинном зеленом фартуке; зачесанные вверх волосы были замотаны белой тканью наподобие тюрбана, а в руке она держала тряпку.

— Да?

Меня еще раз охватило ощущение чуда, свершившегося со мной, и я безмолвно уставился на нее. Она начала хмуриться, готова была сказать еще что-то, но я опередил ее:

— Я ищу комнату.

— С пансионом? Другими мы не располагаем.

— Да, да. С пансионом.

— У нас есть две свободные, — неуверенно произнесла она, будто раздумывая, не отказать ли мне. — Одна фасадная, окнами в парк, девять долларов в неделю. Другая окнами во двор, семь долларов двадцать пять центов. Цены включая завтрак и ужин...

Я ответил, что хотел бы посмотреть обе, и она пропустила меня в переднюю, выложенную черными и белыми плитками; стены были оклеены обоями, а львиную долю площади занимала огромная вешалка со стойкой для зонтов и вделанным посередине зеркалом во весь рост. Пока она заворяла дверь, я в зеркале разглядел изящную шею, на которую из-под тюрбана выбился завиток волос. Несмотря на волнение, я улыбнулся: что-то невинное и притягательное есть в девичьей шее, если волосы зачесаны вверх. До меня, наконец, дошло, что девушка хороша собой.

Вслед за ней я поднялся по лестнице, покрытой ковровой дорожкой. Она подобрала платье у колен, и я увидел черные, застегнутые на пуговицы ботинки со слегка стоптанными каблуками и толстые бумажные чулки в белую и синюю полоску. На секунду мелькнули икры, полные и круглые, и я оценил, несмотря на уродливые

чулки и ботинки, что у нее красивые ноги. «Она ведь давно мертва,— молнией пронеслось у меня в сознании.— Уже много лет, как она умерла...» Я затряс головой, стараясь отогнать эту мысль; на площадке девушка обернулась, жестом приглашая меня в комнату, и улыбнулась — я увидел вблизи живую реальность ее лица, небольшие морщинки, собравшиеся в уголках глаз, быстрое движение ресниц, когда она моргнула, и вся она вблизи была такая живая и такая молодая, что мимолетная мысль потеряла всякое значение.

Я оглядел комнату, а девушка ждала, стоя в дверях. Комната оказалась большая, чистая, хорошо освещенная — два высоких окна смотрели в парк. Обставлена комната была старомодно... да нет, конечно, вовсе не старомодно. Деревянному креслу-качалке, тяжелой резной деревянной кровати, приткнувшемуся между окон маленькому столику, накрытому зеленой бархатной скатертью с бахромой, исполнилось не больше десяти лет от роду. На полу лежал зеленый с розовым, местами истертый ковер с узором — то ли исполинские розы, то ли кочаны капусты, выбирайте, что нравится. Под одним из окон притулилась кушетка, обгнута красным бархатом, на окнах висели накрахмаленные, кое-где подштопанные кружевные занавески. У двери красовалась гравюра в позолоченной рамке — пастух в домотканой рубахе посреди овечьего стада, а обои несли на себе свирепый коричневато-зеленый узор из мученически искривленных линий. Был еще темного дерева комод с фарфоровыми ручками и белым мраморным верхом, а на комод — кувшин и большая чаша. Ванная, общая для всех жильцов, сообщила мне девушке, находится в конце коридора.

— Мне нравится,— сказал я.— Очень нравится. Я беру эту комнату, если можно.

— У вас есть какие-нибудь рекомендации?

— К сожалению, нет. Я только что прибыл в Нью-Йорк и не знаю здесь ни одного человека. Кроме вас, ра-

зумеется. — Я улыбнулся, но она не ответила на мою улыбку. Она нерешительно мялась, и я сказал: — Правда, я беглый каторжник, профессиональный фальшивомонетчик и убийца-любитель. Кроме того, я вою по ночам на луну. Но зато я опрятен...

— Ну, в таком случае добро пожаловать. — Я все-таки заставил ее улыбнуться. — Как ваше имя?

— Саймон Морли. Очень рад с вами познакомиться.

— Меня зовут Джулия Шарбонно, — сказала она сдержанно, даже несколько свысока, но я понял, что мы уже друзья. — Дом этот принадлежит моей тетке; вы встретите ее за ужином, который будет в шесть. — Она повернулась, чтобы уйти, взялась за дверную ручку, но приостановилась и снова обратилась ко мне: — Поскольку вы приезжий, то запомните, что это газ, — она кивком показала на круглый светильник наверху и па рожок над кроватью, — не керосин и не свечка. Газ нужно не задувать, а выключать.

— Хорошо, я запомню.

Она кивнула, оглядела комнату последний раз и, не найдя, что еще сказать, собралась выйти.

— Мисс Шарбонно! — окликнул я, и она оглянулась; я тоже не знал, что сказать, но в конце концов нашелся: — Извините меня за невежество. Я в Нью-Йорке впервые в жизни и незнаком со здешними обычаями...

— Полагаю, что они не слишком отличаются от обычаев других мест. — Она опять улыбнулась, на этот раз с легкой проницей. — Да по вас и не скажешь, что вы надолго останетесь зеленым...

Она вышла, прикрыв за собой дверь. Я выглянул из окна на Грэмерси-парк, на покрытые снегом скамейки, кусты, газоны. Я не мог припомнить, давно ли я видел этот парк в последний раз и изменился ли он — вроде бы нет. С тротуара и аллеек снег счистили, смели в сугробы к бровке мостовой. Снег почернел от копоты: город был грязный, как и в наши дни, и особенно грязный зимой,

когда десятки тысяч дровяных и угольных печей и каминов изрыгали в воздух сажу и пепел. Но по крайней мере все это было нерадиоактивно.

Не знаю почему, но впечатлений для меня оказалось слишком много; я отошел от окна и прилег на длинную односпальную кровать, свесив ноги, чтобы не выпачкать скромное белое покрывало. Закрыв глаза — и меня обуяла внезапная тоска по родному дому, прямо-таки как брошенного ребенка. Мне пришло в голову, что ведь я в буквальном смысле слова не знаю ни одного человека на белом свете — все те и все то, что я знаю, сейчас неизмеримо далеки от меня.

Я проспал с час, пожалуй, немного меньше. Разбудили меня голоса, стук дверей, шаги в коридоре. В комнате было уже темно, но узкие прямоугольники окон слегка светились — на улице выпал свежий снег. Вполне сознавая, где я нахожусь, я спустил ноги на пол, подошел к комоду, налил из кувшина в чашу воды и умылся. Потом надел чистую рубашку, повязал галстук, причесался и решительно направился к двери в коридор, навстречу этому дому и населяющим его людям.

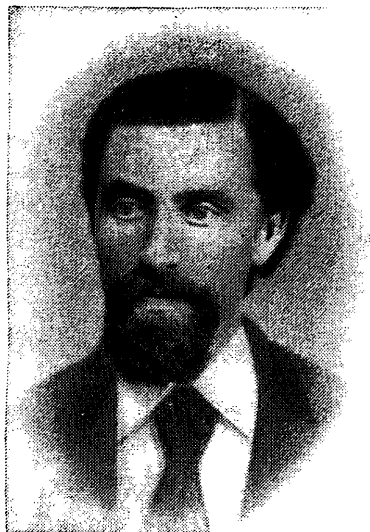
По коридору из ванной шел худощавый молодой человек, в руках он нес неглубокий тазик с водой. У него были темные волосы и усы с опущенными книзу концами. Едва завидев меня, он остановился, широко осклабившись.

— Вы и есть новый постоялец? Извините, не могу подать вам руки, — подбородком он указал на тазик, — однако разрешите представиться. Меня зовут Феликс Грир. Сегодня день моего рождения, мне сегодня двадцать один год.

Я поздравил его, назвал свое имя, и он тут же настоял, чтобы я зашел к нему в комнату взглянуть на новую фотографическую камеру, которую прислали ему родители ко дню рождения. Получил он ее только вчера, но уже успел при помощи специального приспособления, которое



немедля продемонстрировал мне — горизонтальная газовая трубка с дюжиной горелок и с рефлексом, — отснять всех жильцов дома, а также некоторые комнаты — но это уже при дневном освещении. Я осмотрел камеру — огромный ящик, весящий минимум три, а то и три с половиной килограмма, сверкающий полированным деревом, бронзой, стеклом и красной кожей и удивительно шикарный. Так я и сказал Феликсу, добавив, что и сам умею фотографировать, и он ответил, что как-нибудь одолжит мне свою камеру, а я сказал, что, возможно, поймаю его на слове. Потом он заставил меня позировать, сфотографировал — выдержка оказалась много короче, чем я ожидал, всего несколько секунд, — и пообещал дать мне полный комплект своих снимков. Тогда я отнесся к этому безразлично, но потом был рад, что по-



лучил их. В конце концов я ушел — Феликс остался промывать отпечатки, — а вечером, когда я вернулся к себе, нашел подсунутый под дверь пакет с пачкой фотографий, включая мой собственный портрет и несколько видов комнат.

Вот одна из них — это сам Феликс, очень похож, хотя гораздо серьезнее, чем я его помню: он всегда бывал немножко взвинчен и непрестанно ухмылялся.

Пока не забыл, покажу вам еще один снимок из той же серии: это я сам. Не уверен, что фотограф добился большого сходства, а впрочем, с бородой и усами я, наверно, так и выгляжу; я никогда не считал себя красавцем.

Выйдя от Феликса, я спустился вниз, в просторную гостиную рядом с передней; тут на железном листе стояла большая черная печь с никелированными завитками и слюдяными окошками, за которыми плясал веселый



огонь. На печи красовался никелированный рыцарь в доспехах сантиметров тридцати ростом. Я протянул было руку потрогать его, но поспешно отдернул: рыцарь оказался горячим. По ту сторону раздвижных дверей — видимо, в столовую — слышались позвякивание посуды и приглушенный говор. Я решил, что там накрывают к ужину, и кашлянул.

Двери раскрылись, и вышла Джулия, а за нею художавая женщина средних лет. Вот их портреты в исполнении Феликса, и очень хорошие — именно так они и выглядели.

— Тетя Ада, — сказала Джулия, — это вот и есть Саймон Морли, который явился без рекомендательных писем и почти без багажа, однако краснобай, каких мало. Мистер Морли — мадам Хафф.

Честно сказать, до того дня я никогда не слышал выражения «краснобай» в устной речи, но позже усвоил,



что по смыслу оно соответствует нашему «трепач» или, быть может, «льстец» или объединяет в себе обе характеристики. Улыбнувшись словам племянницы, тетя Ада сделала реверанс.

— Доброго вам здоровья, мистер Морли.

Хотя я впервые в жизни видел женщину, делающую реверанс, я поклонился ей как-то совершенно естественно, будто всю жизнь только так и делал:

— Доброго вам здоровья, мадам Хафф. Мисс Джулия представила меня так полно, что мне и добавить нечего, кроме одного: я очень рад остановиться у вас. Ваша гостинная очаровательна.

При этом мне пришлось втянуть щеки, чтобы сохранить серьезное выражение лица.

— Позвольте показать ее вам?

Тетя Ада обвела комнату рукой, и я оглядел ее с искренним интересом. Вот вид части гостиной, снятый Феликсом, причем это меньшая ее часть. Стены оклеены



обоями, на полу ковер, а на окнах, помимо белых кружевных занавесок, еще и лиловые бархатные шторы с бахромой из маленьких шариков. В гостиной были также два дивана с парчовой обивкой, две деревянные качалки с кожаными сиденьями, три мягких стула, письменный стол и по стенам картины в позолоченных рамах.

Однако тетя Ада направилась прежде всего к застекленной горке в углу.

— Тут собраны некоторые вещи, которые мистер Хафф и я привезли из путешествия по Европе и святым местам.— Она указала на них пальцем.— Вот пузырек с водой из реки Иордан, а это кусочки мрамора, подобранные в Риме у Форума...— Далее она перечислила и все другие вещички на полках: складной веер из Фран-



ции — якобы сувенир революции, миниатюрная позолоченная туфелька с подушечкой для иголок из Бельгии, ракушка, подобранная мужем — «моим покойным мужем» — на пляже английского курорта, где они останавливались. А на конец она приберегла самый ценный предмет коллекции — хрупкую бурую спрессованную маргаритку с могилы Шелли.

С лестницы вприпрыжку скатился Феликс и влетел в гостиную. Увидев, что мне показывают достопримечательности, он подмигнул, сел у окна и принялся читать принесенную с собой газету. Потом в гостиную спустился мужчина лет тридцати пяти, и тетя Ада нас познакомила; вот его портрет работы Феликса. Звали его Байрон Кипс Доувермен, был он высокий и худой и носил усы, переходившие в пушистые бакенбарды.

Тем временем мне позволили полюбоваться бамбуковым мольбертом, на котором в рамке стоял натюрморт, изображающий фрукты и мертвого зайца, затем тетя Ада



подвела меня к столику, где царили фарфоровые вазочки. Рядом с маленькой красивой фисгармонией темного дерева располагался камин, а на нем — композиция из гипсовых фигур высотой примерно в метр и весом не менее чем килограммов сорок. Надпись на основании композиции сообщала: «Взвешивание младенца», а фигур было две — бородатый врач в халате и акушерка в домашнем чепце, читающие показания на шкале весов, в глубокой чаше которых лежал заливающийся плачем младенец. Сбоку от гипсовой группы стоял стеклянный колпак, под которым прятался букет странных цветов, при ближайшем рассмотрении оказавшихся крашеными перьями.

Тете Аде пришлось покинуть меня, так и не окончив турне по гостиной, — ужин уже почти поспел, и Джулия позвала ее. Но оставалось еще много достопримечательностей: семейные портреты, картины в рамках, огромный

папоротник в углу у окна. Я сидел лицом к лестнице и все ждал, когда же выйдет тот, ради кого я сюда явился. Но спустилась лишь мисс Мод Торренс, миниатюрная, простенькая, миловидная женщина лет тридцати с небольшим. Она спросила вежливо, не нахожу ли я, что в последние дни погода «просто ужасная», на что я ответил, что в это время года в Нью-Йорке лучшего и не жди. Тут вышла Джулия — сказать, что ужин подан.

Я был слишком взволнован, чтобы есть с аппетитом, слишком много сил отнимал у меня самый факт, что я сижу здесь, за этим столом, при почти беззвучном шипении газа в люстре над головой; кроме того, я начинал беспокоиться из-за отсутствия «моего» человека. За овальным столом нас было шестеро, и один стул оставался пустым; во главе стола сидела тетя Ада, она резала индейку и передавала нам тарелки.

— Слышали последние новости о Гито? — спросил Феликс, обращаясь ко всем сразу. — Кто-то выстрелил в него через окно тюремной камеры.

— Об этом писали в газетах, — отозвалась Джулия.

— Да, но вот о чем там не писали, и весь город только об этом и говорит: пуля, ударившись в стенку, расплющилась и превратилась в точный профиль испуганного Гито.

Я незаметно оглядел их всех, однако они оставались вполне серьезны, приняли сообщение за факт без тени улыбки. Потом до меня дошло, что тетя Ада обращается ко мне, спрашивая мое мнение о вероятном приговоре суда. Я сидел с задумчивым видом, будто взвешивал ответ, а сам старался припомнить то немногое, что знал о Гито. Я мало о нем читал, знал только, что его объявили виновным и казнили, поэтому сказал тете Аде, что, поскольку он явно виновен, его, без сомнения, повесят.

На сладкое подали именинный пирог, и Феликс задул на нем свечи. А потом началась собственно вечеринка по

случаю дня рождения. В гостиной Мод Торренс села за фисгармонию и стала просматривать лежащие па крышке ноты. Феликс Грир и Байрон Доувермен стали подле нее; я хотел было сесть почитать газету, но они подозвали меня, и я — делать нечего — подошел.

Мне оказалось по силам принять участие в первой песне — «Заберу тебя домой, Кэтлин». Когда мы кончили ее, Феликс сказал:

— Будь Джейк дома, у нас получился бы квартет...

Это дало мне повод спросить:

— Какой Джейк?

На что Феликс ответил:

— Джейк Пикеринг, еще один наш постоялец.

Теперь я узнал, как его зовут, и решил, что добился определенного успеха.

Следующим номером шла песенка «Если я поймаю того, кто учил ее танцевать» или что-то в таком духе, и я с грехом пополам старался подпевать. Потом к нам присоединились Джулия с тетушкой, и мы все вместе спели «Ночью при лунном свете» и «О эти золотые туфельки». Тетя Ада пела неплохо, но Джулия подчас фальшивила. Байрон Доувермен предложил «Опустевшую колыбель», Джулия сказала: «Не надо», но другие настояли. Мод разыскала ноты, и, читая слова из-за ее спины, мы спели, пожалуй, самую мрачную из когда-либо слышанных мной песен о бедненьком умершем ребеночке со строками вроде: «Малютка к ангелам взошла, и ей теперь покойно». Джулия послала мне улыбку и пожала плечами — видимо, она считала песню нелепой. Однако Мод, как только кончила, отвернулась от фисгармонии, заявив, что ей не хочется больше играть; глаза ее блестели, она едва удерживалась от слез, и я вдруг подумал, что в этом веке смерть ребенка была в порядке вещей, — может статься, песня ей что-нибудь напомнила.

— Байрон, — сказала тогда Джулия, — не развлечете ли вы нас фокусами?

Он согласился, поднялся к себе в комнату, перешагивая через две ступеньки сразу, так же быстро вернулся и принялся расхаживать по комнате, вынимая монеты у нас из ушей, потом предложил «вытащить из колоды любую карту, какую хотите». Фокусы он и вправду показывал неплохо, и все мы, в том числе и я, наблюдали за ним с искренним удовольствием.

Наконец он положил колоду в карман и сел.

— А мне дядя прислал из Китая веер, — заявила тетя Ада, — и я обмахиваюсь им вот так.

Она начала покачивать кистью руки у лица, словно обмахиваясь, и все повторили за ней ее движение. Слева от тетюшки в кресле у окна сидела Мод Торренс, и она сказала:

— А мне дядя тоже прислал веер из Китая, и я обмахиваюсь им вот так.

Левой рукой она взмахнула воображаемым веером у левого уха, и мы последовали ее примеру, продолжая в то же время шевелить правой кистью. Теперь настала моя очередь, и я сообщил:

— А мне дядя прислал веер из Танзании, и я обмахиваюсь им вот так.

Я оскалил зубы, будто держал веер во рту, и стал покачивать головой вверх-вниз, и все опять-таки принялись мне подражать. Следующим шел Феликс, который положил конец игре, объявив, что у него пара вееров с Сандвичевых островов — он задрал ноги и задвигал ступнями. И все точно так же скопировали и его, а потом расхохотались: это и в самом деле было комично — наблюдать, как все мы, откинувшись, шевелим одновременно руками, ногами и головой.

— А где находится Танзания, мистер Морли? — поинтересовалась тетя Ада.

— Кажется, где-то в Африке.

Она кивнула, приняв мое объяснение, и Мод Торренс, по-моему, тоже была удовлетворена. Но двое мужчин и

Джулия смотрели на меня недоуменно. Тут только я сообразил, что попал впросак: никакой Танзании еще не существовало, она появится на карте лишь много десятков лет спустя, и я усмехнулся, делая вид, что пошутил.

Феликс раскраснелся, глаза у него сияли: день рождения удавался на славу.

— Джулия, — воскликнул он, — давайте живые картины!

— Давайте, — отозвалась она с готовностью. — Я выбираю первая! Мне понадобятся вы, Феликс, и Байрон.

Они удалились в столовую, прикрыв за собой раздвижные двери. Тетя Ада поднялась и прикрутила горелки в люстре. Потом она снова села, и они с Мод с выжидательными улыбками уставились на закрытые двери; я постарался вести себя, как они. Наконец Джулия крикнула: «Готово!» — и тетюшка, сидевшая ближе всех, откатила дверные створки в стороны.

В столовой свет горел в полную силу, и все трое застыли в неподвижных позах, обрамленные дверями почти как на сцене. Байрон и Джулия расположились лицом к Феликсу, который стоял на одной ноге, слегка поджав другую под себя. Под мышкой у Феликса была палка, и он держал ее наподобие костыля; при этом он слегка приоткрыл рот, словно говорил что-то, и широко раскрыл глаза. Джулия откинула голову назад; глаза и рот у нее были открыты еще шире, чем у Феликса. Байрон с потрясенным видом замер, прижав кулак тыльной стороной ко лбу.

Они стояли, слегка покачиваясь, а мы трое смотрели на них во все глаза. Мод произнесла расстроенно:

— Но я же знаю, знаю!..

— «Возвращение солдата»! — торжествующе воскликнула тетя Ада, и «живая картина» распалась.

После еще двух «картин» — «Раненый разведчик» и «Убежище влюбленных» — я наконец понял из разговоров, что происходит. Оказывается, имитировались позы

фигур из скульптурных композиций некоего Роджерса, тысячами выпускающего гипсовые их копии. По-видимому, в каждом доме имелась хотя бы одна работа Роджерса — «Взвешивание младенца» у тети Ады на камине тоже было его творением, — и большинство композиций пользовалось всеобщей известностью. Когда в столовой развернулась последняя из «картин», я перехватил быстрый взгляд Джулии и, кажется, понял, что у нее на уме: я остался единственным в комнате, кто ни разу не выкрикнул ни одного названия, хотя бы ошибочного.

— Может быть, теперь мистер Морли покажет нам что-нибудь? — предложила она вдруг. — Ваша очередь, мистер Морли, просим вас!..

Мне показалось, что в голосе Джулии я уловил намек на вызов, она будто говорила мне: «Кто ты? Покажи себя!» Я и хотел бы это сделать, но не сразу сообразил как и пережил момент острой растерянности. Джулия ждала, и на ее лице играла чуть насмешливая улыбка. Тогда я усмехнулся в ответ и, подняв обе руки ладонями от себя, свел большие пальцы вместе, как бы взял в рамку ее голову и плечи.

— Не шевелитесь. — Она сидела неподвижно, только в глазах внезапно вспыхнуло любопытство. — Теперь чуть-чуть поверните голову. Нет, нет, в другую сторону, к горке.

Она медленно повернулась. Я нащупал в кармане жилетки ключ от квартиры в «Дакоте», подошел к окну и, царапая острым язычком ключа по замерзшему стеклу, наметил контур скулы. Бросил на Джулию еще один взгляд и решительным движением очертил нижнюю челюсть. Чернота ночи на улице четко вырисовывала линии портрета на изморози окна, и работа шла быстро. Все столпились вокруг и с уважением смотрели, как я рисую.

Набросок получился неплохим — в течение каких-нибудь двух минут я сумел уловить сходство. Высокая ску-

ла, заостренный лицевой угол, небольшой, но твердый подбородок — мне удалось передать все это тремя стремительными линиями. Потом на белом стекле появились глаза как раз под правильным углом; несколькими уверенными штрихами я сумел даже передать легкие тени под ними. Затем я вывел прямые темные брови и красивый прямой нос. Кивком головы я отпустил Джулию, и она присоединилась к остальным.

Ей не понравилось. Она не сказала этого, напротив, пристально вгляделась в набросок и после длительной паузы принялась кивать, вежливо притворяясь, что все хорошо. Но кивала она слишком быстро, на меня не смотрела, и я понял, что она прячет от меня разочарование. Другие тоже бормотали какие-то неискренние слова.

— В чем дело? — спросил я тихо. Я гордился своей способностью делать мгновенные наброски и хотел понять, что не так. — Говорите правду, меня не обманете. Вам не нравится.

— Ну... — Она выпрямилась, но одновременно опустила глаза, приложила палец к подбородку, вроде бы раздумывая. — Не то чтобы мне не нравилось, но... — Она опять взглянула на набросок, потом на меня. Глаза у нее были страдальческие, она, наверно, кляла себя, что начала говорить. — Что это такое? — вдруг взорвалась она и тут же поспешно добавила: — То есть я хочу сказать — он не кончен, правда? Я понимаю, что это лицо, то есть это было бы лицо, если бы вы его закончили, но...

Я прервал ее быстрым кивком — теперь я все понял. Мы с детства приучены к мысли, что черные линии на белом фоне могут известным образом передавать живое человеческое лицо. Я где-то читал, что дикари неспособны к подобному восприятию; рисунок и даже фотография представляются им бессмысленными, пока их не обучат добираться до сути дела. А мой эскиз на замерзшем стекле — несколько мимолетных намеков, когда зритель сам дополняет рисунок до целостного изображения, — это же

манера двадцатого века; для Джулии и ее современников она непонятна, как запись шифром, да это и есть запись шифром.

— Стойте так, как стоите, — сказал я Джулии, — и дайте мне еще пять минут.

Я не стал даже ждать ответа, а кинулся к другому окну и поспешно, как только мог, стал набрасывать другой рисунок, применяя технику, освоенную забавы ради во время занятий с Мартином Лестфогелем, — технику гравюры по дереву, при которой не опускается ни один, даже малейший штришок. Теперь рисунок занимал почти все стекло — эта техника требовала пространства. Работая у самого окна, я сквозь густую штриховку видел фонари, заснеженные тротуары и улицу, смутно чернеющие кусты и деревья Грэмерси-парка. И вдруг увидел его: он быстрыми шагами шел по тротуару к дому — уже знакомая коренастая грузная фигура в плоской шляпе, сдвинутой на затылок. Я застыл, глядя на него, рука замерла, не завершив линии. Вот он повернул, поднялся по нашим ступенькам и исчез из виду; я бросил взгляд на Джулию и продолжал рисовать.

Она следила за мной, насколько могла не меняя позы, — и неожиданно подняла руки к голове, выпула какую-то шпильку, и волосы каскадом рассыпались по плечам. Подбородок у нее слегка приподнялся, в глазах сверкнула гордость. Она была очень темной шатенкой, волосы струились густые, длинные, блестящие. Волосы были просто изумительны, да и сама она, безусловно, тоже.

Никто не заметил — кроме меня, потому что я ждал этого, — как тихонько открылась и закрылась дверь; краем глаза я увидел, что он остановился на пороге гостиной. Я заканчивал рисунок на окне, не пытаясь передать всю роскошь волос Джулии, а лишь приблизительно показывая их длину и тяжесть. Рисунок такого типа требует больше времени и больше практики, чем было у меня, так что вышел он, разумеется, неважно. Я отсту-

пил на шаг, оценивая свою работу, остальные толпились вокруг; в сущности все, что стоило сказать по этому поводу, — художник изобразил лицо девушки, привлекательной девушки с длинными волосами. Но — девушки вообще, не обязательно данной, хотя какое-то отдаленное сходство и было.

Однако Джулия долго, секунд пять-шесть, молчала и потом воскликнула — теперь несомненно искренне:

— О, как красиво! — Она повернулась ко мне, сияя от радости. — Я правда такая? Ну, конечно же, нет! Но как красиво... Господи, да у вас талант!..

Глаза у нее горели, она смотрела на меня с откровенным восхищением, даже с благоговением. И тут как раз, ненароком поглядев на дверь, она заметила его и слегка покраснела. Но голос не дрогнул, слова прозвучали совершенно естественно:

— Джейк, а у нас новый постоялец. И, кажется, очень талаптливый. Вот, взгляните...

— Под-ни-ми во-ло-сы, — сказал он сквозь зубы с одинаково жестким ударением на каждом слого.

— Но, Джейк, мы...

— Я сказал: подними волосы, — повторил он тихо, и Джулия послушно потянулась к волосам.

Я, как и все остальные, повернул голову к двери, а Пикеринг направился ко мне; карие его глазки не выражали ровным счетом ничего и устрашали, как пустой взгляд акулы. Он остановился прямо напротив меня, и мы в течение трех-четырех секунд молча взирали друг на друга. В комнате стояла тишина. Я был просто зачарован: вот он передо мной, человек, отправивший длинный голубой конверт.

Внезапно он улыбнулся, лицо осветилось дружелюбием, глаза стали теплыми и приветливыми — мгновенная трансформация, — и вот он уже протянул мне руку со словами:



— Меня зовут Джейкоб Пикеринг, я, как и вы, постоялец здесь...

С самым дружеским видом он энергично тряс мне руку и постепенно сжимал ее все сильнее и сильнее. Я улыбался ему не менее доброжелательно, а сам в свою очередь напрягал кисть как только мог. Здесь, в этой уютной комнате, мы вели борьбу, о которой никто и не подозревал; наши руки уже начинали слегка дрожать, а мы все улыбались друг другу; я назвал свое имя, наши сомкнутые пальцы, вероятно, уже побелели в суставах, а мы все продолжали медленно тряссти друг другу руки, словно позабыли остановиться. Наконец я достиг предела своих сил, но он — он был сильнее, и я почувствовал, как костяшки моих пальцев понемногу слипаются вместе. И тут рука моя бессильно разжалась у него в кулаке; усилием воли я удержал на лице улыбку, стиснув зубы, чтобы не вскрикнуть от боли — этого я позволить себе не хотел и не мог. Но когда мне уже казалось, что кости

пальцев вот-вот хрустнут, он неожиданно ослабил хватку; еще одно короткое варварское пожатие — и он, все так же дружески улыбаясь, кивнул в сторону моего рисунка на стекле.

— Вы действительно талантиливы, мистер Морли. Вне всякого сомнения.— Быстрыми шагами он подошел к окну.— Но надеюсь, что вы не поцарапали стекло мадам Хафф...

Склонившись к самому стеклу, он приблизил к нему губы и принялся оттаивать изморозь выдох за выдохом. Скоро талый круг стал величиной с тарелку, и от рисунка уцелели лишь разрозненные наружные штрихи.

— Нет,— сказал он, разглядывая чистое стекло,— к счастью, царапин нет.

Набросок на другом окне он удостоил лишь презрительным взглядом, затем повернулся к окнам спиной и послал нам общую улыбку.

— Мне это не понравилось, мистер Пикеринг,— сказала Джулия,— мне это совершенно не понравилось.— И обернулась ко мне. Глаза у нее светились, а руки все еще были заняты укладкой волос на затылке.— Быть может, вы сделаете с меня другой рисунок, мистер Морли? На бумаге, чтоб я могла сохранить его. Я охотно буду позировать вам в любое удобное для вас время...

Руку я спрятал в карман. Я знал, что она уже покраснела и начала распухать: болело сильно.

— С удовольствием, мисс Джулия. Буду очень рад нарисовать вас.— Я повернул голову и, глядя прямо на Пикеринга, закончил: — Я даже настаиваю, если угодно знать.

Он только усмехнулся — мне и всем остальным.

— Возможно, что я неправ,— сказал он, опуская взгляд в притворном раскаянии.— Иногда я... несколько стремителен в своих действиях.— Тут он поднял голову и посмотрел мне прямо в глаза.— Особенно когда дело касается моей невесты...

Тетя Ада, Мод, Байрон и Феликс вдруг заговорили все разом, стремясь замять, загладить досадный инцидент. Джулия поспешно вышла в столовую, а оттуда на кухню и занялась приготовлением чая. Байрон Доувермен бросил Пикерингу какую-то реплику, тот ответил ему. Потом мы пили чай, который Джулия внесла на большом деревянном подносе, болтали о том, о сем, выдерживая приличия, хотя ни я, ни Пикеринг не обращались друг к другу и старались друг на друга не смотреть. Потом все снова жали Феликсу руку и поздравляли его, выражая добрые чувства, и мы разошлись.

Наверху, у себя в комнате, расстегивая рубашку и глядя в пустую темноту Грэммерси-парка, я понял, что Рюб, Оскар, Данцигер, Эстергази, да и я сам совершенно упустили из виду ту элементарную истину, что жить среди людей — значит общаться с ними. Я получил строжайший наказ выступать наблюдателем, и только наблюдателем, никак не вмешиваться в события и уж, во всяком случае, не провоцировать их. Тем не менее именно это я и сделал. Быть может, теперь мне следовало бежать без оглядки? Потихоньку собрать вещи, украдкой спуститься по лестнице и удрать в «Дакоту», пока я не натворил еще каких-нибудь бед?

Но внутри у меня все кричало: «Четверг! Завтра четверг!..» Завтра, в «половине первого, — говорилось в записке, отправленной при мне Джейком Пикерингом, — соблаговолите прийти в парк ратуши». Мне необходимо было прийти туда, совершенно необходимо! Как-нибудь невидимо, ни во что больше не вмешиваясь, но я должен побывать там! «Всего-то еще один день, — уговаривал я себя, — даже полдня!» Уж на эти-то несколько часов смогу я выдержать роль нейтрального наблюдателя? Я поднял руку к окну и при слабом свете, отраженном от снега на улице, рассмотрел ее, поставив вторую рядом для сравнения. Правая рука распухла, костяшки всех четырех пальцев неприятно ныли. Пристально глядя на

руку, я слегка пошевелил ею, потом попытался сжать пальцы в кулак. Ничего не вышло, но, пока я напрягал мышцы, в сознании моем непроизвольно вспыхнула отчетливая картина, как этот самый кулак врежется Пикерингу прямо в зубы.

Я ухмыльнулся и опустил руку — и все-таки ощутил известную тревогу. Впрочем, не так уж трудно будет во все не встречаться утром с Пикерингом. Нужно просто не спускаться вниз, пока он не уйдет, а больше я его лицом к лицу никогда в жизни не увижу. Что касается Джулии — ну а что мне Джулия? Поразмыслив, я покачал головой — каким-то не поддающимся анализу образом я оказался связан и с ней. Однако это тоже не имело значения: мы люди разных эпох, и очень скоро я покину ее время.

Чтобы испытать себя, я подумал о Кейт и, стоя в темноте комнаты, подверг проверке свои чувства к ней. Ничто не изменилось. Я понял, что, как только вернусь, сразу же захочу ее увидеть; эта мысль принесла мне облегчение — я не мог понять, почему. Потом, отвернувшись от окна, я стянул рубашку через голову — она расстегивалась не до конца, — разделся и напялил ночную рубашу. Лежа в кровати, усмехнулся: ну и денек же выдался! Через минуту я заснул с убеждением, что совершаю, наверно, большую ошибку, оставаясь здесь, и что тем не менее останусь; мне надо, мне совершенно необходимо увидеть, что же произойдет в парке ратуши в половине первого в четверг 26 января 1882 года — завтра.

13

На следующее утро я завтракал один: остальные постояльцы уже ушли. Не вставая с постели, я прислушивался, отсчитывая про себя жильцов по мере того, как они спускались вниз — все в течение нескольких минут. Потом я оделся и, усевшись у окна, стал ждать, когда уйдет Джейк Пикеринг.

Убедившись в этом собственными глазами, я спустился в гостиную — она была подметена и прибрана — и мимоходом бросил взгляд на окна. Изморозь смыли вместе с моим наброском, и на стекле уже нарастала новая пленка инея. По пути в столовую я опять раздумывал, мыслимо ли было избежать вчерашней сцены, и пришел к выводу, что нет; при дневном свете происшедшее представлялось отнюдь не столь трагическим, как вчера ночью. Раз уже человек так ревнив, что даже случайный незнакомец может вызвать у него ярость, то он наверняка и раньше вытворял подобные номера и будет вытворять еще. В сущности я и не вмешивался в прошлое: что-нибудь похожее рано или поздно обязательно случилось бы, если не со мной, то с кем-нибудь другим.

Я сел за длинный обеденный стол, и тетя Ада, которая, надо думать, прислушивалась, когда же я спущусь, вышла ко мне из кухни. Она поздоровалась со мной очень мягко и приветливо, осведомилась, как я спал и доволен ли комнатой. Потом, все так же улыбаясь и, конечно, не желая меня обидеть, сообщила, что сегодня первый и по-

следний день, когда мне разрешается позавтракать после восьми; я ответил, что либо стану раньше вставать, либо обойдусь без завтрака.

На завтрак она подала отбивную, яичницу, поджаренные хлебцы с тремя сортами джема, кофе и свежий номер «Нью-Йорк таймс». Я благополучно добрался до хлебцев, кофе и рекламы тканей фирмы «Мак-Крири», когда сверху спустилась Джулия. Мы пожелали друг другу доброго утра, она прошла через столовую в кухню, потом вернулась. Сегодня волосы у нее были закручены в большой мягкий узел, и мне померещилось, хотя я и не мог бы поручиться, что она слегка нарядилась или по крайней мере напудрилась. Я довольно долго глядел на нее — и вдруг сообразил, что она одета для улицы, в великодушное платье из лилового бархата; юбка спереди была собрана фестонами и украшена у пояса сиреневым бантом не менее двадцати сантиметров шириной. И еще у платья был турнюр.

Если в моем описании это платье покажется вам нелепым, то смею заверить, что вы заблуждаетесь. Она была в нем просто неотразима, и сознаюсь — у меня буквально дух захватило, и я сказал себе, что, пожалуй, Джейк Пикеринг вчера вечером не так уж и заблуждался на мой счет. Однако при этом я позволил себе внутренне улыбнуться: свой интерес к Джулии я расценивал как чисто академический — через несколько часов меня здесь не станет, и все это потеряет для меня какое бы то ни было значение.

— Я вижу, вы просматриваете объявления, — сказала Джулия, наверно, для того, чтобы хоть что-нибудь сказать.

Я про себя уже принял решение убраться отсюда сразу после завтрака и ответил, чтобы хоть что-нибудь ответить:

— Да, нужно, пожалуй, немного приодеться.
Она просияла:

— Ну, во всем новом будет другое дело! Я обратила внимание, как мало вы привезли с собой.

Я не смог удержаться:

— Большая часть моего гардероба выглядела бы здесь несколько странно. Вы не могли бы посоветовать мне хороший магазин?

Джулия обогнула стол, подошла ко мне и начала листать газету, а я откинулся на спинку стула и наблюдал за ней. Движения ее были грациозны, быстрыми пальчиками она переворачивала страницы за уголки. Все объявления газета набирала на одну колонку, обыкновенным мелким шрифтом. Наконец Джулия сказала — ноготь ее коснулся нужной строки:

— Вот. У Мэйси имеется в продаже мужская одежда. Или вы можете пойти к Роджерсу Питу, — добавила она, поворачиваясь ко мне; лица наши оказались совсем-совсем рядом, и она поспешно выпрямилась. — У Пита совершенно новый и большой магазин, — она вернулась на другую сторону стола, — и вы там, без сомнения, найдете все, что вам нужно.

В голосе ее проскользнул холодок отчуждения, и я, кажется, понял, в чем дело: мужская одежда представлялась ей темой слишком интимной для длительного обсуждения.

— Окей, пойду к Роджерсу Питу, — сказал я; еще вчера вечером я подметил, что словечко «окей» уже в ходу. И поднял чашку, чтобы сделать последний глоток кофе и поставить точку на разговоре.

Но когда я поднимал чашку, Джулия увидела мою руку. Рука была уже не такая красная, как вчера, зато распухла еще больше, и у костяшки среднего пальца появился синяк. Джулия ничего не сказала, но, по-моему, прекрасно все поняла; вполне возможно, что Пикеринг проделывал это и раньше. Она вспыхнула, и, заглянув ей в глаза, я увидел, что она возмущена.

— А вы хоть знаете, где магазин Роджерса Пита? —

спросила она тихо, и мне ничего не оставалось, кроме как покаяться, что нет. — Это на углу Бродвея и Принс-стрит, напротив отеля «Метрополитен», но если вы никогда не бывали в Нью-Йорке, то где это, вы тоже не знаете...

Я действительно не знал, что за улица Принс-стрит, и в жизни не слышал про отель «Метрополитен».

— Ну, так я сейчас собираюсь на «Женскую милю» и возьму вас с собой.

Я затряс головой, лихорадочно выискивая повод для отказа — Джулия присмотрелась ко мне и мягко спросила:

— Вас тревожит Джейк?

— Да нет, но ведь он сказал — «невеста»...

— Сказал, — подтвердила Джулия, глядя мимо меня, — и раньше говорил... — Она подняла глаза. — А я ему говорила, что ничья я не невеста, пока сама не соглашусь ею стать, а до сих пор я согласия не давала. — Она повернулась в сторону гостиной. — Так вы идете?..

Я уже понял, что не скажу «нет», чтобы она не подумала, что я и в самом деле боюсь Джейка. Но если говорить «да», то так, чтобы оно звучало убедительно.

— Что за вопрос! — воскликнул я, припомнив, что и это выражение слышал вчера вечером неоднократно, и отправился к себе за шапкой и пальто.

Поднявшись в комнату, я достал из саквояжа маленький блокнот для эскизов и два карандаша — один твердый и один мягкий. Мимоходом поймал свое отражение в зеркале над комодом и глянул на собственное лицо. Оно горело от возбуждения, сияло довольством — чувства явно брали верх над рассудком, и я лишь пожал плечами: события подхватили меня и понесли по течению, и уж если я ничего не могу с собой поделать, то по крайней мере хоть получу удовольствие.

Джулия ждала меня в передней в цветастом капоре, завязанном лентами под подбородком, темно-зеленом пальто и короткой черной пелерине; маленькая пушистая

муфта висела, сдвинутая на кисть одной руки. Заслышав мои шаги, она взглянула в мою сторону и улыбнулась мне; она была восхитительна, и я поневоле вернул ей улыбку и восторженно покачал головой.

Боже милостивый, чего только Нью-Йорк не лишился за эти годы! Мы пошли на север к Двадцать третьей улице, потом повернули к Мэдисон-скверу. Для меня, человека, живущего и работающего в Нью-Йорке, Мэдисон-сквер никогда не значил ничего особенного: летом — иссушенное солнцем, устланное пожухлой травой уныние стандартных скамеек, заполненное лишь в полдень, когда служащие понуро жуют здесь свои бутерброды, а в остальное время пустынное, если не считать каких-нибудь древних стариков и старух; зимой — еще грязнее, еще заброшеннее, а ночью во все времена года Мэдисон-сквер — пространство, старательно избегаемое людьми, как и все другие нью-йоркские скверы и парки. Бесцветное, безрадостное место без какого-либо понятного назначения.

Но теперь я просто не смог удержаться от восторженного возгласа — сквер впереди радостно бурлил. Под зимними деревьями, под еще не потушенными газовыми фонарями собралось бесчисленное множество детей. Они были в странных, непривычных для меня зимних одеждах, но это были дети, они бегали, падали, кидались снежками, таскали друг друга на санках, с разбегу кидались на них животом. По аллеям ходили няньки, одетые словно сестры милосердия, толкая перед собой коляски на высоких колесах с деревянными спицами. А взрослые — взрослые прогуливались, просто прогуливались по скверу, по снегу, по морозу, будто пребывание на свежем воздухе было для них развлечением само по себе. Лаяли, бегали, прыгали, кувыркались собаки. И вокруг бурлящего сквера, наполненного жизнью и движением, невиданным парадом катились экипажи всевозможных расцветок и форм.

Скромных черненьких среди них не было совсем. Были

гуето-вишневые, сочно-оливковые, а одна роскошная карета сочетала в себе канареечно-желтый кузов и ослепительно черные колеса и крылья. Были экипажи закрытые и открытые, и Джулия назвала мне некоторые их разновидности: виктории, ландо пятиоконные и ландо обыкновенные, фэтоны, дрожки. Кучера были в ливреях, в блестящих цилиндрах, сверкающих сапогах и пальто с серебряными пуговицами — иные пальто по цвету точно соответствовали окраске экипажа. И позади карет — не одной, а довольно многих — восседали ливрейные лакеи, один, а то и два, скрестив руки на груди в величавом безделье.

А лошади, стройные, горячие, гарцевали, высоко вскидывая ноги и блистая упряжью; головы их были взнузданы высоко, спины выскоблены, гривы заплетены. Выезды, как правило, подбирались одной масти: вороные, гнедые, каурые, белые. А в самих экипажах сидели самые стильные, самые роскошные, самые притягательные женщины из всех, каких я когда-либо видел. Сделав несколько кругов возле Мэдисон-сквера, пояснила мне Джулия, они поедут по магазинам, растянувшимся вдоль «Женской мили» на юг то Бродвею. Нет, эти явно не принадлежали к числу тех, кто, чураясь взоров, откидывается на подушки, почти что прячется в своих дорогих автомобилях с непрямою одетыми шоферами. Эти сидели горделиво выпрямившись, эти смеялись, выставляли себя напоказ из-за сверкающих стекол, эти были царственны и абсолютно довольны собой...

И вообще все тут так не походило на Нью-Йорк, каким я его знал, что я улыбнулся Джулии и воскликнул: — Париж!..

Она тоже улыбнулась, лицо ее отразило мое волнение, и она ответила горделиво:

— Нет, это не Париж! Это Нью-Йорк!

— И далеко тянется «Женская миля»? — кивнул я в сторону Бродвея.

— До Восьмой улицы.— И Джулия продекламировала нараспев: — «Вниз от Восьмой я нажил капиталы, вверх от Восьмой их жена промотала...» Вот так и живет великий наш город — от Восьмой улицы вниз и от Восьмой улицы вверх!..

В двойном потоке экипажей появился просвет, я схватил Джулию за руку, мы перебежали Мэдисон-авеню и вошли в Мэдисон-сквер. И вдруг сквозь резко очерченные голые ветви деревьев я увидел на дальней стороне площади какое-то строение, или нет, не строение, что-то еще со странно знакомыми очертаниями. Я как взял Джулию за руку, так и не выпускал, а тут сразу остановился и непроизвольным рывком развернул ее к себе лицом. Она замерла, удивленная, и я замер, глядя вдаль во все глаза. Теперь я наконец понял, что вижу,— и это было невероятно.

Там, за дорожками, за спешащими людьми, за скамейками, за снегом и все еще горящими фонарями я видел то, чего там никак не могло быть — и что тем не менее было.

— Рука,— сказал я, как дурачок, и повторил, почти выкрикнул; какой-то прохожий даже оглянулся на меня: — Бог мой, рука статуи Свободы!..

На секунду я отвел взгляд в сторону — и ничуть не удивился бы, если бы за эту секунду она исчезла начисто, но нет, она стояла по-прежнему, весьма зримо и совершенно неправдоподобно: там, на западной стороне Мэдисон-сквера, среди деревьев, вздымалась вверх правая рука статуи Свободы, держащая факел.

Я не верил своим глазам. Я ускорил шаг, почти бежал, а Джулия семенила рядом, ухватив меня под руку, и никак не могла взять в толк, что же вызвало у меня такой интерес. Наконец, мы приблизились к ней, к гигантской руке, выраставшей из прямоугольного каменного основания, и я задрал голову, чтобы рассмотреть ее целиком. Я и не подозревал, что она так велика: она была

чудовищной, исполинское предплечье заканчивалось колоссальной сжатой кистью — каждый ноготь размером в газетный лист — и огромным медным факелом высотой с трехэтажный дом. И оттуда, сверху, перегнувшись через декоративную ограду, опоясывающую площадку вокруг пламени факела, на нас глядели крошечные люди.

— Статуя Свободы,— бормотал я с недоверием.— Рука статуи Свободы!..

— Ну да,— воскликнула Джулия, смеясь над моим удивлением и поражаясь ему.— Она здесь уже не первый день, ее привезли с Филадельфийской выставки*.— И Джулия в свою очередь окинула руку взглядом, но без особого интереса.— Говорят, со временем ее установят в бухте. Если, наконец, решат, в каком месте. И если умудрятся собрать необходимую сумму. Никто не хочет за это платить, так что некоторые считают, что ее вообще никогда не установят...

— Ну а я предсказываю, что установят! — заявил я пылко и необдуманно.— И, пожалуй, лучшее место для нее — остров Бедлоу!..

«Женская миля» производила впечатление: по тротуарам и у входов в большие сверкающие магазины толпились женщины — такие, каких мы видели на площади, чьи экипажи сейчас ожидали на мостовой, и попросте — женщины всех общественных положений и возрастов. Витрины, как правило, были низкие — нижний край сантиметрах в тридцати от земли, — огороженные полированными медными поручнями. Защита эта оказывалась совершенно необходимой: у иных витрин женщины глазели на выставленные товары, плечо к плечу, и едва одна по-

* Имеется в виду выставка 1876 года в честь столетия независимости Соединенных Штатов Америки. Именно там впервые экспонировался проект статуи Свободы работы французского скульптора Огюста Бартольди и изваянная первой правой ее рука. Сама статуя была закончена в 1881 году, но перевезена через океан и установлена на острове Бедлоу только в 1886 году.

ворачивалась, чтобы уйти, ее место немедленно занимала другая. Двигались мы медленно, да иначе и нельзя было в заполняющей тротуар толпе; жизнь на улице кипела просто фантастическая — мальчишки пробирались сквозь поток пешеходов, как рыбы против течения, и совали каждому встречному всякую рекламную ерунду, мужчины и женщины сновали туда-сюда или стояли в подъездах и тоже продавали любые мыслимые, а зачастую и немислимые товары. У перекрестка возле Юнион-сквера играл, как назвала его Джулия, «немецкий оркестр»: кларнет, труба, тромбон и еще каких-то два духовых инструмента. Играли они хорошо, по-настоящему хорошо, я бросил несколько монет в фетровую шляпу, лежавшую у ног одного из музыкантов, и повернулся к Джулии. Но она вдруг смирала меня странным взглядом и спросила:

— А как вы догадались, что это такое?

— О чем вы?

— О руке статуи Свободы.

На секунду я замешкался: действительно, как я догадался?

— Видел фотографию.

— Да? Где?

Действительно, где бы я мог ее видеть?

— В «Иллюстрированной газете Фрэнка Лесли». Просто я не сразу сообразил, что рука здесь, в Нью-Йорке.

Она кивнула, потом нахмурилась снова.

— Фотографию в газете?

— Ну конечно. Я уверен, что гравюра была сделана прямо с фотографии.

Теперь она была удовлетворена, и все же я на всякий случай решил сменить тему. У витрины фотоателье небольшая кучка людей разглядывала коричневатые снимки актеров и актрис в костюмах и трико, длинноволосых, усатых и бородатых политиков, писателей, поэтов, генералов времен гражданской войны. Но особое внимание привлекала большая увеличенная фотография, установлен-

ная на треноге,— рядом с треногой стояла ваза с маргаритками.

Лицо на фотографии показалось мне явно знакомым: молодой человек с непокрытой головой, длинными до плеч волосами и едва заметной улыбкой на губах. На нем было длинное зимнее пальто с большим воротником шалью и меховыми манжетами сантиметров в тридцать шириной, в руке он держал пару белых перчаток.

— Оскар Уайлд! — воскликнул я. Джулия сказала самодовольно:

— А я была на его лекции...

— Какой лекции?

— Ох, и чудак же вы! Я думала, все знают. Он же лекцию читал недели две назад в зале Чикеринг-холл.

— Оскар Уайлд читал здесь лекцию? И вы его слышали? О чем он говорил?

— Тема у него называлась «Английский ренессанс». Но боюсь, я слушала не так внимательно, как следовало бы. Джейк был раздражен чем-то, а я была раздражена им...

На углу Бликер-стрит Джулия остановилась под фонарем у края тротуара, где нас не толкали пешеходы, и показала вдаль, квартала за два, на новый дом из красного кирпича, сообщив, что это и есть магазин Роджерса Пита и что здесь она меня покинет, чтобы отправиться за своими покупками. Я не знал, удобно ли подать ей на прощанье руку, но все-таки подал, и она протянула мне свою.

— Джулия, — сказал я, — это была одна из самых приятных прогулок в моей жизни.

Она улыбнулась — мои слова показались ей, вероятно, ужасным преувеличением — и ответила, что ей тоже было приятно. При этом она улыбнулась еще очаровательней. Ощутив какое-то подобие близости, на мгновение возникшей между нами, я вдруг набрался смелости и спросил:

— Джулия, неужели вы серьезно думаете выйти замуж за Джейка?

Она пристально посмотрела на меня:

— А почему бы и нет?

По-видимому, она искренне удивилась самой постановке вопроса, но я никак не мог поверить этому.

— Ну, почему... Он слишком стар для вас. И толстый, и неинтересный. Наконец, просто смешной.

— Это вы смешной,— сказала она после долгой паузы.— Он мужчина хоть куда. И вовсе не старый. И, кроме того, сможет обеспечить семью.— Она протянула руку, положила ее мне на локоть и опять улыбнулась.— Женщина должна думать о таких вещах, чудак вы. Лучше прослыть расчетливой, чем остаться в старых девах...

Быстро повернувшись, она пошла вверх по Бродвею. Я стоял и смотрел ей вслед: во второй половине дня я придумаю какую-нибудь причину для отъезда, и мы распрощаемся, так что вполне можно считать, что это была последняя наша встреча. Раньше я, разумеется, полагал, что девушка в платье с турнюром — зрелище по меньшей мере нелепое, однако Джулия выглядела отнюдь не нелепой, а изящной, совершенно очаровательной, и вдруг я отдал себе отчет, что одежда на всех прохожих, спущающих мимо, включая даже блестящие цилиндры, уже не кажется мне странной.

Лилое платье мелькнуло в последний раз и исчезло в толпе.

До ратуши было не близко — кварталов десять-двадцать, но, хотя я шел не спеша, пришел я рано. Поднялся небольшой ветер, и стало слишком холодно для того, чтобы сидеть в парке и ждать, да я и не мог допустить, чтобы Пикеринг заметил меня. Надо было двигаться, однако я на несколько минут задержался подле маленького садика, глядя на здания ратуши и городского суда позади ратуши и поражаясь тому, что они точно такие же, какими я их знал. Насколько мне помнилось, весь парк выглядел точно так же, как в мое время, и я достал свой блокнот и зарисовал то, что вижу, чтобы потом сравнить. Я набро-

сал ратушу, сад, аллеи, скамейки и зимние деревья и, осмотрев собственный эскиз, решил, что вполне мог бы сделать его во второй половине двадцатого века.

Тогда я пририсовал несколько торопливых пешеходов и экипажи на улице — карету, очередь двухколесных пролеток, ожидающих пассажиров на углу Бродвея, большой желто-зеленый почтовый фургон, запряженный четверкой лошадей. Потом я посмотрел через парк в сторону Сентр-стрит и постарался припомнить, как все это выглядело, когда я был здесь последний раз, то есть как это будет выглядеть, когда автомобили вытеснят с улиц другие средства транспорта. И пририсовал на том же листке лимузины, огромные дизельные автобусы, грузовики, которым суждено со временем запрудить и Сентр-стрит и остальные улицы Нью-Йорка; я изобразил их все едущими в одну сторону, ко мне, словно они изгоняют со сцены повозки, запряженные лошадьми.

Я пошел дальше — это был деловой район в начале Бродвея, где мы уже проходили с Кейт; я пересек улицу и двинулся вдоль стены огромного нелепого почтамта, не забыв бросить взгляд наверх, на штандарт, реющий над куполом. Впереди, по ту сторону Эни-стрит, все прохожие поворачивали головы, чтобы заглянуть в какую-то двухметровую будку с двускатной крышей, похожую на будку для часового, только слишком узкую. Будка стояла на краю тротуара перед аптекой, и я мимоходом тоже заглянул туда. Оказалось, там установлен защищенный от ветра градусник, самый большой, какой я когда-либо видел. Он показывал семь градусов мороза, и я был доволен, что узнал точную температуру: почему-то погода интересовала меня сегодня гораздо больше, чем вчера или позавчера.

Теперь, при дневном свете, я обратил внимание на одну подробность, которой мы с Кейт не заметили в темноте: на невероятное количество телеграфных проводов. Полквартала я, словно деревенщина, пялился на сотни и

сотни черных проводов, протянувшихся по обе стороны улицы, пересекавших ее во всех направлениях,—невообразимая паутина, казалось, затмевала серое зимнее небо. Через каждые несколько метров из тротуара вырастали деревянные телеграфные столбы, некоторые из них — я даже остановился, чтобы пересчитать, —если до четырнадцати поперечин; к каждому столбу была прикреплена бирка, сообщавшая, какая из конкурирующих компаний его тут поставила.

Народу на улице толкалось тьма-тьмушая, преимущественно мужчины. Среди них, на мой взгляд, попадалось гораздо больше толстых и попросту тучных, чем мы привыкли встречать во второй половине нашего века. В толпе носились десятки мальчишек — почему они не в школе? — в форме посыльных; видимо, им отводилась роль нашего телефона. Были и совсем маленькие, не старше шести-семи лет, многие буквально в лохмотьях, с давненько не мытыми руками и лицами. Одни из них продавали газеты, утренние — «Геральд», «Таймс», «Трибюн» — и первые выпуски вечерних — «Дейли график», «Штатс дайтунг», «Телеграм», «Экспресс», «Пост»; продавались также газеты «Стандарт», «Бруклинский орел», «Весь мир» и многие другие, названия которых я просто не запомнил. Другие мальчишки промышляли чисткой ботинок — через плечо у них болтались на лямках ящики со щетками и гуталином. И у всех, даже у шестилетних, лица были хитрые, многоопытные, настороженные. «Да и какими же им быть, — подумал я, — есть-то хочется каждый день...»

Внезапно несколько мужчин, шагавших по тротуару вместе со мной, разом остановились, отошли к бровке мостовой, вытащили из карманов часы и, запрокинув головы, уставились на противоположную сторону улицы. Не успел я спросить себя, что бы это значило, как остановились и другие, — и вскоре вдоль Бродвея в обе стороны протянулись шеренги людей, замерших с часами в руках

и посматривающих то на циферблаты, то на крышу одного из самых высоких зданий.

Черепичная эта крыша представляла собой многоскатный комплекс башенок всевозможных размеров; в центре над ними расположилась самая высокая башня, квадратная, расписная, с огороженной у основания площадкой. С одной стороны на башне виднелся круг, а в нем надпись «Вестерн юнион телеграф К^о», и я заметил, что многие из телеграфных проводов берут начало на этой крыше. На самом верху башни торчала мачта, на ней трепетал по ветру американский флаг, а чуть ниже флага на мачту был насажен большой ярко-красный шар, видимый, вероятно, на много километров вокруг.

Я не ведал, чего и ждать, однако остановился вместе со всеми и тоже вытащил часы — они показывали без двух минут двенадцать. И вдруг по толпе прокатился шорох, красный шар скользнул по мачте вниз, и мужчина рядом со мной пробормотал: «Ровно полдень». Он осторожно подвел часы, и я сделал то же самое. Вокруг раздалось щелканье сотен закрываемых крышек, и сотни людей, выстроившихся вдоль Бродвея, разом повернулись и вновь превратились в поток пешеходов. Я не сдержал улыбки: мне понравилась эта маленькая церемония, на несколько секунд объединившая сотни незнакомых людей.

Где-то позади меня зазвенели куранты, и я увидел источник знакомой мелодии; неподалеку стоял мой старый друг — церковь Троицы. Перезвон на морозе был чистым и напевным, и я поспешил к ней. Пройдя десятка два шагов, я прислонился к телеграфному столбу и сделал быстрый набросок — позже я закончил его. Я неоднократно и раньше рисовал церковь Троицы, но впервые на моей памяти шпиль ее темнел на фоне неба, возвышаясь над всеми зданиями окрест. Вот мой набросок в окончательном виде; все на нем совершенно точно, не считая листвы, которую я пририсовал, чтобы оттенить прекрасные старые деревья. Так выглядел Бродвей, по которому я прошел:



вдали слева видно здание «Вестерн юнион» с мачтой, по которой только что скользнул вниз шар, отмечающий полдень.

Признаться, было у меня поползновение дорисовать призраки домов-гигантов, которые, придет день, окружают церковь Троицы, похоронив ее на дне узкого каньона. Но я как раз проходил мимо церковного портала, и четверопятеро слонявшихся неподалеку субъектов, мгновенно раскусив меня, закричали хором:

— Поднимитесь на колокольню, сэр! Самая высокая точка города! Отличный вид!..

В моем распоряжении еще оставалось какое-то время, и я кивнул тому из них, который, казалось, больше других нуждался в деньгах. Он повел меня внутрь и вверх, по крутым, завитым бесконечной спиралью каменным ступеням, мимо звонницы, а затем и самих колоколов, гудевших так оглушительно, что отдельных нот было просто не различить. Наконец мы добрались до верха — до деревянной площадки, подвешенной под узкими незастекленными окнами, и я выглянул наружу.

Небо было серо-стальным, воздух — прозрачным, так что любая деталь проступала, точно выгравированная. Глядя поверх низких крыш, я видел обе реки, Гудзон и Ист-Ривер; вода, особенно в Гудзоне, была морщинистая, свинцово-серая. Слева вдоль Саут-стрит высились сотни и сотни мачт; я видел паромы с большими колесами по бортам; видел шпили церквей, возносящиеся над городом, куда ни посмотри; видел поразительно много деревьев, особенно в западной стороне, и опять подумал о Париже; а внизу, под собой, я видел тротуары Бродвея, крошечные кружочки цилиндров на головах, чуть покачивающиеся и поблескивающие в чистом зимнем свете. Из другого окна я выглянул в сторону почтамта и ратуши. За ними к востоку на фоне неба резко вырисовывались свеже сложенные каменные башни, поддерживающие толстенные тросы, на которых со временем повиснет проезжая часть

Бруклинского моста; я видел рабочих, копошащихся на временных мостках высоко над рекой.

Это был действительно отличный вид на город с точки, которая в ту эпоху играла роль обзорной площадки «Эмпайр стейт билдинг» далекого будущего. «И ничего смешного в таком сравнении нет,— подумал я, разглядывая город внизу,— ведь сейчас колокольня, безусловно, самая высокая точка Нью-Йорка, как бы ни задавили ее впоследствии неимоверно более высокие здания. И если когда-нибудь мне доведется вновь подняться на девяносто с лишним этажей, чтобы окинуть взглядом пасмурный, задуманный смогом Нью-Йорк, и я сравню тот вид с этим — резко очерченным, более близким видом на не столь высокий, но куда более приятный город,— кому из нас смеяться тогда?»

Мне хотелось зарисовать раскрывшуюся передо мной панораму, однако даже самый грубый набросок потребовал бы нескольких часов, а мне уже надо было спешить. Спустившись вниз, я дал своему гиду четверть доллара, чему тот страшно обрадовался; потом я быстрыми шагами направился в сторону ратуши.

14

В двадцать четыре минуты первого я уже стоял у одного из окон на первом этаже почтамта и глядел через улицу на маленький зимний парк и на людей, снующих по его проложенным крест-накрест дорожкам,— и внезапно с новой силой почувствовал всю необычность происходящего. Прильнув к почерневшему от копоти стеклу, я

припомнил записку, которую видел когда-то в комнате Кейт, бумагу с пожелтевшими краями, рыжие от времени чернила. И встреча в сквере, о которой говорилось в этой записке, снова стала для меня легендой, происшествием, давно закончившимся и давно позабытым.

Неужели оно случится сейчас, у меня на глазах? Я просто не мог поверить, что так оно и будет. Через парк и мимо него все шли и шли неизвестные мне люди. Прямо передо мной и немного справа, на той стороне улицы Парк-роу, виднелось пятиэтажное здание «Нью-Йорк таймс». Рядом, стена к стене, поднимался еще один пятиэтажный каменный дом — ничем не примечательный, такой же точно, как «Таймс» и десятки ему подобных в этом районе, — со множеством узких высоких окон и узких вывесок под окнами. И с подъездом. Глаза мои скользнули к подъезду — там стоял Джейк Пикеринг.

Я-то его видел, однако из парка заметить его было нельзя. Он и старался остаться незамеченным, стоял, прижимаясь к стене, — сам подъезд был нишей, утопленной в фасаде. Пикеринг озирался по сторонам, осмотрел улицу, потом парк. Убедившись, видимо, что все в порядке, быстро вышел из подъезда, пересек тротуар, потом, ныряя между экипажами, перебежал Парк-роу и направился в парк. Добрался до центральной площадки, где сходились большинство дорожек, и опять встал, сдвинув цилиндр на затылок, расстегнув пальто, глубоко засунув руки в карманы брюк и самоуверенно закусив сигару.

Прошло пять минут. Я видел, как он дышит: на улице было холодно, и он сам почувствовал стужу и начал размеренно ходить взад-вперед, десять метров в одну сторону, десять в другую. Но пальто он не застегнул и не вынул ни рук из карманов, ни сигары изо рта. Время от времени он затягивался, сизый дымок смешивался с белым паром дыхания. Меня неожиданно осенило, что это поза — поза совершенно спокойного, уверенного в себе человека. И поза ему удавалась: и медленные шаги, и весь его облик

свидетельствовали о том, что он спокоен и доволен собой и вовсе даже не замечает холода.

Прошло еще пять минут — часы на ратуше показывали двенадцать тридцать пять. А когда я перевел взгляд с часов обратно на дорожки парка, тот, другой, уже находился в парке и торопливо шел с западной его стороны к центру. В руке, затянутой в перчатку, мелькнула голубая искорка, и я понял, что это конверт, отправленный Пикерингом, и что тот, другой, вытащил его как опознавательный знак. Давнее происшествие перестало быть давним; по спине у меня пробежал холодок — я присутствовал при его начале.

Пикеринг тоже увидел того, кого ждал, и пошел ему навстречу; грязное окно затуманилось от моего дыхания — я прижался слишком близко к стеклу и теперь поневоле вынужден был отодвинуться. Оба остановились лицом к лицу. Вновь пришедший спрятал конверт во внутренний карман пальто, Пикеринг вынул сигару из рта, и я увидел, как у него задвигалась борода — он заговорил, и как шевельнулась борода у второго — тот ответил. Издали они походили на двух чернобородых близнецов, столкнувшихся нос к носу: оба в блестящих цилиндрах, одеты почти одинаково, оба с характерными для своего времени осанистыми фигурами. Оба синхронно повернули головы, осматривая парк, и я едва поборол в себе желание пригнуться, чтобы меня не заметили. Потом Пикеринг показал куда-то пальцем, и они пошли паискосок через парк в мою сторону к скамейке, защищенной от ветра высоким каменным постаментом памятника. Когда они подошли к скамейке и сели, постамент почти скрыл их от меня — теперь я видел лишь колено и плечо одного из них.

Я должен был услышать, о чем они говорят, должен был во что бы то ни стало! Я выскочил из почтамта через задние двери, перебежал улицу, укрывшись за бортом телеги, нагруженной пивными бочками, и проскользнул в парк, к памятнику. Там я остановился, едва не касаясь по-

стамента спиной, и нахмурился, с раздраженным видом поглядывая вдоль дорожек, будто поджидая кого-то.

— ...никак не понимаю, почему, — донесся до меня рассудительный голос. — Мороз с каждой минутой все крепче, к тому же и ветер поднялся. В такую погоду в парке не сидят. Если у вас нет своей конторы, вон там через дорогу — гостиница «Астор». Пойдемте в бар — я вас угощаю...

— О, контора у меня есть, — ответил Пикеринг с довольным смешком. — Контора, конечно, так себе. Не то что ваша, держу пари. Но вы все равно хотели бы взглянуть на нее, не так ли? Однако чего не будет, того не будет. Пока не будет. Вы правы, в такую погоду люди в парке не сидят. Вот именно поэтому мы и останемся здесь: то, что я собираюсь вам сказать, не предназначено для посторонних ушей. Предмет нашего разговора — каррарский мрамор. Он-то и привел вас сюда. Несмотря на мороз. Вас, Эндрю Кармоди, достопочтенного миллионера...

— Он привел меня сюда, — сказал другой ровным голосом. — Но не для того, чтоб со мной играли в кошки-мышки. Так что оставьте остроты насчет достопочтенности при себе и скажите без промедления, что вам надо, иначе я встану и уйду — и будьте вы прокляты...

— Хорошо. Но вы должны понять меня — я достиг, наконец, того, на что потратил несколько лет труда, и сейчас наслаждаюсь своим небольшим триумфом...

— Чего вы хотите?

— Денег.

— Ну, разумеется. Кто их не хочет? Давайте ближе к делу.

— Пожалуйста. Сигару?

— Благодарю, предпочитаю свои.

Последовала пауза, потом я услышал, как чиркнула спичка, как запыхтели раскуриваемые сигары. Пикеринг прервал молчание.

— Я работаю в муниципалитете клерком низшей кате-

гории. Но я сам предпочел это место, сэр! Оставив ради него прилично оплачиваемую работу. А почему? Спрашивается, почему?

— Я вас ни о чем не спрашивал.— Слышно было, как Кармоди пососал сигару.— Однако продолжайте.

Пикеринг понизил голос:

— Причина носит фамилию Твид — вы удивлены? Он умер в тюрьме, «шайка Твида» * разгромлена и почти забыта. А ведь два-три года назад дня не проходило — помните? — чтобы в «Таймсе» не писали о «гнусных следах шайки Твида». Но кто украл у города больше тридцати миллионов? Только ли Твид? Суини, Коннолли, Оуки Холл? Нет, не только они. У Твида были сотни добровольных помощников, еще не разоблаченных, и каждый из них урвал свою долю добычи, большую или малую. Спрашивается, почему я провел два года на не подобающей джентльмену работе клерка-регистратора в муниципалитете? — Пикеринг понизил голос до совсем уже драматического шепота.— Потому что именно там сохранились эти «гнусные следы»!..

Я слушал с предельным вниманием, еле дыша, не пропуская ни слова. В то же время что-то меня подсознательно раздражало — и когда я сообразил, что именно, то невольно усмехнулся. В интонациях Пикеринга, в подборе слов и построении фраз было слишком много драматизма — порой он впадал в откровенную мелодраму. Мне кажется, все мы в общем-то склонны вести себя соответственно тому, чего, по нашему мнению, ждут от нас другие. И вот сейчас Пикеринг и Кармоди, оба играли свои роли,

* Реально существовавшая группа темных дельцов и продажных политиканов во главе с сенатором Уильямом Твидом, в конце 1860-х годов совершенно прибравшая к рукам нью-йоркский муниципалитет. Афера со строительством здания городского суда, о которой идет речь далее, также имела место в действительности: при сметной стоимости здания 250 тысяч долларов из городской казны было выкачано более 8 миллионов.

и это происходило в эпоху, когда мелодраматические условности на сцене воспринимались как отображающие действительность. Собеседники были смертельно серьезны, они взвешивали каждое свое слово — и все же, по-моему, попутно еще и анализировали свою игру.

— Эти «гнусные следы», — говорил Пикеринг, — пролегли через бесконечные ряды архивных шкафов. И я догадался, где они! — воскликнул он с гордостью. — Я понял, что мошеннические операции «шайки Твида» были столь широки и многообразны, что просто невозможно уничтожить все улики и доказательства. Я был убежден, что улики еще существуют, зарытые в ворохах старых бумаг, — лишь бы хватило сообразительности опознать их, когда они мне попадутся, и сложить разрозненные кусочки вместе наподобие китайской головоломки. Так я стал самым прилежным клерком муниципалитета...

— Весьма похвально. Если вы ищете место, обратитесь к моему управляющему.

Я услышал звук, который научился узнавать безошибочно: щелчок откинутой золотой крышки карманных часов, затем еще щелчок, чуть иного свойства, когда крышка захлопнулась.

— Да, вы деловой, вы занятый человек, — сказал Пикеринг. — И все же, мистер Кармоди, у вас нет ничего, решительно ничего важнее, чем выслушать меня. Сколько бы я ни говорил!.. — Пикеринг помолчал, потом продолжал спокойнее: — Месяц за месяцем я часами корпел в архивах, выискивая эти «гнусные следы» в пыли прошедших лет. Выискивая и прослеживая ниточки, теряя их и вновь находя дни и недели спустя среди десятков тысяч фальшивых накладных, аннулированных банковских чеков, подложных расписок, среди всевозможных сообщений, ведомостей и писем. И лучшее из того, что я нашел, сэр, я сберег, вынес из муниципалитета в целостности и сохранности! Бумажку за бумажкой — я прятал их в карман и относил в свою скромную контору во время обеденного перерыва.

Или отправлял в свой адрес по почте — и в долгие вечера, проведенные у письменного стола, изучал эти бумажки, анализировал их и составлял свои собственные архивы...

И все же большинство добытых мною сведений оказывалось совершенно ни к чему. Я собирал полные, неопровержимые улики, доказывающие самое бесстыдное мошенничество. А потом выяснялось, что негодяй умер месяц или два назад. Других виновников я и вовсе не сумел обнаружить: вероятно, переехали на Запад или в Канаду. Третьих я находил живыми и здоровыми, и не где-нибудь, а здесь, в Нью-Йорке. Но за эти годы они разорились дотла. А бывало и так, что, хотя собранные мной улики и давали ясную картину, они были тем не менее недостаточны. И окончательных доказательств я, как ни искал, найти не мог. Так что все эти «гнусные следы», мистер Кармоди, в конце концов обернулись считанными адресами. И главный «след» вел к одному ничем не примечательному в прошлом подрядчику, который получил деньги за доставку и установку каррарского мрамора в коридорах, залах и приемных городского суда. Тонны прекрасного каррарского мрамора, ввезенного из Италии, — так по крайней мере сказано в обнаруженных мной накладных и оформленных надлежащим образом таможенных квитанциях. А к ним в придачу есть еще и ведомости на уплату жалованья десяткам рабочих, с указанием фамилий и адресов, за длившуюся несколько недель работу по установке и отделке мраморной облицовки. Хотите взглянуть? Вот одна из накладных.

Зашуршала бумага, последовали две-три секунды молчания, и Кармоди сказал:

— Вижу.

— Да нет, сэр, оставьте себе. На память. У меня такого добра хватает...

— Не сомневаюсь, потому и возвращаю вам эту.

— Она мне не нужна. Вы думаете, я положу ее обратно в свой архив? А вы проследите за мной и узнаете, где

я его держу? Уверю вас, сэр, что теперь я вернусь в свою контору лишь один-единственный раз. С целью передать упомянутому подрядчику касающееся его досье целиком.

Пикеринг выждал паузу и продолжал, снова понизив голос:

— Ибо как ни скромны были, по меркам «шайки Твида», деньги, заработанные этим подрядчиком, они сделали его богачом. Он вложил их в нью-йоркскую недвижимость, и теперь, каких-то несколько лет спустя, у него миллионы. Миллионы! И жена, которая, как говорят, умеет выжать максимум удовольствий из каждого доллара — а их миллионы — и из того общества, куда эти миллионы открыли ей доступ. Если хотите, мистер Кармоди, давайте пройдем к зданию суда. — Пикеринг, я просто уверен, показал кивком в сторону суда позади ратуши. — И осмотрим его вместе с вами, зал за залом. Так, как в свое время осмотрел его я. Сидел в зале заседаний как зритель и искал глазами: где же мрамор? Или торчал в канцелярии в очереди за какой-нибудь ненужной справкой и все шарил, шарил глазами по стенам. Я осмотрел здание этаж за этажом, коридор за коридором, заглядывал даже в дворничьи и в клозеты. И если вы укажете мне во всем здании хотя бы один квадратный сантиметр поверхности, выложенный каррарским или каким-нибудь другим мрамором, тогда, подрядчик Кармоди, даю вам слово, что никогда вас больше не беспокою.

Последовавший затем вопрос был задан монотонно, без всякого выражения:

— Сколько вы хотите?

— Миллион долларов, — тихо сказал Пикеринг, и губы его, казалось, получили от этих слов чувственное наслаждение. — Ни центом больше, ни центом меньше. Этого мне хватит, чтобы последовать за вами по пути приумножения богатства.

— Ну что же, вероятно, ваше требование не лишено смысла. Когда?

— Сейчас же. В течение двадцати четырех часов. Не качайте головой, сэр! — зло выкрикнул Пикеринг. — У вас есть такие деньги, у вас есть гораздо больше!..

— Не наличными, идиот! — В голосе Кармоди кипела тихая ярость. — Да, у меня есть деньги. И я заплачу вам. Если вы покажете и передадите мне якобы имеющиеся у вас улики. Но все мои деньги вложены в недвижимость — все без остатка. У меня нет свободных наличных денег!

— Конечно, нет. Я и не ожидал, что они у вас есть. Но затруднение разрешается просто: продайте какую-то часть имущества.

— Это вовсе не так просто, — ответил Кармоди сквозь зубы. — Получить с моего имущества миллион именно сейчас не представляется возможным, хотите вы понять это или нет. Время во всех отношениях неподходящее. Деньги мои заморожены. В большой незаконченной квартире, где работы на зиму по необходимости прекращены, даже со штукатуркой и то надо ждать более теплой погоды. В десяти участках под коммерческие здания — но старые дома будут снесены опять-таки только весной. В закладных, верных как золотые слитки, а то и еще вернее, — но срски их еще не истекли. В пустых участках к северу от Сентрал-парка, ожидающих того часа, когда город разрастется до них. Иными словами, сэр, я разбросал свои ресурсы до предела. До опасного предела! Если бы я сейчас попытался получить под свое имущество миллион, мне не дали бы и десяти центов на доллар. Теперь вы осведомлены о состоянии моих дел лучше, чем кто бы то ни было на свете...

Воцарилось молчание; когда Кармоди заговорил снова, голос у него был совсем другой, тихий и сдержанный, едва ли не дружелюбный, словно, удостоив Пикеринга своим доверием, он теперь относился к нему почти как к равному.

— Сообщу вам секрет, о котором не догадывается ни

одна живая душа. Меня преследует страх умереть в течение ближайших месяцев — если бы столь печальное событие и вправду произошло, полагаю, что жена моя очень скоро осталась бы без гроша. Они накинулись бы на мое состояние как коршуны, разорвали бы его на куски, растащили бы во все стороны. Жена ничего не смыслит в финансах, да, кроме того, в таких обстоятельствах женщина юридически не имеет возможности действовать с надлежащей скоростью, компетентностью и рассудительностью. Я поставил на карту все, что имел, и скоро эта ставка начнет приносить проценты. Но в настоящий момент мои дела — без преувеличения — висят на волоске. Я не смею пынче отправиться в путешествие. Я боюсь заболеть хотя бы на неделю. Вы меня понимаете, сэр? Под гнетом ваших требований рухнет все здание. И все будет потеряно — абсолютно все. Подождите, — попросил он буквально дружеским тоном. — Призовите на помощь свое терпение, как вы это делали до сих пор, потерпите еще немного. А весной — не качайте головой, сэр! — повторил он восклицание Пикеринга, — весной я заплачу. Я сказал, что заплачу! Я заплачу вам больше, миллион с четвертью, но весной! Вы должны мне дать...

Пикеринг ответил довольным смешком.

— Ничего я вам не дам, ничего! О, вы удивительный человек! Вы, наверно, и сами себя убедили, что у вас нет выхода. Но я вижу вас насквозь — и дам вам срок до понедельника, не более. Я не могу ждать несколько месяцев, и вы знаете, почему. Неужели вы полагаете, что я этого не знаю? Вы полагаете, будто дружба между инспектором Бернсом и богачами нашего города не известна простым смертным? Да меня живо уpekли бы за решетку! Не знаю, по какому обвинению, но я попал бы туда наверняка, дай я вам только время на это...

Голос Кармоди зазвенел от бешенства!

— Вы еще вполне можете угодить туда! Я действительно знаком с инспектором Бернсом!.. — Возникла пауза

за, и за эти секунды Кармоди буквально проглотил свою ярость. — Время от времени я имел возможность оказывать ему небольшие услуги, так что предупреждаю вас...

— А я и не сомневался в этом. Все состоятельные люди в городе знакомы с инспектором Бернсом. Говорят, он разбогател благодаря одним только советам Джея Гулда, как играть на бирже. Но я с ним тоже знаком. Да будет вам известно, что меня однажды завернули от границ его вотчины на подходах к Уолл-стрит...

— Да неужели? — Кармоди рассмеялся грубо и зло.

— Вот именно завернули, — продолжал тихо Пикеринг. — Несколько лет назад, когда я сидел без работы и, следовательно, слегка пообносился, я шел однажды по Бродвею в сторону Уолл-стрит — я надеялся подыскать там работу клерка. Однако у граничной линии, что проходит по Фултон-стрит, меня остановил полицейский.

— И правильно сделал, если вы походили на карманника или на нищего. Все знают, что Бернс не позволяет этой публике появляться в районе Уолл-стрит — и хорошо, что не позволяет...

— Но я-то не был ни карманником, ни нищим! Так я и сказал полицейскому. Тот был еще молодой и вроде стал меня слушать. Как вдруг раздался голос из кареты, стоявшей у обочины. Мы повернулись туда — из окошка торчала голова Бернса. «Он что, препирается? Забирай его!», — приказал инспектор, и полицейский потянулся за дубинкой, а я повернулся и пошел восвояси. Не улыбайтесь! Этот инцидент обойдется вам в миллион! Я повернулся, мистер Кармоди, но лицо мое было белее мела, и глаза застилала пелена — я едва ли видел что-нибудь перед собой. Тогда я и решил, раз и навсегда, что будет день — я приду обратно к этой граничной линии, и полицейские будут козырять мне. Решил, что место мое — на той стороне линии, там, где Фиск и Гулд, Сейджес и Астор. Именно в тот день, хоть я этого и не знал тогда, я начал разыскивать вас...

Голос Пикеринга внезапно стал глуше; я понял, что он поднялся и, вероятно, повернулся к Кармоди лицом.

— Я вовсе не профан в финансовых делах, что бы вы там ни думали. Вам, безусловно, потребуется несколько дней, чтобы заручиться необходимой суммой. Сегодня четверг, и я даю вам срок до конца понедельника — это два с половиной деловых дня. Три, если считать субботнее утро. Приходите сюда в понедельник. К этой самой скамейке. В полночь, мистер Кармоди, когда парк и улицы вокруг пустыньны,— я хочу быть уверенным, что за нами никто не следит. И прихватите с собой саквояж с деньгами, иначе я разоблачу вас. Я и часа больше ждать не стану. Часа мне с избытком хватит на то, чтобы оказаться в редакции «Таймс»,— еще одна короткая пауза, и я представил себе, как он показывает на здание на другой стороне улицы,— со всеми своими документами...

Молчание длилось шесть, восемь, десять, двенадцать секунд; я понял, что их уже нет, обогнул постамент и вышел на дорожку к самой скамейке. Они быстро шагали прочь из парка — один на восток, другой на север, к зданию городского суда,— а я стоял и смотрел им вслед, убежденный, что ни тот, ни другой не оглянется.

15

«Конечно,— подумал я,— совершенно не обязательно, чтобы контора Пикеринга находилась именно в том доме, откуда он на моих глазах вышел, но ведь это не исключается...» Я пересек Парк-роу и, приостановившись, бегло осмотрел здание. Никаких особых примет: обыкновен-

ный, много выдавший дом с плоской крышей, витринами на первом этаже и четырьмя одинаковыми рядами узких, тесно расположенных окон. Витрины были забрызганы грязью, нижние их половинки защищены ржавыми железными решетками, а рваные, выцветшие полотняные навесы над витринами прикручены к стене. Таких невзрачных зданий в нижней части Манхэттена немало сохранилось и поныне.

Впечатление все это производило удручающее. В витринах «Нью-Йорк белтинг энд пакинг К^о» лежали груды серых картонных коробок и рулоны кожаных приводных ремней; рядом помещалась запущенная лавчонка канцелярских принадлежностей под вывеской «Вилли Валлах». В другой витрине беспорядочно громоздились большие стеклянные бутылки в решетчатых ящиках с этикетками «Польская вода» — что это за невидаль, хотел бы я знать; на стекле витрины проступало: «Оуэн Хатчинсон, посредник». Еще были «С. Грюн, портной», «Родригес и Понс, поставщики сигар» и уж не ведаю, кто и что еще.

Под окнами верхних этажей тут и там висели длинные узкие вывески, наклоненные вниз под углом к стене, чтобы их могли разобрать прохожие. По длине вывески различались в самых широких пределах — длина зависела, вероятно, от числа окон, каким располагала данная контора. Среди вывесок попадалось немало редакционных: «Скоттиш Америкэн» — под несколькими окнами четвертого этажа, рядом — «Удобрения, поля, фермы», чуть подалее — «Оптовик». Под окнами третьего этажа я заметил «Сайнтифик Америкэн», а у дальнего конца того же этажа была вывеска, по которой я скользнул глазами так же мимолетно, как и по всем остальным, но которую впоследствии — я не преувеличиваю, — не раз видел в кошмарных снах, да и до сих пор вижу. Эта вывеска гласила: «Нью-Йорк обсервер».

Я поднялся по нескольким деревянным ступенькам, явно нуждающимся в покраске, толкнул тяжелые застек-

ленные двери и попал в вестибюль, освещенный лишь тем светом, что проникал с улицы. Годы изрядно потрепали здание — изнутри его старость буквально лезла в глаза, да никто и не пытался скрыть ее. Деревянные половицы, уходящие в мрачные глубины первого этажа, были истерты — поблескивали шляпки гвоздей, — заляпаны грязью, табачными плевками, окурками сигар и навечно втоптаным мусором. Деревянная лестница слева находилась не в лучшем состоянии. На темно-зеленой оштукатуренной стене, заплатанной какими-то грязно-белыми пятнами, висел список арендаторов; еще один список красовался на стене у лестницы. В обоих отдельные фамилии были некогда начертаны с профессиональным мастерством, но теперь они выцвели, а местами и вытерлись; более поздние строчки были вписаны куда небрежнее, а одна просто нацарапана карандашом. Однако Джейк Пикеринг не значился ни в одном списке.

Следом за мной вошли и поднялись наверх по лестнице какой-то мужчина, за ним мальчик-рассыльный; из мрака первого этажа слышались чьи-то шаги. Наконец сверху спустился человек средних лет — а может, борода у него преждевременно поседела? — и я обратился к нему:

— Есть здесь где-нибудь управляющий домом?

— Ха! — ответил он коротким лающим смешком. — Управляющий! В доме Поттера! Нет, сэр, здесь нет ни управляющего, ни конторы для такового. Есть только дворник...

Тогда я спросил, где найти дворника, и он сказал:

— Вот вопрос, который задают многие, но на который редко удается получить сколько-нибудь вразумительный ответ. У него есть берлога, конура под лестницей в подъезде, выходящем на Нассау-стрит. Иногда его можно там поймать. Вон идет Эллен Булл, — он ткнул пальцем в глубину здания, и я заметил поодаль смутные очертания массивной фигуры. — Она вам покажет.

В ответ на мое «спасибо» он добавил:

— Если вы все-таки найдете его, что весьма сомнительно, то скажите ему, сделайте милость, что доктор Прайм из «Обсервера» еще раз напоминает относительно излишне высокой температуры в отделах...

Он дружески улыбнулся мне, кивнул на прощание и протиснулся сквозь двери на улицу. Я двинулся навстречу Эллен Булл и обнаружил очень высокую и крупную негротянку весом, пожалуй, килограммов под сто; голова у нее была повязана цветным платком, а в руках она держала пустое ведро и швабру. Закуток дворника, сообщила она, находится на Нассау-стрит как раз под лестницей, ведущей в подвал. Я поблагодарил ее, и она ответила белозубой улыбкой, сверкнувшей во мраке; выглядела она лет на сорок пять, и у меня мелькнула мысль, что в молодости она, верно, была рабыней.

В подъезде на Нассау-стрит, под идущим вверх лестничным пролетом, другая лестница, поуже, вела в подвал. Я подошел к ней и заглянул вниз — там была крошечная тьма. Откуда-то сверху доносилось нудное визжание пилы и противный, многократно повторяющийся писк — кто-то выдергивал крепко загнанные гвозди.

— Эй! Есть там кто-нибудь? — крикнул я в темноту подвала.

Молчание — да я бы искренне удивился, если бы кто-нибудь отозвался. Я спустился на полпролета, но не дальше: в мои намерения вовсе не входило пробираться ощупью в темноте, рискуя сломать ногу. Я приложил ладони рупором ко рту и снова крикнул. Снова молчание.

— Да есть там кто-нибудь внизу?.. — закричал я в третий раз во все горло.

На сей раз в глубине подвала что-то мяукнуло. Я поднялся обратно в вестибюль, подождал и наконец различил шаркающие шаги. Из темноты, придерживаясь рукой за перила, медленно появился тощий старик. Сперва я увидел одну только лысую маковку, потом снизу вверх на меня глянули прищуренные голубые глаза — им, думаю, не по-

вредили бы очки; затем показались широкие зеленые помочи и белая рубаша, и наконец он поднялся из темноты целиком. Колени у него сгибались и разгибались с трудом, брюки в поясе были слишком широки и почти не прикасались к старческому телу.

Пока он преодолевал последние ступеньки, я передал ему сообщение мистера Прайма.

— Знаю, знаю. Все жалуются. И вправду слишком жарко.

Он достиг уровня вестибюля, отдышался и кивком показал на оштукатуренную стену:

— Пощупайте.— Я пощупал: штукатурка оказалась почти горячей.— Здесь дымоход, а мы в последние дни только и делаем, что жжем доски.— Он закатил глаза наверх, туда, откуда слышался скрежет и писк.— Прорезают шахту для лифта, так хозяин сжигает старые перекрытия. Экономит уголь...

Я выслушал его, поддакивая, и сказал, что ищу арендатора по имени Джейкоб Пикеринг. Он вздохнул.

— Ну, а вы на что жалуетесь, мистер Пикеринг? Если вам слишком жарко, то я ничего...

— Я не Пикеринг — я ищу его. Где его контора?

Но старика это вовсе не устроило: он закачал головой и вознамерился вернуться к себе в подвал.

— Не знаю. Откуда мне знать? Старых арендаторов — тех знаю, я их всех знал, куда здесь газета была. Теперь газеты нету, и дом покатился куда-то в тартарары. Дом Поттера — вот что это теперь такое, — пояснил он презрительно. — Все старые арендаторы уходят, как только истечет срок аренды. Теперь тут всякие залетные. Приходят и уходят, иные даже комнаты пересдают и не говорят ни мне, ни мистеру Поттеру. Как же мне уследить за ними? Вы наверно были?

Я ответил, что нет, и он опять закачал головой, видимо, от невозможности описать, что там творится.

— Крольчатник! Разгорожено все на малюсенькие кле-

тушки с фанерными стенками — плевком прошибить можно! Откуда мне знать, кто там теперь расположился?..

На секунду я растерялся, потом сообразил:

— Как же они почти получают, если вы не знаете, кто где сидит?

— Да вот, обхожусь кое-как, — пробормотал он, опустив голову и занеся ногу над ступенькой подвальной лестницы.

— Не сомневаюсь, но как?

Теперь я его припер — пришлось ему остановиться, обернуться ко мне и признаться:

— Да книга у меня...

Я и ожидал чего-то в этом роде.

— И где же она?

— Внизу, — сказал он раздраженно. — Где-то там внизу, я точно не помню...

Я сунул руку в карман.

— Понимаю, что беспокою вас... — Я нащупал четверть доллара и, напомним себе, что это гораздо больше, чем старик зарабатывает за час, протянул ему монету. — Но буду очень вам признателен...

— Сразу видно, что вы джентльмен, сэр. Рад помочь, чем смогу. Это займет ровно одну минуту.

Заняло это значительно больше минуты, но вернулся он с блокнотом. Обложка у блокнота была покороблена, страницы растрепаны, а в уголке, сквозь пробитую насквозь дыру, продета грязная, завязанная петлей бечевка. Старик раскрыл блокнот и стал просматривать страничку за страничкой, слюнявя пальцы.

— Вот он, ваш Пикеринг. Третий этаж, комната 27. Это прямо наверху, рядом с новой шахтой. Мимо не пройдете...

Я поднялся по лестнице. На втором этаже дверь комнаты рядом с лестничной клеткой была приоткрыта — именно оттуда и исходили истошный звук пилы и визг вытягиваемых гвоздей. Я подошел поближе и заглянул

внутри. Два плотника в белых халатах работали, стоя на коленях спиной ко мне. Один пилил на части доски пола, и отпиленные куски, а за ними и ошметки поддерживающих брусьев падали вниз, в подвал, где старому дворнику, несомненно, и не оставалось ничего другого, как только подбирать их и сжигать. Второй плотник методически отдираал гвоздодером концы досок, прибитые к балкам, и тоже отправлял их вниз. У противоположной от меня стены пола уже не оставалось совсем, виднелись лишь толстые балки перекрытия, которые потом, судя по всему, тоже перепилят и сожгут.

Этажом выше тяжелая филенчатая дверь непосредственно над плотниками была закрыта на огромный новенький висячий замок, и поперек нее шла красная надпись: «Осторожно! Не входить! Шахта!» На соседней двери значился номер 27. Она оказалась заперта; я приложил ухо к дверной щели, потом осторожно попробовал ручку — не поддается. Кругом не было ни души. Я быстро стал на одно колено и заглянул в замочную скважину. Прямо перед собой я увидел высокое грязное окно, через которое в комнату пробивался серенький свет зимнего дня; под окном стояли секретер с опущенной крышкой и стул. Слева я не мог разглядеть ничего: возле самой двери торчало что-то загораживающее обзор. Справа виднелся край дверного проема, ведущего, вероятно, в само помещение, которое снаружи закрыли на висячий замок. Дверной проем был заколочен крест-накрест досками; похоже, что плотники, прорезающие шахту, поднимались вверх этаж за этажом, с тем чтобы по мере удаления перекрытий сбрасывать их вниз.

Я выяснил все, что собирался, да, пожалуй, и вообще все, что следовало выяснить о конторе Джейка Пикеринга. С полминуты еще я постоял в коридоре просто так, пока не слышал чьи-то шаги на лестнице. Мне не хотелось уходить, и я знал, почему: моя миссия была закончена, а я хотел бы, чтобы она продолжалась.

Я зашел перекусить в гостиницу «Астор», о которой упомянул Кармоди,— по диагонали от почтамта на другой стороне Бродвея. Войдя в вестибюль, я чуть было сразу же не повернул обратно: мраморный пол был залит — буквально залит — «табачным соком», как его называли. Пока я стоял у входа и озирался, за какие-то четыре-пять секунд не менее десятка мужчин с заложенным за щеку табаком сплюнули свою жвачку; некоторые вообще не удосуживались взглянуть, куда плюют. Стараясь думать о чем-нибудь другом, я прошел через вестибюль в огромную, невероятно шумную закусочную с крупной надписью в дубовой рамке на стене: «Просьба не выражаться». Заказал я две дюжины устриц, выловленных поутру в нью-йоркской бухте, они оказались отменными, и теперь я не жалел, что заглянул сюда.

На улицу Грэмерси-парк я вернулся надземкой. Тетя Ада услышала, как открылась входная дверь, и вышла из кухни с руками, по локоть выпачканными мукой. Я спросил, вернулась ли Джулия, она ответила, что нет, но, вероятно, вот-вот вернется, и я, поблагодарив ее, поднялся к себе в комнату.

День я провел насыщенный, а уж пешком находился, как давно не случалось, и я с удовольствием растянулся на кровати во весь рост. По временам ко мне долетали крики играющих в парке детей и уже хорошо знакомые цокот лошадиных копыт и позвякивание упряжи. Мне не хотелось уходить из этого Нью-Йорка: сколько еще интересного я мог бы увидеть в этом странном — и все-таки не чужом городе...

Конечно же, я заснул и проснулся только тогда, когда пришла Джулия,— до меня донеслись голоса ее и тети Ады из передней. Я быстро встал и вытащил часы: было чуть больше половины пятого. Надев ботинки и пиджак, я вприпрыжку спустился вниз — они стояли в передней, и Джулия, еще в пальто, демонстрировала тетушке свои покупки.

Мы все вместе прошли в гостиную. Джулия на ходу развязывала ленты капора, а я поведал им историю, которую только что сочинил, — и поразился чувству вины, возникшему от того, что вынужден лгать двум этим доверчивым женщинам в глаза. Я сообщил, что зашел на почтамт с целью отказаться от личного номерного ящика, который снял, когда не имел постоянного адреса, и обнаружил в ящике срочное письмо. Оказывается, заболел мой брат, и, пока он не выздоровеет, меня просят приехать помочь отцу на ферме, так что придется сегодня же — прямо сейчас — отправиться в путь. Я вдруг испугался, что мне начнут задавать какие-нибудь сельскохозяйственные вопросы, но, конечно, ничего такого не случилось. Добрые женщины от души посочувствовали мне. И даже добавили, что сожалеют о моем отъезде; думается, это тоже было сказано искренне. Тетя Ада предложила мне подождать до ужина, но я ответил — нет, нужно ехать сразу, предстоит дальняя дорога поездом. Тогда она попыталась вернуть мне часть уплаченных вперед за неделю, но не использованных денег — я отказался. И тут Джулия, внезапно вспомнив, воскликнула:

— А мой портрет?..

Я совсем уже забыл о нем и, глядя на нее, искал повода, чтобы отказаться. Но неожиданно для себя понял, что не хочу никакого повода. Наоборот, я хочу сделать портрет, это будет отличный прощальный подарок. Я кивнул и сказал, что если она сможет позировать прямо сейчас — мне не хотелось встречаться с Джейком, — то я нарисую ее, а потом уеду. Джулия поспешила наверх, привести себя в порядок — я попросил ее остаться в этом же платье, — а я последовал за ней, чтобы взять блокнот для эскизов из кармана пальто.

Поднявшись к себе, я уложил саквояж, обвел комнату взглядом — пусть это смешно, но я понимал, что буду скучать по ней, — и вышел с саквояжем в одной руке и блокнотом в другой. На площадке я откинул обложку, ре-

шив просмотреть сделанные за день наброски. И только я повернулся, чтобы спуститься вниз, как с лесенки, ведущей на третий этаж, сбегала Джулия и чуть не столкнулась со мной; волосы она сейчас подняла и уложила на затылке.

— Ой, дайте посмотреть!..

Она протянула руку за блокнотом. Конечно, я мог бы как-нибудь отвертеться, но мне было любопытно, что она скажет, и я отдал ей свои эскизы. Сперва, еще на лестнице, она взглянула на зарисовки ферм возле «Дакоты»; вернее, это были даже не зарисовки, а как бы тезисы для последующей работы, и она, не комментируя, перевернула страницу и увидела набросок парка ратуши и окружающих улиц.

Думаю, что ее реакцию я мог бы и предугадать; ведь она жила в век абсолютной, почти молитвенной веры в прогресс, веры в технику и ее неограниченные возможности. Мы уже спустились вниз, и она остановилась посреди гостиной с вопросом:

— А это что такое, мистер Морли?

Ноготь ее коснулся лимузинов и грузовиков, которые я пририсовал на проезжей части Сентр-стрит.

— Автомобили.

Медленно, раздельно, будто это два слова, она повторила:

— Авто-мобили.— Поразмыслила и кивнула, довольная: — Ну, конечно, «самоходы»! Хорошее словечко. Вы его сами придумали?

Я ответил, что нет, где-то слышал, а она опять кивнула:

— У Жюля Верна, скорее всего. В любом случае я совершенно уверена, что со временем у нас действительно появятся авто-мобили. И очень хорошо: по крайней мере они будут чище, чем лошади...

Перевернув еще страницу, она посмотрела на мой набросок церкви Троицы и Бродвея. Прежде чем она успела

сказать хоть слово, я взял у нее блокнот и быстро пририсовал огромные здания, которые в будущем совсем задавят маленькую церковь. Потом я вернул рисунок Джулии, и, рассмотрев его, она кивнула опять:

— Замечательно. В высшей степени символично. Придет время, и самую высокую на всем Манхэттене постройку окружают другие, гораздо более высокие. Несомненно так. Но вы, мистер Морли, художник все-таки лучший, чем архитектор. Да чтобы удержать дома такой высоты, кладка у основания стен должна быть в полкилометра толщиной!..— Она улыбнулась и вернула мне блокнот.— Куда прикажете сесть?

Я посадил ее у окна, повернул в три четверти и попросил распустить волосы; работал я остро отточенным твердым карандашом, чтобы выписывать каждую линию как можно тщательнее, не скрывая недостатки рисунка за грубым штрихом. Кроме того, твердый карандаш позволял гораздо тоньше наносить тени.

Выходило неплохо. Я правильно уловил овал лица, очертания глаз и бровей — обычно это для меня самое трудное — и принялся старательно выводить волосы: мне хотелось передать их точно такими, как они есть. Но времени я тратил много; вот уже и Феликс Грир вернулся домой. Я вытащил из кармана часы — почти пять. Феликс молча постоял рядом и, когда я поднял на него взгляд, одобрил мою работу быстрым вежливым кивком, но глаза у него были встревоженные, и я понимал, почему. Я и сам ощущал тревогу — с минуты на минуту явится Джейк Пикеринг и опять устроит скандал, а причинять людям постоянные неприятности в мое задание никак не входило. Я прибавил скорость, но старался держать себя в руках: я по-прежнему хотел, чтобы портрет получился хорошим. Все-таки маловероятно, чтобы Джейк добрался домой из муниципалитета раньше шести или в крайнем случае половины шестого, а мне на то, чтобы закончить и уйти, хватит теперь буквально пяти минут...

Конечно, я совершил непростительную ошибку, упустив из виду обстоятельство, разумевшееся само собой: что такой человек, как Джейк Пикеринг, ненавидящий свою работу и свое положение клерка, после свидания с Кармоди немедленно вернется в муниципалитет и возьмет расчет. И вот — на сей раз я не видел, как он подошел к дому, — входная дверь открылась, закрылась, и он, как вчера, стоял на пороге гостиной. Но сегодня он слегка покачивался, и галстук у него съехал вниз. Пальто по обыкновению было расстегнуто, руки засунуты в карманы брюк, а шляпа сдвинута на затылок, но при этом еще и выпачкана в грязи.

Если он и потерял контроль над собой, то лишь отчасти: он был пьян, но вполне способен соображать, что происходит. И Джулия и я безмолвно уставились на него, а он переводил взгляд с ее лица на рисунок, с рисунка на ее лицо и обратно. Жили на земле некогда племена, которые не позволяли придавать изображению сходство с собой — они опасались, что оно отберет себе часть их души. Может статься, что и Джейк, не понимая этого и не догадываясь об этом, испытывал подобное же подсознательное чувство. Потому что его выводил из равновесия сам факт, что я рисовал Джулию, словно, по его мнению, мои глаза на ее лице и движения карандаша, воспроизводящего ее портрет, составляли предел интимности. Впрочем, пожалуй, эта гипербола не лишена оснований. Так или иначе, ситуация создалась для него невыносимая; его обуревала даже не злость, а нечто за пределами мышления — неистовая, всепоглощающая ярость. Он вытянул руку и, по-звериному оскалив зубы, показал на меня пальцем; вероятно, просто не существовало слов, чтобы выразить то, что он чувствовал. Потом рука его описала небольшую дугу, и палец переместился на Джулию. Шея у него, казалось, вспухла от напряжения, а голос, когда он наконец заговорил, звучал так хрипло, что с трудом различались слова.

— Погодите. Оставайтесь здесь. Погодите. Я вам покажу...

Потом, почти проворно и не качаясь, он круто повернулся и ушел обратно на улицу, хлопнув наружной дверью.

Я закончил портрет; в самом деле, теперь-то мне терять было нечего. Когда за Джейком захлопнулась дверь, я посмотрел на Джулию и даже рот приоткрыл, чтобы сказать что-нибудь, но потом просто пожал плечами. Да и что я мог сказать — разве только «Ну и ну» или другую какую-нибудь бессмыслицу. А Джулия выжала из себя улыбку и тоже передернула плечами, но лицо ее побелело как полотно — и оставалось белым. Что послужило причиной тому — неожиданность, возмущение, страх, — не знаю. Но она была еще и своевольна, и оставшиеся десять минут позировала, упрямо приподняв подбородок.

Как бы там и что бы там ни случилось, а портрет удался. Пришли остальные жильцы: Байрон Доувермен, за ним Мод Торренс; оба задержались на секунду, чтобы взглянуть на мою работу и похвалить ее. Из кухни появилась тетя Ада с сообщением, что кушать будет подано через пять минут. Она тоже полюбовалась рисунком и, раз уж я все равно задержался, настояла, чтобы я поужинал. Пришлось согласиться, чтобы не подумали, будто я убегаю от Джейка, оставляя Джулию объясняться с ним один на один; все, что мог, я уже натворил. Я готов признать, что немного трусил — бог весть, чего еще ждать от этого типа, — но трусил не без одновременного любопытства. Джулии портрет тоже понравился — она подняла на меня глаза и попросила надписать ей его на память. Доставая карандаш из кармана, я ломал голову над текстом: не мог же я просто расписаться и точка. «А, — решил я в конце концов, — семь бед — один ответ». И написал: «Джулии, с искренней симпатией и восхищением», — а про себя добавил: «И пропади ты, Джейк, пропадом». И поставил подпись.



За два дня, что я провел здесь, я почти не вспоминал ни о Рюбе Прайене, ни о докторе Данцигере, ни об Оскаре Россофе, ни о полковнике Эстергази, ни даже о проекте как таковом; они застыли где-то в глубине моего сознания далекими неподвижными точками, словно я смотрел на них в перевернутый телескоп. Однако за ужином они постепенно вновь обрели реальность: что они все подумают, выслушав мой рассказ? Что я нарушал естественный ход событий, вмешивался в них с недопустимой бестактностью? Вероятно, да; и, возможно, они даже будут правы, но я все равно не представлял себе, как можно было чего-нибудь избежать. За ужином говорили в основном о Гито и чуть-чуть о погоде, но меня это уже не интересовало. Для меня Гито вновь становился не более чем именем в старой книге — осужденный, казненный, давно забытый, кому он нужен в том мире, куда я готовился вернуться? Я механически ел, старался казаться заинтересованным, отвечал, когда ко мне обращались. Но по мере того как проект и связанные с ним люди вновь занимали в моих мыслях свои законные места, я все более и более отдалялся от этой эпохи и от этого дома.

Меня рывком вернули назад. Мы доедали ужин и не слышали, как открылась дверь на улицу — только по ногам вдруг пахнуло холодом. Я увидел, как Джулия, ее тетушка и Феликс, сидевшие напротив меня, уставились в гостиную не мигая, и обернулся одновременно с Байроном и Мод.

Он стоял посреди комнаты, под самой люстрой, вытаращившись на нас, словно вставший в рост медведь. Видно было, что он попал в какую-то историю: галстука не осталось, верхних пуговиц на рубашке — тоже, воротник был растянут и надорван, а на груди сквозь грязноватую ткань проступали капельки крови. И пока мы сидели, застыв в молчании, капельки проступали все сильнее, расползались по рубашке, соединяясь в кровавые пятна. Потом Джулия вскрикнула: «Джейк!..» — и резко встала, от-

толкнув стул. Мы все тоже вскочили на ноги, но Джейк выкинул руки вперед и вверх, разжав пальцы как когти, и остановил нас. Руки его согнулись, он схватил себя за ворот и, рванув окровавленную рубашку, обнажил грудь. Нет, он не был ранен, вернее, не сильно и не в результате несчастного случая. На груди красовалась свежая татуировка — шесть сине-черных букв сантиметров по пять высотой.

Я испытал желание рассмеяться от нелепости происходящего, или выразить протест, или крепко зажмуриться и сделать вид, что не случилось ровным счетом ничего, сам не знаю, что я хотел сделать, что я чувствовал, — на груди у него было выколото «Джулия».

— Теперь это останется со мной на всю жизнь. — Он постучал себя пальцами по груди. — Ничто и никогда не сотрет этих букв. Пока я жив, ты будешь принадлежать мне, и этого тоже никто и никогда не изменит...

Он осмотрел нас всех, медленно переводя взгляд с одного на другого, повернулся и, преисполненный достоинства, отправился в переднюю, а потом наверх к себе в комнату — и мне уже не хотелось смеяться. Это был до крайности нелепый жест, почти невысказанный в том веке, к которому я привык. Но не в этом. Здесь, в эту эпоху, ничего абсурдного в поступке Джейка не было. И быть не могло: он действовал совершенно серьезно.

Джулия быстро прошла через столовую, побледнев, казалось, еще больше; через гостиную она почти пробежала, и мы услышали, что по лестнице она просто бежит. Саквояж свой я оставил в передней, пальто и шапка висели на большой вешалке с зеркалом посередине. Я не стал больше задерживаться — теперь я был здесь лишний.

У Лексингтон-авеню я взял извозчика и просидел всю дорогу, откинувшись назад и закрыв глаза. Что бы там ни происходило на улицах, меня оно сейчас не интересовало. Рассчитался я на углу Пятьдесят девятой и Пятой авеню, там же, где мы с Кейт вышли тогда из Централ-

парка. Потом я углубился в парк и двинулся по аллеям, под редкими фонарями к северо-западу — и вскоре увидел впереди островерхий куб «Дакоты».

16

На следующий день я устроил себе выходной. Право же, я его заслужил; в конце концов он был мне просто необходим, необходим какой-то переход между двумя эпохами, между двумя мирами. Спал я в своей квартире в «Дакоте» и, хотя в этом вряд ли была прямая нужда, слегка загипнотизировал себя перед сном. Я лежал в темноте в большой резной деревянной кровати, надев ту же ночную рубашку, которую надевал в доме № 19 по улице Грэмерси-парк, и знал, что где-то в центре города стоит старый почтамт с залом, освещенным круглыми газовыми фонарями; что во мраке нижнего Бродвея, перед аптекой, висит в своей узкой деревянной будке огромный градусник, показывающий сейчас, должно быть, градусов восемнадцать ниже нуля; что над ночными булыжными улицами Нью-Йорка, по эстакадам надземки, пыхтят игрушечные паровозики, освещая себе путь керосиновыми «прожекторами». Но утром, сказал я себе, я проснусь уже в свое время. Я пачал даже размышлять, как буду чувствовать себя в двадцатом веке на этот раз, но под влиянием самогипноза настолько расслабился, что почти спал, и, не успев ни до чего додуматься, заснул окончательно.

Утром, едва раскрыв глаза и еще не встав с постели, я уже понял, где я и в каком времени нахожусь, а букваль-

но несколько секунд спустя получил тому прямое доказательство. До меня донесся звук, хорошо мне знакомый, хоть я и не сразу определил, откуда он идет: далекий, высокий, слегка зловещий гул. Я произнес вслух: «Реактивный самолет», — по в общем-то мне не требовалось никаких доказательств, я понимал, что вернулся, я ощущал это.

Через полчаса я вышел из «Дакоты» на Семьдесят вторую улицу и направился было в сторону склада, где размещался наш проект. И вдруг, без всякого заранее обдуманного намерения и не спрашивая себя зачем, вернулся обратно, дошел до ближайшего угла и двинулся на юг.

Квартал за кварталом я шагал по современному Манхэттену в круглой меховой шапке и длинном пальто, бородатый, уса́тый, длинноволосый, мало чем отличаюсь, впрочем, от многих других прохожих. Я сознавал, что надо хотя бы позвонить начальству и еще Кейт, но, подчиняясь внутреннему побуждению, шел и шел пешком в сторону центра, останавливался на перекрестках по красному сигналу «Стойте», дожидался зеленого «Идите» и глядел, глядел вокруг на улицы, здания и людей сегодняшнего дня.

Удивительно, как много сохранилось в Нью-Йорке от прежних времен. Горожане не думают об этом, но, как только минуешь среднюю часть Манхэттена, это становится заметно. А ниже Сорок второй улицы я начал узнавать здания и целые группы зданий, сохранившиеся с восьмидесятых и даже еще более ранних годов. Однако не такое внешнее сходство я сегодня выискивал, — я искал сходство в лицах людей и должен прямо сказать, что не находил его.

Уверен, дело тут не в одежде, не в косметике и не в стиле причесок. Сегодняшние лица — просто другие, они какие-то более одинаковые и менее живые. Да, на улицах восьмидесятых годов я видел человеческую нищету, как видим мы ее сегодня, видел порочность, безнадежность

и алчность, а на лицах мальчишек — ту же преждевременную серьезность, как в наше время на лицах мальчишек в Гарлеме. Но на улицах Нью-Йорка 1882 года чувствовалось еще и какое-то общее настроение, начисто исчезнувшее сегодня.

Это настроение читалось на лицах женщин, дефилирующих вдоль «Женской мили», по нарядным, давно исчезнувшим магазинам. Люди были оживлены, люди радовались тому, что находятся именно здесь и именно сегодня, сию минуту. Это настроение чувствовалось в тех, кого я видел в Мэдисон-сквере. Вы могли заглянуть им в глаза и увидеть там радость — радость от того, что они на свежем воздухе, на морозе, в любимом городе. А мужчины в деловых кварталах Бродвея, торопливые, привыкшие ценить свое время и деньги и замирающие в полдень, чтобы сверить свои большие карманные часы с красным шаром на здании «Вестерн юнион», — ну что ж, их лица зачастую бывали сосредоточенны, а то и озабоченны, или жадны и нервозны, или самодовольны до предела. Лица несли на себе всевозможные выражения, как и сегодня, но на всех на них сохранился интерес к окружающему, и самые занятые люди останавливались взглянуть, какую температуру показывает гигантский градусник у аптеки. Но главное — никто из них не растерял целеустремленности. Сразу было видно, что им не скучно, черт возьми! И, глядя на них, я убеждался: они идут по жизни в стопроцентной уверенности, что она имеет цель. А это очень нужная штука — чувство цели, и потерять его — значит потерять нечто весьма существенное.

Сегодня лица совсем не те: когда человек один, лицо его просто ничего не выражает, замкнуто всецело в самом себе. Разумеется, мне попадались люди парами и группами, они разговаривали между собой, иногда смеялись, бывали даже более или менее оживлены — но лишь как отдельная группа. Они были отделены от окружающей их улицы, обособлены и отчуждены от города, в котором жи-

вут и к которому относятся с подозрением; в Нью-Йорке восьмидесятых годов я такого не замечал.

Я решил проверить это свое впечатление. На углу Двадцать третьей улицы я повернул и прошел полквартила до Мэдисон-сквер, встал у края тротуара, в стороне от потока пешеходов, и бросил взгляд вперед. Внешне сквер отсюда выглядел точно таким же. И люди двигались сквозь него и вокруг него. Но никто — уверен, что вы и сами знаете это, — не получал от этого сквера никакого особого удовольствия. Нью-Йорк стал другим, совершенно другим городом, и притом во многих отношениях.

За исключением северной своей стороны, застроенной теперь сплошь многоквартирными домами, Грэмерси-парк ничуть не изменился, так же как и дом номер девятнадцать. И вот я опять стоял и глядел на него. Единственным нововведением были жалюзи на окнах первого этажа, и казалось невероятным, что там внутри нет ни Джулии, ни тети Ады, занятых домашними делами. Я позволил себе поддаться искушению, пока оно не ослабло: взбежал по ступенькам и — еще одно нововведение, но я не придал ему значения — нажал кнопку электрического звонка. Секунд через пятнадцать, когда я уже начинал раскаиваться в своем порыве, дверь распахнулась, и на пороге появилась женщина лет сорока с лишним в оранжевых брючках, обтягивающем свитерке под цвет и жилетке из какого-то серебристого материала.

— Извините, пожалуйста, — сказал я, — но... тут когда-то жили мои знакомые. Несколько лет назад. Мисс Джулия Шарбонно со своей теткой. Однако, по-видимому, они здесь больше не живут...

— Нет, — ответила она вполне благожелательно. — Мы здесь живем уже девять лет, а до нас люди жили четыре года, и их фамилия была не Шарбонно.

Я кивнул, словно услышал то, чего ждал. А, собственно, чего еще я мог ждать? Но все не уходил: мне хотелось заглянуть в переднюю, и женщина вежливо отсту-

пила на шаг, предоставляя мне такую возможность. Стены оказались оклеены обоями с хрупким голубым узором по белому, а с потолка свисала роскошная хрустальная люстра. Передняя выглядела гораздо богаче и была совершенно другой, за исключением черно-белой плитки на полу — пол оставался тем же.

Она, конечно, не предложила мне посмотреть другие комнаты; где-где, а в Нью-Йорке это не принято. Я улыбнулся, поблагодарил и ушел восвояси. Сам не знаю, зачем я приходил сюда, — просто захотелось взглянуть. Я вернулся на Двадцать третью улицу, взял такси и поехал «на склад».

На этот раз обстановка тут совершенно не походила на прежнюю. Мужчину в маленькой конторке на первом этаже звали Гарри, во всяком случае так было вышито красными нитками над нагрудным кармашком белой спецовки фирмы «Бийки». Он сообщил, что ему приказано передать мне, если я появлюсь, чтобы я поднялся в кабинет доктора Россофа, и я поднялся. Но там меня встретила только медсестра, та самая крупная привлекательная женщина с проседью в волосах. Она поздоровалась со мной, задала обычные вопросы, однако, как мне поместилось, без особого интереса; возможно, того и следовало ожидать. Мне придется немного подождать, сказала она; сейчас она позвонит д-ру Россофу, и он через минуту придет.

Через четыре-пять минут он действительно пришел, протянул руку, приветствуя меня как всегда, поздравляя, нетерпеливо расспрашивая, но и он, несомненно, переменился. Буквально через минуту я почувствовал, что он какой-то рассеянный, слушает меня вполслуха, иной раз даже поддакивает невпопад. А вскоре в меня вселилась уверенность, что он хочет от меня избавиться и вернуться к прежним своим занятиям, к тем, которые прервал ради меня. Потому что он отослал меня в «отдел перепроверки», не предложив даже кофе, хотя на плитке рядом с

нами стоял далеко не опорожненный кофейник, — уж это на Оскара было вовсе не похоже.

Но если бы дело сводилось только к кофе! Никто из других не пришел к Оскару в кабинет повидать меня, и сам он покинул меня у двери «отдела перепроверки», хлопнул по плечу и побегал прочь. В комнате оказался один только техник, возившийся с магнитофоном, да через секунду вошла девушка-машинистка. Я сел и начал говорить: изложил все, что случилось со мной за эти два дня, очень кратко, но стараясь ничего не выпустить, потом принялся называть произвольные имена и факты, все подряд, что приходило в голову и поддавалось проверке.

Минут через двадцать я задал вопрос, где остальные, и техник ответил, что они на большом совещании, которое началось еще вчера и продолжается до сих пор. Это было объяснение и не объяснение, и я вдруг понял, что обижен невниманием к своей особе, совсем как дитя. Да и техник продержал меня вдвое дольше, чем в предыдущий раз. Когда я заявил, что иссяк, он сказал, что ему велено продолжать процедуру не меньше двух, в крайнем случае полутора часов. На полтора часа меня кое-как хватило, правда паузы к концу становились все длиннее и длиннее. Каждые двадцать минут являлся тот же высокий лысоватый человек, что и раньше, и забирал у машинистки отпечатанный материал.

Наконец Оскар Россоф вернулся. Девушка напечатала мои последние слова и вытащила листок из машинки. Техник остановил магнитофон. Оскар жестом показал мне на стул рядом с собой.

— У нас совещание, Сай, очень ответственное совещание. Похоже, что мы должны вообще прикрыть весь проект; впрочем, тут я еще не уверен. Мы приглашаем вас на совещание, но сначала я должен вам кое-что рассказать — не прерывать же его ради объяснений. Все довольно просто. Мы вам не говорили, но и до вас и одновременно с вами мы ставили и другие эксперименты. Попытка

у Вими провалилась. Там есть участок поля боя, который не трогали с первой мировой войны. И вот Франклин Миллер выскочил из блиндажа, где вместе с пехотным взводом и со вшами — настоящими вшами — пересидел в грязи четырехдневный, хоть и поддельный, артиллерийский обстрел. Но выскочил он на пустое поле с обвалившимися окопами и проржавевшей колючей проволокой полвека спустя после заключения перемирия. Сегодня он уже дома, у себя в Калифорнии.

К нашему общему удивлению и даже недоумению, попытка у Собора Парижской богоматери, возможно, и удалась. Удалась в течение одной неполной минуты, пока наш «француз» не утратил мысленной связи с обстановкой и не перенесся мгновенно обратно в двадцатый век. Однако мы всерьез полагаем — я вам как-нибудь расскажу об этом подробнее, — что десяток-другой взволнованных вздохов он сделал на берегах Сены в три часа ночи зимой 1451 года. Более пятисот лет назад, подумать только! А попытка в Денвере увенчалась полным успехом. Тэд Брител очутился в крошечной бакалейной лавчонке на углу, купил и выпил бутылочку содовой, поболтал с хозяином. А потом вышел на улицу и попал в Денвер 1901 года — тут нет и тени сомнения, у него получилось, так же как и у вас. Так же как и вы, он с предельной осторожностью провел там полдня, а потом подвергся перепроверке. Вот об этом и совещание, Сай. Вчера мы просидели до половины второго ночи, а сегодня без четверти девять начали снова...

Оскар нахмурился, зажмурил глаза и вдавил ладони в глазные впадины — то ли голова у него болела, то ли недоспал, а скорее всего и то и другое сразу. Потом он взглянул на меня, часто моргая, и сказал:

— Закавыка получилась, Сай. Я имею в виду — после перепроверки. Тэд назвал одного знакомого, с которым учился вместе в колледже Нокса, в Гейлсберге, штат Иллинойс. Тэд даже встречался с ним несколько раз потом.

И живет он-де в Филадельфии, как и Тэд, и занесен в телефонную книгу. Только вот теперь его нет. Никто никогда не слышал о нем там, где он должен бы работать. Его нет в списках государственного страхования. Ничего о нем нет и в архивах колледжа. Он, понимаете, не существует более.— Оскар говорил спокойно и деловито.— Не существует, кроме как в памяти Тэда и только Тэда. Что бы и как бы Тэд ни делал в Денвере в середине зимы 1901 года, как бы осмотрителен ни был, но это повлияло на какое-то происшедшее там событие или события. Что-то изменилось, и соответственно изменились и последующие события.— Оскар чуть заметно пожал плечами.— Так что теперь этот самый человек как бы никогда и не родился, только и всего. А что еще могло перемениться, какие еще различия могут таиться в тех людях или в таких вещах, о которых Тэд Брител просто ничего не знает? Кто это может сказать? То ли изменилось многое, то ли вовсе ничего...— Несколько секунд мы молча смотрели друг на друга, затем Оскар резко поднялся на ноги.— Вот почему и совещание. А теперь пошли...

Когда мы вошли в конференц-зал, присутствующие подняли головы; народу было много, свободных мест почти не оставалось. Некоторые рассеянно кивнули мне и сразу повернулись обратно к доктору Данцигеру — тот говорил, не повышая голоса. Он выглядел спокойным, чего никак нельзя было сказать о большинстве других: пиджаки долой, галстуки тоже, никто не старался выглядеть бодрым, и повсюду были окурки и чертики в блокнотах. А Данцигер сидел откинувшись, удобно скрестив ноги, и его большая, со вздутыми венами рука расслабленно перекинулась через спинку стула.

— ...знания, которые мы приобрели в результате длительных исследований,— говорил он.— Нет никакой необходимости поднимать и тащить в лабораторию все океанское дно. Чтобы провести полный анализ одной-единственной пробы и разобраться во всех побочных обстоятель-

ствах, требуются месяцы, даже годы. Именно так нужно подходить и к тем данным, к тем пробам, если хотите, которые мы получили в результате трех наших удачных попыток. Их можно изучать годами, и они будут раскрывать нам все новые и новые знания. Но о новых попытках не может быть и речи.

Он не изменил позы, но голос его стал глубже, и в нем появились такие авторитетные нотки, что мне лично выступать оппонентом Данцигера не хотелось бы.

— Ибо неверно, совершенно неверно, если мы будем продолжать эксперименты только на том основании, что у нас получается. И это становится все более очевидным по мере того, как наука использует открывшиеся перед ней принципиально новые возможности и докапывается до глубочайших загадок Вселенной: незачем и нельзя предпринимать что бы то ни было только потому, что мы знаем как. Нет нужды в данном собрании приводить общеизвестные примеры и перечислять последствия непонимания этой аксиомы. Урок ясен. И опасность любой новой попытки ясна не менее. Мы не имеем права делать больше ни одного шага в прошлое. Мы не имеем права вмешиваться в него даже самым незначительным образом. Не имеем права, поскольку не знаем, что значительно и что незначительно. Нам еще не известны результаты последнего путешествия мистера Морли, однако даже если окажется, что наши осторожные попытки не повлекли за собой по-настоящему серьезных последствий, — это слепая удача, и только. Но один человек, пусть заурядный — хотя для себя самого он не был заурядным, он был единственным, — этот человек не существует более. Вернее будет сказано: никогда и не существовал, как бы странно это ни звучало...

В зал на дыпочках вошел высокий лысый — тот, из «перепроверки». Полковник Эстергази сразу заметил его, поднял руку, лысый быстро подошел к нему, передал несколько бумаг, шепнул на ухо что-то, на что Эстергази ответил

кивком, и так же на цыпочках вышел. Данцигер продолжал:

— Во всех других отношениях мир наш, кажется, не изменился. Однако в следующий раз все может кончиться по-другому, немисливо, катастрофически по-другому. Продолжать в том же духе явилось бы верхом эгоизма и безрассудной безответственности. Полагаю тем не менее, что наше совещание было необходимым, что мы обязаны были обсудить все в мельчайших деталях. Но что касается решения, тут обсуждать нечего — выбора у нас просто-напросто нет.

Он замолчал и оглядел сидящих за столом, словно ожидая вопросов и в то же время сомневаясь, могут ли они найтись. Через несколько человек от него один из присутствующих поднял руку, опустил ее, снова поднял. Имя его, к сожалению, вылетело у меня из головы, — это был профессор истории, представитель какого-то университета одного из восточных штатов.

— Вы, разумеется, полностью правы, доктор Данцигер. И я, безусловно, не собираюсь с вами спорить. Я не присутствовал на всех предыдущих совещаниях, не имел такой возможности — и не собираюсь притворяться, будто глубоко понимаю все происшедшее. Я только думаю... то есть мне претит мысль об отказе от любых дальнейших попыток, если есть хоть малейший шанс... Нельзя ли было бы каким-то образом ввести — я бы сформулировал так — «абсолютного наблюдателя»? Никому не ведомого и не видимого, не влияющего ни на какие события... Скажем, человек, надежно спрятавшись, незримо присутствует на первом представлении «Гамлета» — подумать только! Если бы он спрятался задолго до прихода зрителей и актеров и оставался в укрытии, пока они все не уйдут. Или «абсолютный наблюдатель» при... в общем было по крайней мере одно заседание кабинета Дизраэли, за любые сведения о котором я продал бы душу, — никто не знает, о чем там говорилось, а это очень важный момент. Единственное,

что я прошу, — изучить возможность направить в прошлое «абсолютного наблюдателя». Поискать способ...

Но Данцигер начал медленно и недвусмысленно качать головой, и говоривший не закончил фразы.

— Прекрасно понимаю вас, — сказал Данцигер. — Понимаю искушение, какое вы испытываете, поскольку и сам испытываю его. Но можно ли представить себе негласное присутствие со стопроцентной гарантией, что оно останется негласным? Уверен, вы тоже понимаете, что нет. А раз гарантии нет, то остается и риск. И идти на такой риск нельзя — теперь мы это знаем, и этого не оспоришь...

Он выжидающе помолчал. Но никто не произнес ни звука, пока Эстергази не начал — спокойно, самым обычным тоном:

— Думаю, что мог бы почти дословно повторить то, что сказал здесь доктор Данцигер, — я слушал его с предельным вниманием. Так же как, надеюсь, и все присутствующие. Мудрость совета, который дал нам доктор Данцигер, просто не подлежит сомнению. — При этих словах рука его совершила легкое движение, словно принося извинения. — И тем не менее мы обсудили еще не все. И не во всех деталях. — Он старательно подчеркивал, что его донельзя удручает необходимость противоречить Данцигеру по какому бы то ни было поводу. — Дело в том, что у меня есть данные, которыми еще несколько минут назад мы не располагали...

Рядом с Эстергази сидел Рюб. Он держал перед собой принесенные только что машинописные листы и читал их, наполовину съехав со стула. Эстергази головой показал на эти листы и продолжал:

— Мы только что получили отчет по последнему путешествию мистера Морли: общий обзор всего, что с ним приключилось, в высшей степени занятный, а также данные перепроверки. Мы сейчас размножаем текст и скоро раздадим его вам. А пока что разрешите сообщить вам

самое главное — результаты перепроверки. На сей раз мистер Морли отсутствовал уже не несколько часов, а два дня, и контакты его с людьми уже не были ни случайными, ни мимолетными. Это был рассчитанный риск, мы сознательно пошли на него — и вот результат...

Рюб взглянул на Эстергази, и тот ответил ему разрешающим кивком. Тогда Рюб вновь обратил свой взор на машинописные листы и подвел итог тому, что там было изложено:

— Абсолютно никаких изменений.— Голос у него звучал бесстрастно, даже монотонно.— Все проверенные данные полностью совпадают.

Эстергази двинул головой — почти незаметно и почти печально; он словно говорил тем самым, что факты упрямая вещь, что они не им придуманы и ему не подвластны и что не остается ничего другого, кроме как принять их.

— А если это так,— заявил он, и тон вполне соответствовал выражению его лица,— то, на мой взгляд, совершенно ясно, что мы не исполнили бы своего долга — перед доктором Данцигером, перед самим проектом, перед каждым и перед всеми,— если бы не обсудили и вытекающих отсюда выводов.

Он обвел глазами сидящих за столом, будто приглашая их заново начать дискуссию, и Рюб тут же откликнулся:

— Ладно,— сказал он, словно принял предложение выступить первым.— Каковы факты? Никаких последствий, никаких перемен, никакого вреда от посещения, хотя бы и кратковременного, города Парижа — точнее, деревни Париж — в 1451 году. Если цепь событий и была где-нибудь нарушена, то это нарушение выправилось задолго до нашего времени. Никаких последствий, никаких перемен, никакого вреда от первого краткого путешествия Сая Морли. Ничего и после второго путешествия, которое было уже довольно продолжительным и в ходе которого он проехал, и

притом не один, через полгорода. И наконец, никаких последствий, никаких перемен, совершенно никакого вреда от последнего путешествия, длившегося два дня. А ведь на сей раз он жил под одной крышей с другими людьми и не только вмешивался в события, но дал толчок событиям, и притом таким, что я в них, — тут он кивнул на машинописный отчет, лежащий на столе, — просто не поверил бы, если бы не знал, что на то, чтобы сочинить все это, у него не хватило бы воображения.

Он послал мне через стол улыбку, и по залу прокатился легкий смехок. Потом улыбка исчезла с его лица, он пожал мускулистыми плечами и сказал:

— Подвожу итог. Брител вызвал перемену? Да, вызвал. Но незначительную. — Он быстро посмотрел на Данцигера. — Безусловно значительную для того человека, которого она непосредственно коснулась, однако...

— И которого не спросили, — вставил Данцигер, — желает он пойти на эту жертву или нет.

— Да, не спросили, и я сожалею о случившемся. Но повторяю сказанное раньше: по сравнению с огромными потенциальными благами для всего остального мира — давайте мыслить реалистически — перемена была незначительной. Еще важнее, что вредный эффект всех других удачных попыток, длившихся дольше, с участием большего числа людей, оказался равным нулю. Нулю! Из чего следует, что результат Бритела — чистейшая и редчайшая случайность. И потому на вопрос, продолжать нам или нет, я при всем уважении к мнению доктора Данцигера отвечаю, что с равным успехом можно высказаться в пользу рассчитанного риска.

— Да черт вас возьми! — Кулак Данцигера опустился на стол с такой силой, что пепельница подскочила, перевернулась в воздухе и упала обратно вверх дном, разбрасывая окурки. — Какого такого «рассчитанного риска»? Ненавижу эту фразу. Риск — да, черт возьми, да! Риска больше, чем надо!.. — Он резко повернулся и, навалившись

грудью на стол, уставился на Рюба в упор. — Но покажите мне, что вы там рассчитали!..

Наступило томительное молчание: Данцигер все так же пристально смотрел на Рюба, а тот не отвернулся и не отвел глаз, лишь несколько раз кряду добродушно сморкнул — всем своим видом он демонстрировал, что не чувствует к Данцигеру никакой враждебности и отнюдь не собирается вступать с ним в состязание, кто кого переглядит. В конце концов Данцигер откинулся назад на спинку и уже спокойно произнес:

— Что мы знаем? Мы знаем, что из четырех или пяти успешных опытов мы один раз несомненно воздействовали на прошлое. И, следовательно, на настоящее. Вот и все, что мы знаем. И еще, что следующая попытка может иметь катастрофические последствия. Нечего даже и говорить о «рассчитанном риске», Рюб. Потому что расчета-то нет, есть один только риск. Кто дал нам право решать за весь мир, что на этот риск нужно пойти? — Он еще несколько секунд смотрел на Рюба в упор, потом медленно обвел взглядом сидящих за столом. — Как создатель и руководитель проекта я говорю — и прикажу, если надо, — что работы должны быть приостановлены, за исключением анализа уже полученных материалов. Вряд ли найдется человек, которому подобная необходимость более неавистна, чем мне. Но это должно быть сделано и это будет сделано.

После такого заявления неизбежно последовала длительная пауза. Когда наконец заговорил Эстергази, то голос у него был преисполнен неуверенности и сожаления, чтобы все ясно поняли, как это болезненно для него самого.

— Я... — Он смолк и сглотнул слюну. — Я... мне трудно решиться оспаривать суждения доктора Данцигера, любые его суждения, какие бы он ни высказал в отношении проекта. Есть сильный соблазн внести предложение сделать перерыв, чтобы мы все могли обо всем пораз-

мыслить и все взвесить. Но многие из нас приехали изда- лека. Никто не ожидал, что придется провести здесь еще и сегодняшний день; — видимо, у нас нет возможности от- кладывать решение. А поскольку вопрос теперь поставлен именно в такой плоскости, я вынужден уже не спорить, а напомнить — поймите, доктор Данцигер, я обязан это сделать, — что любое жизненно важное решение, связан- ное с проектом, считается принятым, если за него прого- лосовали трое из четырех старших членов совета, а если голоса разделились, решающее слово остается за президен- том страны. Первым из четырех, безусловно, является доктор Данцигер, за ним идут мистер Прайен, мистер Фессенден — представитель президента — и я. Я, разу- меется, не хотел бы подходить к вопросу чисто формально, но все же: мнение доктора Данцигера нам ясно, так же как мнение мистера Прайена и мое собственное. Стало быть, мистер Фессенден, слово за вами. Вы пришли уже к какому-то определенному решению?

Пока он не начал говорить, вернее, не кашлянул перед тем, как начать говорить, я понятия не имел, кто тут в зале мистер Фессенден. Ему было лет пятьдесят, и он успел основательно полысеть, хоть и зачесывал прядь се- деющих волос с одной стороны головы на другую, скрывая лысину, по крайней мере от себя самого. Нижняя часть его лица выглядела одутловатой, и носил он очки в метал- лической оправе, такой тонюсенькой, что они казались во- все без оправы. Если я и встречал его раньше, то в па- мяти моей он никак не запечатлелся.

— Я предпочел бы обдумать свое мнение, — сказал он, — если б только видел такую возможность. Предпочел бы взвесить все «за» и «против». Без нажима, не торо- пысь. Но, если говорить начистоту, я склонен присоеди- ниться к вам.

Эстергази открыл было рот, хотел что-то сказать, но Данцигер его перебил:

— Значит, так? Решение, значит, принято?

— Не думаю, что есть формальные...— начал Эстергази, но Данцигер опять его прервал, на сей раз резко, грубо.

— Перестаньте юлить! Это решение? — Он выждал секунду, затем гаркнул: — Ну?..

Эстергази сжал губы и покачал головой. Момент был щекотливый.

— Получается так, доктор. Ничего не...

— Я выхожу в отставку.

Данцигер встал и отодвинул стул, чтобы выйти из-за стола.

— Подождите! — Эстергази тоже встал. — Мы просто не можем допустить, чтобы это произошло подобным образом. Я хочу с вами поговорить. Один на один. Буквально через несколько минут.

Нужно отдать старику должное: он никогда не терял чувства собственного достоинства. Вот и теперь он не стал бурно отказываться или хлопнуть дверью — такая мелодрама претила ему. Он лишь помолчал немного, потом сказал:

— Пожалуйста. Но ведь уже свершилось; никто не передумает и не отступит. Я буду ждать вас у себя в кабинете, полковник.

В полном молчании он направился к двери и вышел.

— Не нравится мне это, — произнес кто-то на другом конце стола, и все обернулись на голос. Говорил молодой, но уже полнеющий и лысеющий человек, кажется, представитель одного из калифорнийских университетов. У него было интеллигентное лицо, но сейчас оно было еще и рассерженным. — У меня нет права голоса, почти нет права высказывать свое мнение, да и интерес во всем этом предприятии небольшой: я метеоролог и нахожусь здесь главным образом для доклада своему университету. Однако я не уйду отсюда, не спросив: как можно набраться наглости поступить вопреки суждению и вопреки решению доктора Данцигера?

— Слушайте, слушайте! Как говорят англичане...— заявил кто-то довольным тоном; один из тех, кто любит потасовки, пока сам стоит в стороне.

Я думал, что отвечать будет полковник Эстергази, но поднялся Рюб — медленно, не спеша, совершенно спокойно и, подумалось мне вдруг, с полным сознанием своей власти.

— Как? Да потому, что назад дороги нет. И быть не может. Нельзя потратить миллиарды, подготовить полет человека на Луну, а потом решить, что нет, не будем. Или изобрести самолет, осмотреть его со всех сторон, а потом разобрать по винтикам и разорвать чертежи, чтобы кто-нибудь когда-нибудь не сбросил с него бомбу. Предприятия такого масштаба, как наш проект, нельзя приостановить; человечество этого никогда не делало. Риск? Быть может, да. Безусловно — да! Но кого и когда останавливал риск? Кого-нибудь из тех, чей день рождения стал национальным праздником? Мы пойдем вперед. Мы...

— Кто это «мы»? — выкрикнул сердитый голос, не знаю чей.

— Все мы, — сказал Рюб тихо, наклоняясь над столом и опираясь на костяшки пальцев. — Все, кто вложил бесконечно много времени и энергии в это дело, для кого оно стало важной частью жизни. Думайте, черт побери! Неужели вы считаете, что проект можно остановить? Бросить? Забыть? Нет, господа, чего не будет, того не будет. Так что нечего нам тут с вами штаны просиживать и болтать без толку...

Это, в сущности, положило конец выступлениям, хотя разговоры еще какое-то время и продолжались. Принесли копии моего отчета и результаты перепроверки и роздали присутствующим; все экземпляры были пронумерованы, и их надлежало сдать не выходя из зала. Очень многие поднимали глаза от текста, находили меня и улыбались, не скрывая изумления, а я ухитрился ухмыляться им в ответ. В какой-то мере чтение подхлестнуло спор: одни со-

глашались, что проект надо со всеми возможными предосторожностями продолжить, другие подвергали это сомнению или ставили недоуменные вопросы. Мне кажется, многие раньше просто не понимали, как мало значит их присутствие; когда дело доходит до принятия решений.

Закрылось совещание на том, что Эстергази в тактичной форме напомнил всем участникам о совершенно секретном характере сведений, с которыми их ознакомили. Им сообщат о времени следующего заседания, а пока — спасибо, что пришли, и до свидания.

Рюб понимал, что для меня решение еще впереди, и оказался рядом со мной, когда я вышел из конференц-зала. В коридоре он предложил мне заглянуть на Шестую авеню, в бар, куда мы уже ходили раза два и где можно было перекусить. Я ответил, что сперва хотел бы повидать доктора Данцигера, и мы вместе дошли до его кабинета. Но секретарша сказала нам, что у него полковник Эстергази и что, похоже, они просидят там долго, — не думаю, чтобы Рюб сильно этому удивился. Я был голоден как волк и принял его предложение; мы заказали по большой тарелке овощного супа, сэндвичи с горячей солониной и по две кружки пива. Сидели мы в последней кабинке в заднем углу, с двух сторон на нас смотрели глухие кирпичные стены, и рядом не было никого, кто мог бы подслушать разговор.

Не стану детально описывать всего, о чем мы говорили. Мы сделали заказ, и Рюб тут же начал излагать в тихой, трезвой манере, что, хотя они очень надеются на продолжение совместной работы — подбирать кандидатов трудно, и готовить их долго и хлопотно, — тем не менее свет на мне клином не сошелся. Им будет очень жаль, если я уйду, но со временем замена обязательно отыщется. Я и сам это знал, конечно. Во всяком случае, я знал, что заменить меня пусть не так просто, как пытался представить Рюб, но в принципе возможно. И его слова заставили меня слег-

ка похолодеть, потому что уж себе-то самому врать было ни к чему: я не сумел бы примириться с мыслью, что никогда туда не вернусь. Но я лишь кивнул и сказал, что, конечно, все это так, но могу ли я с чистой совестью продолжать участвовать в проекте, если приду к выводу, что он несостоятелен?..

— Послушай, Сай,— сказал Рюб тихо-тихо,— доктор Данцигер старый человек. Согласись. И того, что приключилось в связи с проектом на сей день, для него уже многовато. Для него кульминация уже позади: он достиг того, к чему стремился. И если тем все и кончится, он будет только доволен. Я люблю его, честно. Но он старый человек, одержимый навязчивой идеей риска. Послушать его, так можно подумать, что если б ты слишком громко чихнул там, в январе 1882 года, то положил бы начало такой цепи событий, которая могла бы привести к гибели всего мира. Но это же не так! Это повлияло бы на события не больше, чем если ты сейчас чихнешь. Попробуй! — Он усмехнулся.— Давай, чихай! Здесь десятка два людей, а ведь ни один сукин сын и внимания не обратит. Да, черт возьми, люди не решают, жениться им или не жениться, и вообще не принимают важных решений из-за какого-то тривиального действия первого встречного. Ведь это даже не ты распалил своего Пикеринга. Ясно, что такой уж у него характер, так он себя ведет изо дня в день — и повел бы себя соответственно, был бы ты поблизости или нет. Да и не вижу тут принципиальной разницы: события поистине важные не происходят по чистой случайности. Они результат взаимодействия такого множества сил, что становятся попросту неизбежными и не вытекают из какого-то одного отдельно взятого поступка. Если только ты не задашься специальной целью совершить что-нибудь такое, что привело бы к изменению крупного события, на многое ты не повлияешь. Хочешь сладкого?..

Я отказался, а Рюб заказал себе кусок яблочного пирога и еще кружку пива. Потом, словно повинувшись вне-

запному импульсу, он улыбнулся мне — душа-человек, да и только, — и воскликнул:

— Черт возьми, Сай, оставайся с нами! Ты-то до сих пор никому не причинил вреда, ни на что не повлиял — у нас есть тому доказательства. То же будет и впредь, если сам будешь осторожен...

Мы еще немного потолковали о моих приключениях в доме № 19 по улице Грэмси-парк; Рюб удобно устроился в углу кабинки и попыхивал сигарой, а я рассказал ему кое-что о своих впечатлениях от Нью-Йорка тогдашнего и теперешнего. Слушал он зачарованно, задавал вопросы и в конце концов заявил:

— Ты ведь знаешь, сам я на это неспособен. Я пытался, задолго до нашего знакомства, да не получилось. Господи, как я тебе завидую!.. — Он бросил взгляд на часы, нехотя выпрямился и вдруг протянул руку через стол, сжав мою повыше кисти. — Мне ведь не надо тебя уговаривать, Сай. Ты же знаешь не хуже меня: проект нельзя свернуть, просто нельзя. А если ты и сам хочешь остаться, какой же тебе смысл уходить?..

Ни кивком, ни словом я не дал ему понять, что остаюсь, но и не сказал нет. По пути назад мы говорили о регби. Совесть мучает меня даже теперь — оправдания я себе не вижу никакого. Но я не мог отказаться от возможности совершить новое «путешествие», не мог, и точка.

Когда мы вернулись, оказалось, что Данцигер уже ушел, — нетрудно было догадаться, что навсегда. Секретарша дала мне его адрес и телефон — квартира его находилась в Бронксе. Я тут же позвонил, но никто не ответил: возможно, он еще не успел доехать или поехал не домой. Я повесил трубку, помедлил немного, прежде чем отнять от нее руку, но номера Кейт набирать не стал, — неужели я оттягивал время встречи?

Позже, когда я шел к ней по городу пешком, я раздумывал над этим вопросом. Я был слишком занят, попытался я сказать себе, мне некогда было ей позвонить. И это

была правда — и все-таки не вся правда. Я шел к ней с неохотой — именно так, и мне пришлось признаться себе, что так, но почему? Есть ли тут какая-нибудь связь с Джулией? Что ж, в присутствии Джулии кровь текла по жилам быстрее, спорить не приходится, и все же, по-моему, дело было не в Джулии.

Или, может, дело в характере новостей, которые придется сообщить Кейт: что отец Айры был негодяем, казнокрадом и жуликом? Но умер он задолго до рождения Кейт, не доводился ей даже дальним родственником, и Айре мои новости уже никак повредить не могли. Нет, я положительно не понимал, в чем дело; просто я тянул время, пока наконец не добред до ее магазинчика. А потом, сидя наверху в квартирке Кейт и потягивая виски в ожидании, пока на кухне сварится картошка, я недоумевал, почему и зачем оттягивал нашу встречу. Мне было хорошо, я хотел быть именно здесь и больше нигде, и перспектива провести с Кейт еще не один час представлялась мне очень привлекательной.

Мой рассказ, до ужина и за ужином, вызвал у нее глубокий интерес: она-то представляла себе и время, и город, о которых я говорил, и, пусть мельком, видела Джейка Пекеринга. Когда я перешел к Кармоди, она замерла не шевелясь, полураскрыв губы, совсем как околдованная. Когда же я добрался до Данцигера, Эстергази и Рюба и до собственного своего решения, она ограничилась кратким и осторожным комментарием, чтобы как-нибудь не повлиять на это решение; но я-то знал, что она вопреки всему будет рада новому моему «путешествию».

Потом Кейт встала из-за стола, прошла к себе в спальню и вернулась с красной папкой, развязывая тесемки на ходу. Мы еще раз рассмотрели снимок надгробия на могиле Эндрю Кармоди. Вот оно, стоит себе таинственно среди осыпавшихся одуванчиков и редкой травки, и на камне ни слова, ни имени, ни дат, только девятиугольная звезда, вписанная в окружность, — тот же самый узор,

который мы с изумлением увидели оттиснутым на снегу у подножия фонаря на Бродвее 23 января 1882 года.

И опять мы смотрели, как на чудо, на голубой конверт с адресом, написанным когда-то черными, а теперь ржавыми чернилами. Вытряхнув из конверта записку, Кейт вслух прочитала верхнюю ее часть, над сгибом:

— *«Если вам интересно обсудить некоторые вопросы относительно каррарского мрамора для здания городского суда, соблаговолите прийти в парк ратуши в четверг в половине первого».* Теперь мы знаем, — добавила она с каким-то благоговейным страхом. — Знаем совершенно точно, что произошло в парке. Я рада, что Айра не знал и не узнает...

Она опять заглянула в записку и прочитала ту ее часть, что шла ниже сгиба:

— *«Поистине невероятно, чтобы отправка сего могла иметь следствием гибель, — господи, какое же тут было слово или слова? — мира в пламени пожара. Но это так, и вина безраздельно, — тут она сделала паузу, отмечая еще одно пропущенное слово, — на мне, и от нее не уйти и не отречься. И вот, не в силах больше взирать на вещественную эту память о том событии, я прекращаю свою жизнь, которой следовало бы прекратиться тогда».*

Кейт вложила записку обратно в конверт.

— Сай, сделай все, чего они от тебя хотят, но узнай для меня, что значит эта записка! Ты ведь поэтому и не ушел следом за Данцигером, правда? Ты должен вернуться туда, ты ничего не можешь с собой поделать!..

И я кивнул.

У Эстергази хватило такта не занимать с места в карьер кабинет Данцигера, и мы встретились в маленькой камерке Рюба. Рюб сидел за столом во вращающемся кресле, по обыкновению без пиджака и по обыкновению улыбаясь. Эстергази слегка прислонился к углу стола, подчеркнуто опрятный, в почти военном сером габардиновом

костюме, белой рубашке и темном галстуке. Я сел на единственный свободный стул к ним лицом.

Я должен вернуться и продолжать начатое — вот практически и все, что они мне сказали. Они хотят знать все, что только я смогу выведать об Эндрю Кармоди, хотят знать, что еще произошло между ним и Джейком Пикерингом. Особенно заинтересованы историки, пояснил Рюб; у них уже есть группа из двух специалистов и двух аспирантов, которая работает в Библиотеке конгресса и ищет данные о взаимоотношениях Кармоди и президента Кливленда, а вторая аналогичная группа копается в Национальном архиве. Добытые мной сведения, возможно, расширят или прояснят то, что разыщут обе группы. Конечным результатом этого первого в рамках проекта развернутого эксперимента явится, как надеются, плодотворный метод расширения наших знаний истории.

По пути обратно в «Дакоту» — меня отвез Рюб — я уговаривал себя, что поступаю правильно, единственно верно, что в аргументах, выслушанных и выдуманных мной, нет изъяна. Но если так, задал я себе вопрос, почему я все же ощущаю за собой какую-то вину? И если я уверен в том, что делаю, почему же я не поговорил с доктором Данцигером? У меня было время, чтобы позвонить ему, да и сейчас еще не поздно. Однако я не позвонил — и не позвоню...

17

Стало уже привычным, выходя из «Дакоты», попадать на восемьдесят восемь лет назад, в зиму 1882 года. Я привык к процессу перехода, и в сознании не оставалось даже

места сомнению: а удался ли он? Я просто-напросто знал, что переход совершился, и воспринимал это как должное. И не удивился, когда, войдя в Сентрал-парк, — только что прошел снегопад — увидел десятки и десятки запряженных лошаадьми саней, скользящих, кажется, по каждой дорожке и аллее.

Я тут же остановился и набросал в блокноте открывшуюся передо мной картину. Позже я закончил рисунок, тщательно придерживаясь стиля того периода. Что у меня получилось, вы видите на следующем развороте. На заднем плане — «Дакота». И как мне хотелось бы, чтобы вы слышали серебряный звон колокольчиков, стойки которых, закрепленные в упряжи, поднимались над спинами лошадей!

В глубине парка люди катались на коньках на замерзшем пруду, и повсюду кишмя кишели дети, разбегались, падали ничком на санки; детишки поменьше важно сидели, закутанные до ушей, в санках другого фасона — на широко расставленных полозьях. Эти санки тянули старшие братья и сестры или взрослые, а одни такие провез мимо меня белобородый старик. Было ему, наверное, уже далеко за семьдесят, но он тащил санки по снегу — и улыбался: как все, кого я видел сегодня в парке, он получал удовольствие. И я — я тоже; мне стало радостно, что я живой, что я здесь, в этом парке и в эту минуту, и меня наконец осенило, что я радуюсь своему возвращению.

Однако перспектива вернуться в дом № 19 по Грэмрси-парк меня отнюдь не радовала — сегодня воскресенье, и Джейк Пикеринг, вероятно, дома. Так что я заглянул в салун на Пятьдесят седьмой улице; парадная дверь была заперта во исполнение закона, воспрещающего работу питейных заведений в воскресенье, но я, последовав примеру двух мужчин, вошел через боковую дверь. Там я съел тарелку супа и два огромных бутерброда — мне хотелось свести приветствия, вопросы и в особенности первое свидание с Джейком к совершенному минимуму, сказать, что



ужинать не буду, и подняться к себе в комнату. Но когда я завернул за угол, перед домом стояли двое больших саней. На передке ближних саней сидел Феликс Грир с незнакомой мне девушкой; он держал вожжи, а у нее на коленях лежала его новая фотокамера. Байрон Доувермен помогал еще одной молодой женщине устроиться на заднем сиденье. По ступенькам крыльца спускалась Джулия, опасливо ступая по свежему снегу, а рядом с ней, придерживая ее под локоть, шел Джейк в цилиндре и темном пальто с барашковым воротником. За ними следовала Мод Торренс, а тетя Ада запирала входную дверь.

Они заметили меня прежде, чем я смог удрать, и тут же окликнули и подозвали. Феликс, невменяемый от возбуждения — наверное, из-за девушки, — заорал на всю улицу:

— С возвращением! Как раз вовремя — посхали кататься! Мистер Пикеринг нанял двое саней!..

Приближаясь к ним, я криво улыбнулся и вяло махнул рукой, стараясь быстренько выдумать какую-нибудь отговорку: устал, долго сидел в поезде, начинается грипп... Не мог же я — пятое колесо в телеге — поехать вместе с двумя холостяками и их дамами; а во вторых санях, рядом с психопатом Пикерингом, который того и гляди выкинет какой-нибудь дикий номер, ехать было просто невымыслимо. Тут они окружили меня, Феликс выскочил из саней и схватил меня за руку, засыпая вопросами: как брат, как семья? — и приветствиями, потом рукой завладел Байрон — и все они так явно радовались встрече...

Мою руку атаквали опять — теперь уже Джейк тряс ее и приветливо улыбался! Я пытался ответить им: брату неожиданно стало намного лучше, дома все хорошо, счастлив вернуться сюда, в Нью-Йорк. Но, отвечая, я решительно не мог оторвать недоуменного взгляда от Джейка: карие его глаза излучали дружественную теплоту, и улыбка, покуда он жал мне руку, была настоящая, видимо, не менее искренняя, чем у всех остальных. А Джулия смот-

рела на меня с такой непритворной радостью, что у меня поневоле екнуло сердце. Она поздоровалась со мной за руку, Мод тоже, а тетя Ада, протянув мне ладони, наклонилась и чмокнула меня в щеку.

Что же тут непонятного, если мне неожиданно для себя самого и вправду захотелось поехать с этими милыми людьми! Тетя Ада взяла у меня саквояж, отперла дверь и занесла его в переднюю. Байрон и Феликс представили мне своих дам и вежливо предложили место в своих саниях. Но прежде чем я успел отказаться, вмешался Джейк: нет, я должен ехать с ним, непременно с ним, и, подцепив меня за локоть, подтолкнул на сиденье; Джулия предложила, чтобы я сел вместе с ними на передок, и Джейк горячо поддержал ее и даже спросил, не хочу ли я взять «ремешки», имея в виду, как я понял, вожжи. Я уж и не пытался разобраться, что к чему, и решил, что Джейк, вероятно, подвержен маниакальным депрессиям и легко впадает из крайности в крайность; что ж, и на том спасибо, подумал я с облегчением.

От вожжей я с благодарностью отказался: лошади еще, чего доброго, расхохотались бы, возмись я управлять ими, и вожжами завладел Джейк. Мод и тетушка сели позади, а Джулия впереди, между Джейком и мной. Было тесно, сидели мы вилотную, плечом к плечу, и я высвободил свою левую руку и положил на сиденье за спиной у Джулии. Однако я внимательно следил за тем, чтобы не коснуться ее на самом деле, и заставлял себя думать о пейзаже — о заснеженной чугунной ограде, о деревьях и кустах лежащего подле нас Грэмерси-парка.

— Готовы? — крикнул Феликс через плечо, и Джейк громогласно ответил, что да. Вожжи одновременно щелкнули, лошади взяли с места, колокольчики на упряжи зазвенели. Полозья скользили легко, лошади пошли свободнее, а когда, с повторным хлопком вожжей, мы завернули за угол и выехали на Двадцать первую улицу, они вскинули головы и, всхрапывая, выбрасывая из ноздрей

струи пара, понеслись рысью; тут уж колокольчики действительно запели.

По существу все, что я могу сказать про остаток дня и про вечер, уместилось бы в трех словах: волшебство. Прекрасный сон. Белые улицы Манхэттена были битком набиты санями, и воздух звенел от музыки колокольчиков. И если вы примете это за лирическое преувеличение, то, право же, ничем не могу вам помочь. Будничные повозки и фургоны исчезли начисто, даже омнибусы и конки встречались редко; мостовые и тротуары были отданы людям.

На тротуарах катали детей на санках, кидались снежками, лепили снежных баб; не только дети, но и взрослые и даже старики и старухи весело перекликались друг с другом. А на мостовой мы обгоняли и нас обгоняли сани всевозможных форм и конструкций, и те, кто сидел в этих санях, окликали нас, а мы их. Порой затевались гонки, а один раз — мы двигались вверх по Пятой авеню — получилось так, что наши лошади шли грудь в грудь с двумя другими упряжками, и все три кучера поднялись в рост, и хлестали кнуты, и пищали в санях девицы... Феликс отстал от нас на полквартала, но вскоре догнал, а в Сентрал-парке вышел вперед, и мы понеслись среди сотен других саней по плавно изгибающимся аллеям.

Потом он остановился у края дороги, чтобы сделать снимок, и наши сани тоже встали и ждали, пока он наведет свой полированный ящик, блистающий красной кожей и бронзовыми атрибутами. Воспользовавшись этим, я подошел к его саням и, как только он копчил возиться, сказал, что мне очень понравился жилой дом как раз за парком, на Семьдесят второй улице, — не может ли он снять этот дом для меня?

— А, «Дакота»! — воскликнул Феликс. — Конечно. Так вы снимите его сами...

И подал мне камеру. Я колебался, но мне действительно хотелось ее испробовать; я сказал спасибо, Феликс

показал мне, как зарядить новую кассету с пластинкой, и я с его помощью сделал снимок, который вы сейчас видите перед собой. Мне снимок нравится: хорошо видно, как одиноко стояла тогда «Дакота». Правда, я не учел отраженного ото льда света, и получилась небольшая передержка.

А потом мы поехали дальше через парк, выехали из него на открытую сельскую местность — это по-прежнему в пределах острова Манхэттен! — и добрались до большой бревенчатой таверны под вывеской «Гейб Кейс». Уже темнело, и таверна была ярко освещена, свет падал из окон на снег длинными поблескивающими прямоугольниками, и оконные рамы делили каждый отблеск на четыре части. На постоялом дворе при таверне собралось не меньше полусотни саней, и каждая лошадь была на привязи и укрыта попоной.

Свободных мест не оказалось, народу — не протолкаться, а гул голосов и смех достигали такой силы, что разговаривать почти не представлялось возможным. Феликс ухитрился окликнуть меня, и я кое-как протиснулся к их группе, потеряв свою. Мы поели бутербродов, запивая их горячим вином, все это стоя — присесть было негде, — перекинулись несколькими словами, пытаясь перекрыть шум, но больше просто возбужденно и радостно улыбались друг другу.

Домой мы возвращались в прежнем порядке — другие ждали меня, когда мы вышли из таверны. Снег в парке искрился, дома на Пятой авеню при лунном свете казались умытыми и таинственными. Наконец мы свернули на Двадцать третью улицу к Грэмерси-парку, и я сказал:

— Большое вам спасибо, мистер Пикеринг, это был один из лучших дней в моей жизни.

Он кивнул; теперь он держал в зубах сигару, и при каждой его затяжке дым выплывал длинной узкой лентой через плечо.



— Не за что, Морли. Мы вроде бы праздновали одно событие, знаете ли.

«Конечно, знаю,— подумал я.— Ты праздновал возможность разбогатеть благодаря шантажу». Но вслух я произнес лишь вежливое:

— Да что вы?

Он опять кивнул и перегнулся ко мне через колени Джулии; глаза его так и горели самодовольством.

— Да, да,— сказал он медленно. Только потом я сообразил, что Пикеринг умышленно оттянул этот момент на самый конец прогулки, упиваясь его предвкушением; теперь ревнивец буквально смаковал слова.— Мы искали вас там, в таверне Гейба: мне хотелось, чтобы вы присоединились к тосту...

Зажав сигару в углу рта, он усмехнулся недоумению, написанному у меня на лице, и так долго тянул со следующей фразой, что Джулия — по-моему, нетерпеливо, хоть она и постаралась не показать раздражения,— докончила за него:

— Мистер Пикеринг и я помолвлены и скоро поженимся.

После небольшой паузы я придал своему лицу соответствующее выражение и произнес все необходимые слова. Улыбаясь, протянул руку через колени Джулии, чтобы пожать ручищу Джейка и поздравить его. Все еще улыбаясь, согласился с тетюшкой и Мод, что это поистине радостное событие. Затем улыбнулся и Джулии, но пока говорил ей: «Надеюсь, вы будете очень счастливы», — улыбка как-то сама собой исчезла из моих глаз; она тоже заметила перемену и в ответ лишь слегка качнула головой, сердито поджав губы. Я спросил, когда и где они повенчаются, и сделал вид, будто слушаю диалог Джейка и тети Ады по этому поводу, однако на деле я их не слышал.

Вместо выслушивания подробностей я за те считанные минуты, что оставались нам до дома № 19 по улице Грэ-

мерси-парк, успел подумать о нескольких вещах. Я подумал о татуировке на груди Джейка, которая, наверно, еще не зажила и которая теперь на всю жизнь пребудет с ним как особая примета. Разумеется, его планам в отношении Джулии я никогда всерьез не угрожал, такая угроза лежала за гранью возможного, но он-то этого не знал. И кроме того, при других обстоятельствах я бы, пожалуй, и не отказался от роли соперника, он это чувствовал. Теперь же — и он ухмылялся самодовольно, выпятив челюсть и бороду и пуская сигарный дым струйками через плечо, — теперь он наконец добился ее. Я понял, что для него помолвка — нерушимый контракт: теперь его невеста застрахована от любых посягательств и принадлежит ему навеки. Он действительно обрадовался — торжествующе обрадовался, — увидев меня.

Но гораздо больше, чем о Пикеринге, я думал о Джулии, молча сидевшей рядом со мной. Мне не верилось, что она хотела бы принадлежать кому-нибудь в том смысле, в каком, по убеждению Джейка, она принадлежала ему. Напротив, я понимал, более того — ощущал уверенность, что она не сможет счастливо прожить жизнь с человеком, способным опуститься до шантажа. И тем не менее я должен был позволить этому случиться. Зная все, что я знал о Джейке Пикеринге, я должен был тем не менее улыбаться и притворяться, будто рад за нее, и должен был позволить этой доброй, очаровательной, рассерженной девушке выйти за него замуж и — неизбежно — исковеркать свою жизнь. «Доктор Данцигер, — прошептал я беззвучно через разделяющие нас годы, — неужели так надо?» Но я понимал, что ответ возможен только один: «Вмешиваться нельзя».

Нет, я положительно не мог как ни в чем не бывало войти в дом, подняться к себе и лечь спать. Я выпрыгнул из саней, помог сойти Джулии, ее тетушке и Мод Торренс, и они поднялись на крыльцо, пожелав всем остальным спокойной ночи. Феликс хлестнул вожжами и вместе

с Байроном отправился проводить своих дам домой или, может, еще куда-нибудь. Джейк остался в саниах, чтобы отвести их на прокатную конюшню, и женщины, видимо, решили, что я поеду с ним. Когда за ними закрылась дверь, я легонько помахал Джейку на прощанье и двинулся к крыльцу. Но как только Джейк тряхнул вожжами и отъехал, я повернул от дома и быстро пошел в направлении Третьей авеню.

Куда я иду, я и сам не ведал, но мне надо было подумать, и я прошагал несколько кварталов по Третьей авеню, темной и почти пустынной. Поднялся ветер, стало намного холоднее, и мне казалось, что температура продолжает падать. Опять пошел снег, но теперь он был жесткий, как дробь, бил по лицу, скрежетал под ногами. Ночь выдалась для прогулки неподходящая, и у Шестнадцатой улицы я обернулся через плечо и увидел кошку, идущую в мою сторону; лошадь низко пригнула голову, двигаясь против ветра, впереди вагона тускло мерцали керосиновые фонари.

Я поднял руку, конка остановилась, я вскочил на переднюю площадку, лошадь налегла на хомут, подкованные копыта тяжело заскользили по снегу, и наконец мы покатались. В вагоне сидел всего один пассажир — мужчина в круглом котелке со свисающими, как у моржа, усами. Под ногами шурпала мокрая, грязная солома. С потолка свисала чадающая лампа с жестяным козырьком, и от нее резко пахло керосином.

Конка неторопливо катилась в ветреной ночи, а я рассеянно смотрел в окно, на захудалые магазинчики Третьей авеню; иные кварталы, мимо которых мы проезжали, подходили на декорации для низкопробного «вестерна». Все это я уже видел, и вообще смотреть было не на что. На площадке, разумеется, холод чувствовался сильнее, но я все-таки встал, прошел вперед, открыл дверь и вышел, захлопнув ее за собой.

Кучер глянул на меня подозрительно: с чего это я

вдруг вылез наружу без нужды? На голове у него сидела плоская круглая суконная фуражка с широким клапаном, прикрывающим уши и шею; поверх фуражки был намотан рваный вязаный шарф. Еще у него были тяжелые сапоги, тяжелые заскорузлые рукавицы, а под пальто, судя по всему, столько одежек, сколько он сумел натянуть на себя: выглядел он бесформенным, как куль. Прошла минута, а то и две, прежде чем я понял, что он далеко еще не стар, однако лицо у него уже покрылось сеткой преждевременных морщин и склеротических жилок.

— Холодно, — сказал я, ссутулившись на мгновение; замечание, казалось бы, глупое, но скорее это было не замечание, а просто произнесенное вслух слово, чтобы обозначить свое присутствие.

— Да. Холодно, — подтвердил он не без сарказма.

Я помолчал, прислушиваясь к стуку копыт, и спросил:

— А можно привыкнуть к холоду? Через какое-то время? Сдается мне, я бы ни за что не выдержал...

— Привыкнуть? Шутки шутите... — Он задумался на секунду-другую. — Да нет, привыкнуть нельзя. Можно научиться терпеть, и все. Поручили бы мне набрать экспедицию на Северный полюс, найти людей, которые выдержат тамошний климат, так я набрал бы их среди кучеров. Уж тот, кто выдержит нашу службу, выдержит все, что хочешь...

— И подолгу вам приходится работать?

— Полагается четырнадцать часов в день, а получается больше, пока вагон помоешь да все приберешь... Не очень-то с семьей навидаешься, а? — Я ответил, что нет, не очень, и он кивнул в подтверждение. — А сколько, вы думаете, мы зашибаем? Доллар девяносто в день. Попробуйте-ка прокормить жену и детишек на доллар девяносто в день. Многие из нас и в воскресенье на работе — в этом городе бедному человеку и в божье воскресенье не отдохнуть. Иногда, когда выдастся в месяц раз выходной, идешь

с женой и ребятами в церковь. Вроде бы и не хуже других, как не пойти? И вот встает священник и говорит: возблагодарите господа за все, чем он вас благословляет, и как мы должны быть рады-радешеньки всем его милостям. Может, для него-то, для пастора, все это и так, а только я вот часто думаю: как же я могу возблагодарить бога за пищу и жизнь, что он мне дает, если каждый кусочек, который я съел, я заработал своим горбом и своими мучениями? Может, и есть оно, провидение для богатых, а в бедности каждый сам себе провидение...

Вы говорите — холодно. Раньше нам сидеть разрешали, так позапрошлой зимой один пасмерть замерз. Конка пришла в депо, а кучер сидит на своем табурете, вожжи в одной руке, другая на тормозе, а сам уже как ледышка. Задремал, да и не проснулся... А что после этого компания сделала? Утеплела площадки? Нет, это денег стоит. Издали правило, что кучерам запрещается садиться, чтобы, значит, не засыпали и не замерзали. Говорят, такая смерть легкая — верю, потому как сам знаю, случалось: задремлешь и мороза уже никакого не чувствуешь. Только я тогда встряхиваюсь и принимаюсь ногами стучать — о малышах думаю: они хоть по крайней мере не в сенных баржах почуют; а не станет меня, так, может, и придется...

— В сенных баржах? — переспросил я.

Он сердито посмотрел на меня, возмущенный моим невежеством.

— А где, по-вашему, ночуют мальчишки, да и девчонки тоже, которые днем чистят вам ботинки и газеты продают? Они же сироты или брошенные, которые никому не нужны. Идите хоть сейчас к Ист-Ривер да осветите сенные баржи фонариком — там их сотни, барж этих, к берегу пришвартованы. И на каждой увидите ребятешек — говорят, там целые тысячи ночуют, да и я так думаю, хотя кто ж их считал! И некоторым пяти лет от роду и то нет. Вот я и выучился терпеть любой холод ради своих. Иной

раз погреешься глотком виски, так потом, как хмель спадет, еще холоднее...

Конка замедлила ход, и я решил сойти, спустился на подножку — и все раздумывал: что сказать кучеру на прощанье? «Счастливо вам»? Нет, не то, вряд ли он когда-нибудь дождет счастья. Конка остановилась, я обернулся к нему через плечо и произнес:

— До свидания.

— До свидания, — кивнул он.

В армии меня научили видеть в темноте: не надо прямо пялиться на то, что хочешь рассмотреть. Вместо этого нужно взглянуть в сторону на что-нибудь еще, тогда уголком глаза яснее увидишь то, что тебя интересует. Мышление подчас работает таким же образом: вопрос, который мучает тебя, иной раз лучше отложить, не форсируя ответа. Я дошел пешком до Бродвея, а у отеля «Метрополитен» взял извозчика, и, когда мы подъехали к Грэмси-парку, мне уже было ясно, как поступить.

В предвечерние и первые вечерние часы город казался мне волшебным царством — стремительный бег саней, звуки песен, искренний смех... Но теперь, ночью, я понял, что это также и город кучера конки, с которым только что разговаривал. И что, пока я мчался с Джейком на санях через Сентрал-парк, множество бездомных детей копошилось в трюмах сенных барж на Ист-Ривер, устраиваясь на ночлег. Город перестал быть просто экзотическим фоном к моему удивительному приключению. Он обрел реальность, и я сам наконец осознал, что мое пребывание здесь, в этом времени, совершенно реально и что люди вокруг меня живые. В том числе и Джулия.

Наблюдай, но не вмешивайся. Легко сформулировать подобное правило, и для проекта оно, безусловно, необходимо... для них там люди этой эпохи — не более чем давно исчезнувшие призраки, от которых остались лишь странные коричневатые фотографии в старых альбомах и в безымянных пачках, засунутых под прилавки антикварных

магазинов. Но в том мире, где я нахожусь сейчас, эти люди — живые. В этом мире жизнь Джулии — отнюдь не давно прошедший и позабытый эпизод: она вся еще впереди. И она не менее ценна, чем любая другая жизнь. Тут-то и кроется ответ: если в своем собственном времени я не смог бы стоять в стороне и созерцать, как рушится жизнь девушки, которую я знаю и которая мне нравится, — а я не смог бы созерцать, будучи в силах предотвратить, — то и здесь, я все-таки понял это, я не могу поступить иначе.

Разрушит ли брак ее дальнейшую жизнь? Хотя знакомы мы с Джулией были в общей сложности лишь несколько часов, я полагал, что главное о ней я знаю. Если умеешь создать достоверный портрет человека, то, пока рисуешь этот портрет, узнаешь о своей модели больше, чем за многие дни и даже недели поверхностного знакомства. Мне всегда нравился рассказ, который вы, возможно, тоже читали: про психиатра — в то время его, конечно, называли «доктор по душевным болезням», — который долго вглядывался в портрет одного из бывших своих пациентов, написанный то ли Сарджентом, то ли Уислером *, уж не помню точно. Так вот, постояв у портрета минут двадцать, психиатр сказал о больном: «Теперь я наконец понял, что с ним было». Я, разумеется, не Уислер и не Сарджент, нет во мне ни их таланта, ни их проницательности. Но чтобы верно запечатлеть человека на бумаге или на холсте, нужно разглядеть в нем больше, чем может увидеть фотоаппарат. И я — да, я был уверен, что для девушки по имени Джулия Шарбонно жизнь в качестве жены Джейка Пикеринга — это не жизнь, что на лицо, которое я нарисовал, ляжет тогда печать неизбывного горького несчастья, — и я не собирался, я не мог этого допустить.

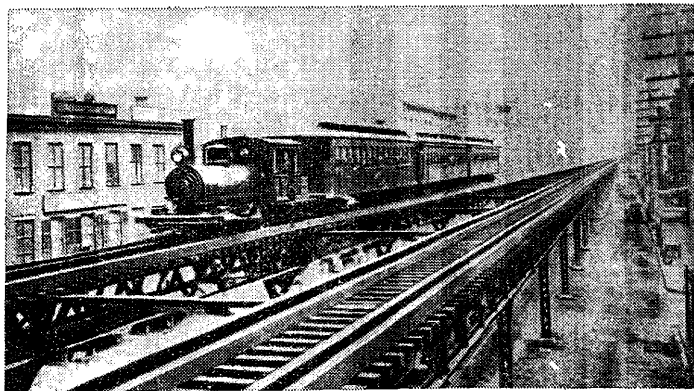
Последствия для будущего от вмешательства в события

* Уислер, Джеймс (1834—1903) и Сарджент, Джон Сингер (1856—1925) — известные американские художники-реалисты.

прошлого? Я пожал плечами: любое действие в прошлом неизбежно имеет последствия в любом возможном будущем. Влиять на ход событий в моем собственном времени — значит оказывать всякого рода непредвиденные воздействия на какое-нибудь и чье-нибудь другое будущее, а мы только этим и занимаемся всю свою жизнь. Так что придется уж тому будущему, которое для моих современников настоящее, подвергнуться определенному риску. Теперь-то я твердо знал, что не брошу Джулию на произвол судьбы, словно мы там у себя, в двадцатом веке, боги, а она ничто. Я знал, что найду способ расстроить ее помолвку с Джейком Пикерингом, и внезапно задал себе вопрос: а кто поручится, что последствия моего решения, если они вообще будут, не окажутся к лучшему? Уж какой-какой, а двадцатый век стоило бы улучшить хотя бы отчасти.

18

Я выскочил на улицу сразу же после завтрака — у меня едва хватило терпения высидеть его до конца. Вместе с завтраком тетя Ада подала свежий номер «Нью-Йорк таймс», но я и не пытался читать; единственное, на что я годился, — это вновь и вновь повторять про себя: «Сегодня решающий день». Сегодня в полночь Пикеринг встретится с Кармоди в парке ратуши. И я тоже буду там во что бы то ни стало и, если интуиция меня не обманывает, узнаю, наконец, что скрывается за словами из голубого конверта: «гибель... мира в пламени пожара». Слова казались совершенно бессмысленными, но какой-то смысл в них был:



именно из-за них много, много лет спустя Эндрю Кармоди пустил себе пулю в сердце.

Сам не понимаю, как мог я оказаться настолько легкомыслен — да просто глуп, — но мне представилось, что единственная моя задача — как-нибудь убить день, пока не придет время отправиться в парк ратуши на свидание Кармоди с Пикерингом. Я поднялся наверх, в комнату Феликса, и взял его фотокамеру, благо он не только разрешил мне это, а даже настаивал и вчера в таверне Гейба повторил свое предложение. Камера заряжалась пластинками, которые хранились в коробке в шкафу. Там же я обнаружил лакированный деревянный ящик для переноски кассет, а уж объектов для съемки, которые меня интересовали, по городу набиралось больше чем достаточно.

Остров Манхэттен в действительности совсем не велик — его можно за день пройти пешком из конца в конец. Начал я с того, что надземкой отправился к району Бэттери на южной его оконечности. Поезда пришлось подождать, и я успел навести камеру на резкость; потом, откуда ни возмись, меня кольнуло беспокойство: а нет ли какого-то более важного, совершенно необходимого дела,

которым следовало бы заняться не откладывая! Но платформа уже начала мелко дрожать у меня под ногами, вдали со стороны центра показался поезд — не мой, но для снимка это не имело значения, — и я поднял камеру наизготовку. Вот что у меня получилось. И пока я снимал, а потом менял пластинку, мои сомнения улетучились.

Надземкой же я добрался до Бруклинского моста и, как истый турист, залез на башню по системе деревянных лестниц, старательно не глядя вниз, пока не ступил на верхнюю площадку. Не дав себе ни секунды на размышление, я двинулся дальше, по временным деревянным мосткам, подвешенным над рекой. Но как они качались! А единственная опора для рук — натянутый сбоку тоненький трос, и если споткнешься, то без помех полетишь вниз, вниз, вниз... Где-то там, на границе бесконечности, текла свинцово-серая вода, в строящейся проезжей части моста зияли страшные пустоты. Десять шагов — и я изнемог. Попытался повернуть назад, но навстречу шли двое мужчин. Разминуться с ними и вернуться к башне не представлялось возможным; я твердо знал, что если попытаюсь, то непременно свалюсь.

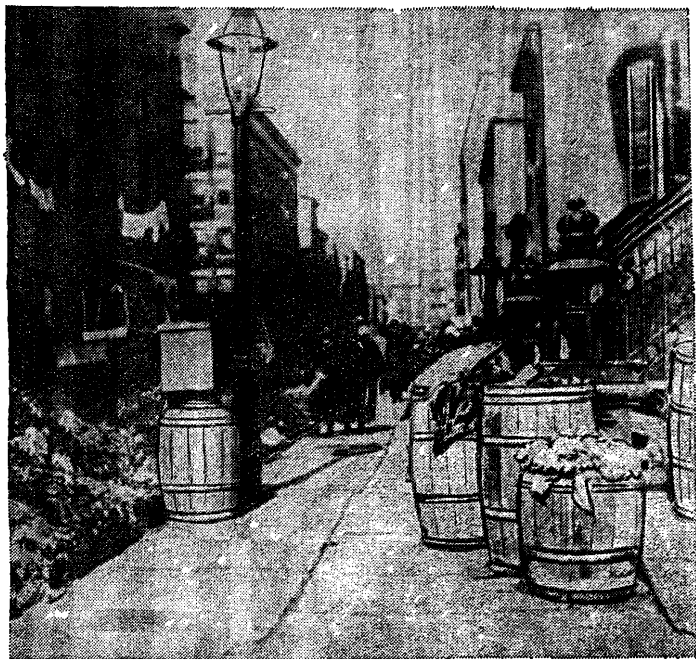
В течение бесконечных минут, часов и лет я принуждал себя переставлять ноги — одну за другой, шаг за шагом, а рука судорожно сжимала трос с такой силой, что ладонь почернела от грязи и начала кровоточить. Наконец я достиг верхней площадки Бруклинской башни, поразительно устойчивой, замечательно просторной, и долго стоял: сглатывая слюну, ощущая, как на лице высыхает испарина страха.

Вот снимок, который я сделал оттуда, и я им горжусь. Двое мужчин, те самые, которые шли следом за мной, остановились на середине полюбоваться видом, а один даже оперся спиной о трос; смотреть на него и то жутко было. Но вид и в самом деле великолепный, не правда ли? Теперь я очень радовался и задираю нос, что так смело — я



уверял себя, что смело, — перебрался на эту сторону. Однако обратно на Манхэттен я отправился на пароме.

Не успел я отойти от моста и пятидесяти метров, как оказался среди трущоб, а через два квартала увидел много больше, чем мне хотелось бы; снимок — единственный, на который я там решился, — поможет вам понять меня. Снега на тротуарах не осталось, зато бочек с мусором собралось столько, словно их не убирали неделями, да, наверно, так оно и было. А на мостовых и того хуже: сточные канавы,



забитые снегом, а поверх — почти сплошная корка мусора, грязи, отбросов и помоев всех сортов. Взгляните на снимок. В наше время мы не слишком-то заботимся о судьбах бедняков, но в девятнадцатом веке, по-видимому, заботились и того меньше.

Назовите это трусостью, но что я мог тут поделать! А впечатление создавалось слишком гнетущее, и я ускорил шаги, стремясь как можно быстрее выбраться отсюда в центр. Я шел в направлении ратуши и, достигнув Парк-роу, бросил взгляд влево, на здание «Таймс» и на соседний дом, где Джейк оборудовал свою тайную контору. И вдруг меня словно молнией обожгла мысль: да ведь они

в парке не останутся! На секунду я утратил способность двигаться. Как же я не сообразил раньше? Каким же надо быть ослом, чтобы хоть на мгновение представить себе Пикеринга и Кармоди сидящими в парке среди полуночной тьмы!

Я свернул на Парк-роу в сторону «дома Поттера». Новая моя догадка, несомненно, верна. Никаких документов Джейк в парк не принесет — хотя бы потому, что их тогда могут отобрать силой какие-нибудь сообщники Кармоди. Кроме того, ему ведь захочется пересчитать деньги. Что же касается Кармоди, то он никоим образом не отдаст денег, пока не увидит документов Пикеринга собственными глазами. Сделка совершится в конторе Джейка — иначе просто не может быть. И я не сумею подслушать, о чем у них пойдет речь.

Как и в прошлый раз, я остановился и окинул дом взглядом; о фотографировании я теперь уже и не думал. Дом не изменился: те же одинаковые ряды узких, закругленных сверху окон, те же витрины на уровне улицы, по обыкновению грязные, откровенно воплощающие полнейшую безнадежность; те же наклонные вывески: «Скоттиш Америкэн», «Удобрения, поля, фермы», «Оптовик» — на четвертом этаже, «Сайнтифик Америкэн» — на третьем и рядом — та, на которую я глянул опять без малейшего интереса и которую мне было суждено запомнить на всю жизнь: «Нью-Йорк обсервер».

Без какой-то определенной цели, разве что посмотреть на другие фасады — впрочем, они ничем не отличались от первого, — я обошел дом вокруг по Бикмен-стрит, затем по Нассау-стрит и там уже вошел в подъезд. На сей раз из вестибюля я не услышал ни пилы, ни гвоздодера, а когда поднялся на второй этаж, дверь комнаты, где тогда работали плотники, оказалась закрыта. И не просто закрыта, а намертво заколочена досками от пола до потолка и заляпаная предупреждениями: очевидно, перекрытие здесь уже сняли. Карабкаясь на третий этаж, я успел подумать:

а вдруг плотники уже там или вот-вот придут туда и это каким-то образом мне поможет?..

Но на третьем этаже все выглядело точно так же, как и раньше. Если рабочие что-нибудь и делали тут со времени моего прошлого визита, то теперь они ушли; на дверях, как и тогда, висел замок и красная предупреждающая надпись. Ни на что не надеясь, я опять попробовал дверь в контору Пикеринга, но она по-прежнему не поддавалась.

И вообще все шло по-прежнему: присев на корточки, я заглянул в замочную скважину и вновь увидел секретер и кресло на противоположном конце комнаты у окна и заколоченную дверь справа. Потом я выпрямился и бесцельно стоял в коридоре, не зная, что предпринять. Попасть внутрь не представлялось возможным. И тем не менее я должен был туда попасть. Я старался припомнить все, что слышал когда-либо о способах взлома. Можно, к примеру, просунуть полоску пластика или целлулоида в щель между дверью и косяком и отжать язычок замка, — учили читанные мной рассказы. Но таких замков еще не изобрели, у этого просто не было защелкивающей пружинки, которую следовало бы отжать. В голове проносились мысли одна фантастичнее другой: то я на руках спускаюсь по веревке с крыши к окну комнаты № 27 или заколоченной комнаты рядом; то каким-то образом взбираюсь по незаконченной шахте лифта до перекрытия третьего этажа, а там... А что там? Я и сам не знал.

В коридоре грохнула открывающаяся дверь, я быстро повернулся и пошел прочь от того, кто вышел оттуда. Я поднялся по лестнице вверх, он спустился вниз, и я опять вернулся и опять стоял беспомощно и упрямо в том же коридоре. Минута еще минута — я понимал, что с равным успехом можно уйти, и все же не уходил.

Мягкие шаркающие шаги — мягкие потому, что ноги прятались в тапочках, — слышались у меня за спиной; я различил их в самый последний момент и стремительно обернулся. Но мне потихоньку приближался старый двор-

ник, в руках он держал тонкую пачку конвертов и, пригнув голову, перебирал их. Коридор был слишком узок, чтобы пытаться прошмыгнуть мимо него, а отступить было некуда. Я успел состроить приветливую улыбку, и тут он поднял голову, придержал шаг и сосредоточенно посмотрел на меня: лицо мое показалось ему знакомым, но он никак не мог припомнить, кто я такой. Потом его осенило, и он кивнул:

— Доброе утро, мистер Пикеринг. Вам почты нету...

Он прошел мимо, подсовывая конверты под некоторые из перенумерованных дверей. У меня в голове не осталось, похоже, ни единой мысли. В течение тех тридцати-сорока секунд, которые понадобились ему, чтобы дошаркать до конца коридорчика, повернуться и двинуться назад, я стоял как вкопанный и таращился на него. Он взглянул на меня снова, на сей раз с явной досадой.

— Что случилось? Ключ забыли? — спросил он и, не дав мне ответить, сердито затряс головой. — Нет, нет, запасного к этой двери нету. Должен быть и был, но теперь нету. Ничем не могу помочь. Придется вам идти домой за своим. Некогда мне с вами...

Я прервал его, от души улыбаясь.

— Да ведь запасной-то есть, — сказал я тихо. — Есть у вас запасной ключ, и вам известно, где он. Вот только идти за ним далековато, правда? В самый подвал... — Я достал портмоне и вытащил долларовую бумажку. — Но это все-таки ближе, чем мне за своим. — Я вручил ему доллар. — Пошли. Я спущусь вместе с вами, чтобы вам не забираться сюда опять...

Через две минуты я вылез из подвала, сжимая в руке ключ с грязной бумажной биркой «27». Но наверх я подниматься не стал, а прошел первым этажом на улицу Паркроу и в соседнем здании «Таймс» разыскал слесаря, чья вывеска мне запомнилась рядом с ресторацией Нэша и Крука — и то и другое тоже в подвале. За десять центов слесарь тут же при мне выточил копию, и я отправился

обратно, по дороге привязывая бирку на место. Операция заняла четверть часа — и я вернул дворнику его ключ, остав старика за разносной почты, только этажом ниже.

Уже на лестнице, почти на площадке третьего этажа, меня осенило, что следовало бы сперва проверить мой ключ, — он сработал отлично. Легонько лязгнул, без усилия вошел в пазы, повернулся, я нажал на ручку и очутился в тайном логове Джейка Пикеринга.

Вокруг, по всем четырем стенам, бок о бок стояли тринадцать конторских бюро желтого дуба, каждое бюро с тремя ящиками, каждый ящик с вертикальной металлической ручкой. Все это было потертое, поцарапанное, купленное, видимо, из вторых, а то и из третьих рук. Вместе с секретером и креслом тринадцать бюро занимали две трети площади не слишком просторной комнаты. Я вынул ключ из замка, затворил дверь, прислушался — тихо. Тогда я запер дверь изнутри и осторожно, как только мог, принялся наугад выдвигать ящики из бюро.

Некоторые ящики были тяжелые, почти полные, но большинство оказались заняты лишь наполовину или на четверть. В некоторых ящиках хранились совсем тоненькие стопки бумаг; в одном лежала, кроме того, пара галош, а в другом — полбутылки виски. Документы содержались в идеальном порядке, нигде не торчало никаких замусоленных концов; на разделительных картонках были выведены тщательные, почти каллиграфические надписи черными и красными чернилами. Надписи эти по большей части представляли собой комбинации букв или буквы с цифрами, например «ЛЛ4», «Д», «А6», «А7», «А8», «НН» и так далее. В обозначениях я не смог обнаружить никакой логической последовательности — в каждом ящике насчитывалось до десятка и более надписанных картонок, однако они никак не соответствовали друг другу. Встретилась мне картонка и со словом «Повтор», на соседней картонке виднелось «Нераздел. Оба», на третьей — «???». Я просмотрел часть документов, не вынимая их из ящиков. Как и говорил Пи-

керинг, тут преобладали накладные — сотни, если не тысячи накладных во всех тринадцати бюро. Кроме того, были счета и памятки — и еще деловые письма, преимущественно на бланках с изображением торговых домов или заводов, гордо изрыгающих черный дым из каждой трубы. И были, по-видимому, оригиналы подписанных контрактов, сложенные в несколько раз и перевязанные красной тесьмой. Нет, я положительно не мог определить, по какому принципу Пикеринг сгруппировал документы: любая их пачка, какая бы рубрика над ней ни стояла, содержала бумаги, относящиеся к десяткам различных лиц.

Крышка секретера на сей раз оказалась поднята, и я подсел к нему, заглядывая на полочки и в маленькие выдвижные ящички, но ничего не трогая. Там проживали пузырьки с «конторскими чернилами Дейли», круглая картонная коробочка со стальными перышками, три деревянные ручки с обгрызанными концами, тряпочка для вытирания перьев, пять чистых длинных голубых конвертов, бурый прямоугольник жевательного табака — и сложенный лист бумаги. Бумагу я вынул и развернул: черными чернилами в две колонки тридцать или сорок раз подряд шла подпись: «Джейкоб Пикеринг». Почерк был явно один и тот же, но наклон, высота и размах варьировались бесконечно — от солидных закругленных букв до полуразборчивой скорописи. Он, видимо, упражнялся, подбирая себе факсимиле повнушительнее. Меня это как-то тронуло, и я почувствовал мимолетный стыд от того, что сижу и копаюсь в чужих вещах.

Однако спрятаться в комнате было совершенно негде. Я подошел к дверному проему, ведущему в соседнее помещение. Он располагался точно посередине стены и снизу доверху был заколочен полудюймовыми досками, довольно аккуратно опиленными до требуемой длины. Но доски брали простые сосновые, со множеством выпавших сучков, между досками оставляли здоровенные щели, и к тому же головки гвоздей не заколачивали до конца, чтобы потом их

легче выдернуть. Тут я вспомнил, что неподалеку на Фрэнк-форт-стрит видел магазин хозяйственных товаров, и, заперев за собой дверь, побежал туда. Через десять минут я вернулся с молотком, просунул его под нижней доской в пустую комнату и слегка подтолкнул в сторону, за косяк, подальше от глаз. Теперь я обрел уверенность, что не только подслушаю, но и подсматрю их свидание, до которого оставалось уже всего ничего — несколько часов. С тем я и ушел.

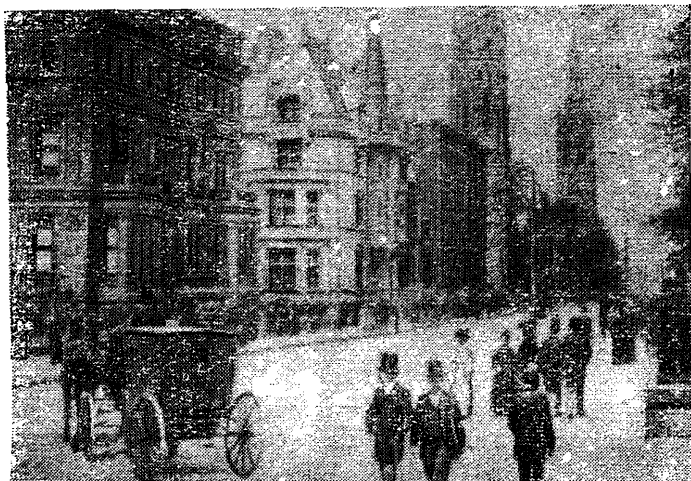
Утром я так и не снял того сюжета, который хотел бы запечатлеть более всех других; собственно, именно из-за него я и решил взять у Феликса камеру. Я сел в вагон надземки и доехал до Двадцать третьей улицы, оттуда пропелся до перекрестка Бродвея и Пятой авеню, установил треногу в лоток для пойки лошадей и с особой тщательностью определил выдержку. И вот она перед вами, на следующей странице, — рука статуи Свободы, вздымающаяся над деревьями Мэдисон-сквера.

Потом я еще поснимал в фешенебельных кварталах, пестрых и оживленных. На снимке, который вы видите дальше, в центре — особняк Уильяма К. Вандербилта, сложенный из ослепительно белого известняка. И вдруг что-то щелкнуло у меня в сознании, будто вычислительная машина выбросила, наконец, карточку, которую у нее долго и безуспешно требовали, и я спросил себя: а как? Как заставить Джулию расторгнуть помолвку? Как объяснить ей то, что я столько знаю о Джейке? Ответа я не находил. Я ускорил шаги, словно это могло мне помочь, и направился в сторону Грэмерси-парка — туда, где была Джулия. Потом я снова притормозил. Вчера вечером решение представлялось несложным, но теперь... Что же, черт возьми, я могу ей сказать? «Не спрашивайте ни о чем, Джулия, однако... Поверьте мне на слово, вам не надо выходить за... Пожалуйста, не требуйте объяснений, но...»

В ожидании ужина — к концу дня, с приходом сумерек, снова подморозило — мы сидели с Байроном и Фелик-



сом в гостиной, обмениваясь друг с другом листами «Ивнинг сан». Феликс от души порадовался тому, что я воспользовался его фотокамерой, наотрез отказался принять деньги за использованные пластинки и заявил, что займет-



ся их проявлением и печатанием немедленно после ужина. Сверху спустилась Мод Торренс и наконец появился Джейк. Тетя Ада и Джулия накрывали в столовой на стол, и раза два Джулия перехватила мой настойчивый взгляд — я все раздумывал: как же сказать ей то, что я намеревался сказать?

Во мне закипала злость. Джейк расположился у большой никелированной печки, читая или притворяясь, будто читает, но поминутно поднимал глаза, не в силах, видимо, усидеть на месте, хмурился, раза два облизнул губы, и, глядя на него, я все тверже понимал, что не позволю, не допущу, чтобы он женился на Джулии. За столом он сел почти напротив меня, и во мне вспыхнуло острое желание чем-нибудь досадить ему, подразнить его — я просто ничего не мог с собой поделать. В конце концов я сказал, не кривя душой:

— Сегодня я был в Централ-парке и, — тут я соврал, — заговорил с одним человеком. И тот похвастался, что ви-

дел, как по парку проехал инспектор Бернс. Звучало это так, будто он видел... — я чуть не произнес «знаменитость», но засомневался, известно ли им такое слово, — важную персону. Кто такой инспектор Бернс?

Сработал мой вопрос без промаха: Джейк так плотно сжал губы, что усы слились с бородой, и одарил меня жестким взглядом. Как обычно, когда затеваешь мелкую подлость и она удается, торжество мое оказалось недолговечным. Наоборот, возникло чувство, что я совершил низкий, недостойный поступок и гордиться мне нечем, хотя осталось место и для злорадства: тему подхватили все. По меньшей мере трое ответили мне одновременно — очевидно, имя инспектора Бернса обладало притягательной силой.

— Ах, тот самый!.. — воскликнула тетя Ада, неодобрительно сверкнув глазами. Мод пробормотала нечто невразумительное — я расслышал лишь слово «позор». А Байрон заявил:

— Послушайте, что я вам скажу. Он, может, и не всегда следует букве закона... — Байрон положил вилку и нож и перегнулся ко мне через стол, настолько заинтересовала его поднятая мной тема. — Но отрицать невозможно — результатов он добивается! Карманники разбегаются кто куда. И грабители банков — тоже. Правда, Джейк?

Джейк уже успел достать сигару и, хотя закурить за столом не решился, жевал ее, перекачивая во рту, даже не пытаясь делать вид, что ест. Байрону он ничего не ответил, только коротко кивнул.

— Бернс придумал «допрос третьей степени», — вставил Феликс, желая, видимо, показать свою осведомленность.

— Ну, это вряд ли говорит в его пользу! — откликнулась тетя Ада.

— «Третья степень» — когда избивают задержанных, да? — спросила Мод тревожно.

Джулия промолчала; я заметил устремленный на меня

пытливый задумчивый взгляд. Мне показалось — она догадывается, что я неспроста завел разговор об инспекторе Бернсе. Я усмехнулся: пусть догадывается, если догадывается — не мне отрицать.

— О нет, — ответил Байрон на вопрос Мод. — Во всяком случае, не так просто. Разумеется, у него не дрогнет рука всыпать горячих заведомому преступнику. А почему бы и нет? И нечего с ними жеманничать. Разве лучше, если преступники будут разгуливать на свободе и причинять обществу новое зло только потому, что к ним постеснялись применить соответствующие меры убеждения? Это вам не телок — это самый опытный полицейский города! Да, правда, он неразборчив в средствах и зачастую превышает свои полномочия и законные права. И достоверно известно, что он принимает если не деньги, не акции и не ценные бумаги, то хотя бы полезные советы от уоллстри-товских воротил, которым оказывает услуги. Говорят, он на таких советах разбогател. Но надо думать о нем, как о хорошем ротном: если в роте все исправно, не стоит слишком глубоко вдаваться в методы муштры. А если у него и случаются приработки сверх положенного по штату, так это только справедливо: иначе зачем бы ему стараться?..

Джейк вытащил сигару изо рта.

— Я слышал, — сообщил он, — что если не хватает улик, Бернс не останавливается и перед фабрикацией ложных показаний.

— Возможно, — Байрон пожал плечами. — Общеизвестно, что у него нет моральных устоев, нет даже и представлений о них. Но уоллстритовские тузы на него не жалуются...

— Вот именно, — отозвался Джейк.

Он задумчиво покачал головой, и я почти уверен: размышлял он о том, что после сегодняшней ночи сам станет одним из упомянутых «тузов». Был у меня соблазн спросить, каковы успехи Бернса в поимке шантажистов, но я решил, что не стоит. Мы еще немного потолковали о Берн-

се, потом, как обычно, о Гито, потом все, кроме меня, принялись осуждать мормонизм. Как я понял, в прериях Юты полигамия оставалась еще явлением широко распространенным *. Наконец Джулия и тетя Ада подали на сладкое яблочный пирог.

Вечер выдался ужасный и для меня и для Джейка. Он то садился, то вставал, то хватался за журнал или газету и принимался читать, но через несколько минут вскакивал и бежал на другой конец комнаты в надежде с кем-нибудь поговорить — и едва ли понимал, что ему отвечают. Дважды он поднимался к себе — подозреваю, чтобы пропустить стопку, — и сразу же спускался обратно.

Я держался спокойнее, но в мыслях у меня царил хаос. Раза два я с великим трудом преодолел искушение встать, пойти на кухню, где Джулия с тетушкой мыли посуду, и рассказать ей все: откуда я явился, зачем я здесь и что мне известно о Джейке...

Я просто не знал, что мне делать; не помню, пытался ли я читать. В самом начале одиннадцатого Джейк, — помоему, он и думать не мог ни о чем другом, кроме как о предстоящем свидании, — не выдержал: отрывисто пожелал спокойной ночи Джулии, теперь уже сидевшей у стола и штопавшей полотенце, и отправился наверх. Через несколько минут ушла Мод, и еще через пять минут — Байрон и Феликс, до того игравшие в чет-нечет. Из кухни появилась тетя Ада, и, когда я услышал, как она запирает входную дверь, мне тоже осталось лишь распрощаться и удалиться. Пока я взбирался по лестнице, Джулия с тетушкой гасили лампы и обсуждали меню на завтрак.

* Мормонизм (церковь современных святых) — крыло, отколовшееся от американской протестантской церкви в 1830 году. В середине XIX века мормоны, гонимые общественным мнением, предприняли переселение на Дальний Запад, в штат Юта, где основали, в частности, город Солт-Лейк-Сити. В быту мормоны в ранние свои времена проповедовали многоженство.

У себя в комнате я, не зажигая света, прижался ухом к дверной щели и прислушался: вот тетя Ада и Джулия поднялись на третий этаж, вот они попрощались перед сном... Я подождал еще немного — все тихо, в нашем коридоре ни души. «Теперь или никогда», — решил я. Распахнул свою дверь, вышел, бесшумно затворил ее и быстро, не скрипнув ни ступенькой, взлетел на третий этаж. Я знал, что комната Джулии на стороне улицы; под дверью проступала полоска света. Подойдя вплотную, я легонько постучал ногтем. Джулия открыла, и я сказал:

— Я ждал, пока вы подниметесь к себе. Мне надо сказать вам кое-что лично, с глазу на глаз.

Она помедлила какую-то долю секунды, потом кивнула:

— Войдите.

Я очутился в мансардной комнатухе с одним окном и всего четырьмя предметами мебелировки: скамеечка под окном, узкая кровать, застеленная белым покрывалом, маленький столик и кресло-качалка. Джулия вежливо показала мне на качалку, но я отказался: «Нет, нет, она ваша», — и сел на скамеечку. Тогда Джулия тоже села, повернулась лицом ко мне и, скрестив руки на коленях, мило улыбнулась. Я сказал единственное, что сумел придумать за весь долгий вечер; пожалуй, такое объяснение было и в самом деле лучшим, поскольку было простым.

— Я частный детектив, — начал я и увидел, что мое заявление встречено с удовлетворением: я ответил на некий мучивший ее вопрос. — Мне очень жаль, но нахожусь я здесь в связи с расследованием деятельности одного из ваших постояльцев. — Я выждал чуть-чуть и добавил: — Речь идет о шантаже.

Глаза у нее расширились: она поняла, что я имею в виду не Феликса и не Байрона, и я кивком подтвердил ее догадку.

— Я не знаю, когда это станет достоянием широкой гласности. Быть может, никогда. Шантаж, возможно, даже увенчается успехом. Я ведь не из полиции... — Я опять по-

медлил и сказал: — Джулия, я не мог позволить вам выйти за него. Я должен был вам сказать.

Ровным голосом, не вступая в спор, но и не соглашаясь, она спросила:

— И кого же он, по-вашему, шантажирует?

Я ответил; имя Кармоди ей явно ничего не говорило. Затем, почти его же собственными словами, я обрисовал приготовления, которые Джейк вел на протяжении двух лет, и истинную причину его работы в муниципалитете. И, следя за ее лицом, я заподозрил, что мои слова не вызывают у нее внутреннего протеста, что на какие-то давние ее вопросы сейчас наконец получен правдоподобный ответ. Я рассказал ей о назначенном на сегодня свидании, сообщил, что собираюсь его подслушать, и даже поделился как. Минуты три-четыре — при данных обстоятельствах это была целая вечность — Джулия молча раздумывала над тем, что узнала. У ее постели лежал овальный, порядком застиранный коврик; она то смотрела на него, то поглядывала оценивающе на меня, то опять опускала глаза долу.

Я сидел, прислонившись спиной к окну, ощущая сквозь шورتук прохладу стекла, и тем временем изучал комнатку, очень опрятную, очень скромную. В общем она была достаточно удобной — вполне приемлемое убежище для человека, который проводит в его стенах не слишком много времени. Однако все здесь носило безличный, я бы сказал, умышленно временный характер; осматриваясь вокруг, я не забывал и хозяйку — она слегка прикусила нижнюю губу и, нахмурясь, двигала коврик носком ботинка; не составляло особого труда догадаться, о чем она думает. Умная и пастойчивая, она зарабатывала себе на жизнь тем, что помогала своей тетушке содержать пансион. Скорее всего при такого рода занятии она знавала и тяжелые времена; у нее, безусловно, развилось критическое отношение к окружающему. Она и раньше размышляла о своем будущем, и виделось оно ей не в этой каморке, а в замужестве.

Тем не менее, как только я рассказал ей о Джейке, она сразу же поняла, что я недалеко от истины.

Приходило ли ей в голову выйти за него несмотря ни на что? Предупредить его обо мне? Может статься — и все-таки не похоже. Если даже я и рисковал, то риск был просто неизбежен. В сущности я совершенно не ведал, какие чувства побудили ее согласиться выйти замуж за Джейка. Трудно было поверить, что это любовь; но кому дано судить о чужой любви, да и вообще никогда не известно, вкладывает ли другой человек в слово «любовь» тот же смысл, что и ты. Джейк ей, видимо, в какой-то мере нравился, а в какой-то мере она исходила из расчета — жизнь вынуждала, но упрека в бессердечии она не заслуживала. Джейк ей нравился, и в то же время она трезво оценивала себя и свое будущее; она не могла принять на слово все, что я нарасказывал ей про Джейка, но отнюдь не отрицала для себя возможности, что я рассказал правду...

Не знаю почему, — вероятно, краем глаза я уловил на лице какое-то движение — я выглянул в окно и увидел Джейка в тот самый момент, когда он, застегивая пальто, сошел со ступенек крыльца; поспешно вскочив, я отпрянул от окна на случай, если он вдруг посмотрит вверх. Джулия сразу же догадалась, в чем дело. Она приблизилась к занавеске, отвела ее на сантиметр от стенки и наблюдала — я тоже, встав у нее за спиной, — как Джейк быстрыми шагами удалялся в сторону Двадцатой улицы. Вот он повернул и исчез за углом; думаю, что она и так почти уже приняла решение, а теперь отпали последние сомнения. Еще секунду-две она смотрела ему вслед — его уже не было, — затем обернулась ко мне и сказала — не просительно, а констатируя факт:

— Я иду с вами.

Я кивнул.

— Хорошо. Через две минуты жду вас в передней.

19

Джейк был там, у себя в конторе. Часы показывали одиннадцать тридцать пять. Мы с Джулией стояли в темном подъезде «дома Морзе» — по другую сторону Нассау-стрит от «дома Поттера», и я пересчитал этажи, а затем окна: на третьем этаже во втором окне справа, если считать от лестницы, горел желтоватый свет. Контора Джейка была единственной освещенной комнатой по всему фасаду старого здания. Минут через десять высокий желтый прямоугольник потускнел, вспыхнул на миг багровым отблеском и погас.

Джулия держала меня под руку, и я почувствовал, как ее рука невольно сжалась. Она шепнула — скорее себе, чем мне: «Он уходит», — и я кивнул в темноте. Луна сияла в три четверти и поднялась высоко, но мы скрывались в непроглядной черной глубине подъезда. Я представил себе Джейка: вот он запирает дверь... выходит в короткий коридорчик — снаружи проникает какой-то слабый свет, а может, он запалил спичку, хоть я и не вижу ее отсюда... Вот он спускается по лестнице, придерживаясь за перила... А вот, как раз сию секунду, он сворачивает в длинный коридор первого этажа, чтобы пройти к Парк-роу и к парку ратуши. Пересекая улицу, он, пожалуй, взглянет на часы на ратуше — они покажут без десяти или без одиннадцати минут двенадцать. Не исключено, что с противоположного конца в залитый лунным светом парк в это мгновение входит Кармоди, держа в руках тяжеленный саквояж.

Я прижал руку Джулии теснее к себе и совсем уже было шагнул вперед, как вдруг — положительно никогда

не удастся предвидеть каждый поступок другого — Джейк показался из подъезда напротив нас и замер, настороженно оглядываясь по сторонам. А может быть, и прислушиваясь? Мы тоже застыли, не шевелясь, не дыша. А если в полной тишине ему удастся расслышать отчаянный стук моего сердца? А если кто-то из нас нечаянно шаркнул ногой? Джейк двинулся по своей стороне улицы, миновал наш подъезд, дошел до Бикмен-стрит, перешел ее и направился дальше к Энн-стрит; шаги его отдавались гулким эхом в каменных стенах домов.

Ну, конечно же! Он не стал выходить на Парк-роу, где его могли сразу же заметить из парка и Кармоди и неизвестно кто еще. Вместо этого он теперь войдет в парк со стороны Бродвея, и местоположение его конторы останется секретом до той минуты, когда он сам приведет Кармоди сюда.

Мы подождали еще, прислушиваясь и наблюдая за Джейком из подъезда. Вот он дошагал до Энн-стрит, завернул за угол и исчез. Тогда мы перебежали Нассау-стрит — в нашем распоряжении было не более нескольких минут, — поднялись при лунном свете по лестнице и попали в коридорчик у знакомой мне двери. Ключ был уже у меня в руке, я нащупал скважину, повернул его — дверь распахнулась. Чиркнул спичкой и, прикрыв ее ладонью, поспешил к газовому рожку над секретером, повернул вентиль, поднес к горелке огонек. Газ вспыхнул красноватым пламенем, я прикрутил его, опрометью кинулся через комнату к заколоченному дверному проему, подсунул руку под нижнюю доску и вытащил свой молоток.

Приходилось мириться с протестующим визгом выдерживаемых гвоздей. Я старался тянуть помедленнее, поравномернее, шуметь как можно меньше; ослабив гвозди, я просовывал под доску лапки гвоздодера и отдирал ее уже без всякого шума. Я снял две доски, потом третью — образовалась дыра в полметра шириной сантиметрах в семидесяти от пола. Джулия пригнулась, оперлась руками о ниж-

нюю доску — я помогал ей. Она переставила одну ногу, потом просунула, сторбившись, голову в дыру и... вскрикнула в испуге. Тогда и я заглянул на ту сторону: сквозь единственное окно в помещение проникал бледный лунный свет и — большей части пола не было, вместо него внизу зияла черная пустота.

С тех пор как я их видел, плотники поработали крепко — закончили второй этаж, потом перешли сюда и распилили доски пола, вскрыв балки перекрытия. Но здесь они начали, видимо, только сегодня после обеда, начали от дальней стены, отступая к обоим дверным проемам, и теперь от пола сохранился лишь один угол, треугольник между этой заколоченной дверью и дверью в коридор.

Впрочем, в углу оставалось еще достаточно места, чтобы стоять, а то и сидеть, и, помедлив секунду, Джулия сжала доску обеими руками и переползла на ту сторону. Мы потеряли несколько драгоценных мгновений, которые нам оченьгодились бы, если бы Кармоди поджидал Пикеринга в парке и они немедленно двинулись назад. Они вполне могли уже дойти до подъезда и начать подниматься по лестнице.

Приходилось идти на риск и уповать на то, что шум не услышат. Придерживая верхнюю из трех отодранных досок, я поставил ее так, что гвозди сели в старые отверстия, и, размахнувшись — размахнуться было нетрудно, простора хватало, да и видно было хорошо, — приколотил на место. Потом взялся за вторую доску — тут оказалось теснее и труднее, но с молотком моя вытянутая рука еще вполне управлялась. И я уже занес молоток, почти опустил его, как вдруг вспомнил...

Я уронил доску вместе с молотком на сторону конторы Джейка, протиснулся через суженную дыру, оторвав пуговицу — впрочем, она-то упала на нашу сторону — и расцарапав лицо от скулы до уха. Ввалился в контору, чуть не растянувшись плашмя, и бросился к секретеру, вытянув заранее руку. Пальцы мои нащупали вентиль,

крутанули его — ведь Джейк-то свет выключил! — и во вновь наступившей темноте я пробрался обратно в пустую комнату с остатками пола. Джулия держала и молоток и злосчастную доску наготове, я моргнул пару раз, чтобы глаза побыстрее привыкли к тусклому лунному свету, приладил ее и загнал гвозди на места. Не забыв переложить молоток на нашу территорию, я подобрал третью доску — и тут мы услышали слабый, еле проникающий через толщу здания бой часов на ратуше. Считать удары мы не стали, и, пока часы неторопливо пробили свои двенадцать раз, Джулия и я вместе, обхватив пальцами края последней доски, царапая гвоздями по косякам, методом проб и ошибок отыскивали отверстия и изо всех сил притянули доску к себе, а я безмолвно молился кому-то или чему-то, чтобы руки не сорвались и мы не соскользнули в темную пустоту за и под нами. Прозвучал последний медленный удар — доска стояла настолько прочно, насколько это представлялось возможным; пальцами сквозь щели я нащупал шляпки гвоздей. Они торчали сантиметра на полтора, и я попробовал доску еще раз — она все-таки качалась. Но я сказал себе, что она не отвалится и с той стороны никто ничего не заметит.

Как выяснилось, в запасе у нас оставалась добрая минута, если не две, а может, и все три, и мы постарались усесться поудобнее. Под себя мы подстелили скатанные пальто и расположились лицами к заколоченному проему, поджав ноги и обняв колени руками. Сидели мы совсем близко к щелям, но с тем расчетом, чтобы носки ботинок не высунулись ненароком из-под нижней доски. Я протянул руку, нашел колено Джулии и похлопал по нему ободряюще; по крайней мере намерение мое было именно таково.

Мы не слышали ни шагов в коридоре, ни голосов, ни даже скрипа половиц. Первым звуком, оповестившим нас об их появлении, был неожиданный лязг ключа в двери конторы Джейка Пикеринга, и Джулия порывисто схватила

меня за руку пониже локтя. Потом они вошли, и прямо в ушах у нас раздался грохот шагов по деревянному полу. Голос Кармоди, ужасающе близкий, произнес:

— Это что такое? — и слова отозвались эхом в окружающей нас пустоте.

Джулия еще крепче сжала мою руку. Газовый свет в конторе вспыхнул в полную силу, проецируя на дальнюю стену нашей комнаты неверные контуры заколоченной двери и в центре ее — силуэт человеческой фигуры. В нижней щели показались носки ботинок, чуть не прикоснувшиеся к моим, а рядом с ними в пол уперся серебряный наконечник эбеновой трости.

— Ничего особенного — шахта для лифта, — ответил голос Пикеринга нетерпеливо. — Давайте чемодан. Вот сюда.

Кармоди отошел от двери — в руке у него был чемодан. Мы услышали, как он слегка крикнул, поднимая чемодан на верх секретера. Оба они стояли без шляп — шляпы висели на гвоздях у входа — но в пальто. Мы увидели, как заработали руки Кармоди, услышали скрип расстегиваемых ремней, звяканье открываемых замков. Пикеринг ждал — он застыл у секретера лицом к нам, уставившись на чемодан широко раскрытыми глазами.

Наконец Кармоди откинул крышку; чемодан оказался наполненным деньгами, зеленые и желтые банкноты были перевязаны в пачечки коричневыми бумажными лентами. Джейк Пикеринг громко выдохнул и наклонился вперед, упиваясь зрелищем. Потом его губы медленно расплылись в улыбке, и он поднял глаза на Кармоди; оба они, и шантажист и делец, смотрели друг на друга дружелюбно и весело, словно оба разделяли удовольствие от вида чемодана на секретере.

— Здесь все? — спросил Пикеринг благоговейно.

Кармоди кивнул, и Джейк улыбнулся еще шире, почти влюбленный в своего противника, простивший миру преж-

ние обиды. Продолжая кивать — темные его волосы поблескивали в такт движениям головы, — Кармоди сказал:

— Да, здесь все. Все, что вы получите. Десять тысяч долларов.

У меня перехватило дыхание. Надо отдать Джейку должное — он не сбросил улыбки, лишь глаза его сузились и при трепетном свете газа сверкнули жестко и угрожающе. Он ничего не ответил, но, сжав кулаки, оперся ими о края секретера и перегнулся на выпрямленных руках через чемодан, сверля Кармоди взглядом, заставляя его говорить.

— Публика устала от разоблачений, связанных с «шайкой Твида»! — начал тот зло, но с оттенком самозащиты. — И вы с вашими бумажками слишком незначительны, и цена вам, — он показал на стоящий между ними чемодан, — ровно такова, и ни центом больше. «Шайка» распалась, Твид умер, и большинство свидетелей тоже. — Серебряным набалдашником трости, отлитым в форме львиной головы, он обвел стоящие по стенам бюро. — И все ваши документы не упрячут меня в тюрьму.

— О да, это я знаю! — Джейк не изменил свой позы. — Ваши денежки помогут вам избежать тюрьмы — я всегда понимал это. Но репутацию вашу я уничтожу, и никакими деньгами вы ее себе обратно не вернете.

Кармоди коротко рассмеялся, раздул ноздри и принял ся мерить комнату шагами. Держа трость за середину, он помахивал набалдашником и как бы дирижировал потоком собственных слов.

— Репутация!.. — повторил он презрительно. — Вы писарь, и мышление у вас писаря. Неужто вы полагаете, что все ваши разоблачения способны изменить мнение обо мне любого человека с весом? Да во всем городе вряд ли найдется богатый человек, который не сделал бы того же, что сделал я, а большинство и похуже! — Он остановился у секретера и пренебрежительно прикоснулся набалдашни-

ком трости к чемодану с деньгами.— Возьмите их и считайте, что вам повезло.

Но Джейк только усмехнулся.

— Вы правы — Карнеги это будет совершенно все равно. Он просто посчитает вас дураком, что вы попались. И Гулду будет все равно. И Майклу, Моргану, Селигмену, Сейджу и всем прочим. Мужчинам это будет совершенно все равно...— Он протянул руку над пачками денег и с полочки секретера достал полоску, аккуратно вырванную из газеты. Полоска была сложена пополам, он развернул ее и повернул к свету; я смог разобрать, что там напечатан длинный список, по-видимому, в две колонки.— «Миссис Астор»,— начал он читать сверху, интонацией отмечая кавычки.— Вот и все, что о ней сказано, ибо все мы знаем, какая именно миссис Астор, не правда ли? А вот ей будет не все равно. «Миссис Огест Белмонт» — ей тоже. «Миссис Фредрик Г. Бетс, миссис Г. В. Бревурт, миссис Джон Чивер, миссис Кларенс И. Дэй» — им всем тоже. А также «миссис Стайвесант Фиш, миссис Роберт Голет, миссис Улиссис С.»...

— Что вы мне читаете? — резко спросил Кармоди.

— Несколько наудачу выбранных имен из списка устроительниц благотворительного бала, который состоится сегодня вечером в Филармоническом обществе. «Миссис Оливер Гарриман, миссис Дж. Д. Джоунз, миссис Пьер Лориллар, миссис Томас Б. Масгрейв, миссис...»

— Достаточно!

— Не совсем.— Пикеринг оторвал глаза от списка.— Я пропустил одно имя, самое важное. Ей-то будет совершенно не все равно, ибо тогда ее имя никогда больше не будет фигурировать в столь блистательной компании...— Указательный палец Пикеринга поднялся к началу списка, потом медленно двинулся вниз и почти тотчас же остановился.— «Миссис Эндрю У. Кармоди»,— прочитал он, и серебряный лев на трости Кармоди с размаху опустился ему на голову.

Пикеринг свалился, как подкошенный, ударившись к тому же о кресло — оно с жалобным стоном отлетело на другой конец конторы. Джулия задохнулась — и не задохнулась даже, а сдавленно вскрикнула, но грохот кресла заглушил крик, — и попыталась подняться на ноги, однако я схватил ее за плечи и удержал силой, шепча на ухо:

— Нет, нет! Ничего серьезного!.. — хотя, конечно, не мог быть в этом уверен.

Какое-то время Кармоди стоял, глядя на распростертое тело, потом перевел взгляд на измазанный кровью набалдашник трости в своей руке. Посмотрел на раскрытый чемодан с деньгами и опять вниз — но уже не на человека, а на обрывок газеты у того в кулаке, потому что вдруг присел и вырвал ее из пальцев Пикеринга. Перечитал список, вернее пробежал глазами в поисках одного-единственного имени. Нашел это имя и прошептал вслух:

— Миссис Эндрю У. Кармоди...

Неожиданно Кармоди смял вырезку, скатал в шарик и с силой запустил им в неподвижного Пикеринга. Швырнул трость на пол, буквально пробежал два шага до откатившегося кресла и подвинул его поближе. Потом нагнулся, схватил безжизненное тело под мышки и втащил на сиденье. Голова у Пикеринга перекатывалась из стороны в сторону, и он сполз бы обратно на пол, но Кармоди нагнул кресло назад, откинув спинку так, что Пикеринг еле касался пола носками ботинок. Затем Кармоди расстегнул у Пикеринга ремень, рывком выдернул его из петелек, просунул между планками спинки и концами обхватил грудь и руки Пикеринга чуть повыше локтей. Концы не сходились; тогда Кармоди, придерживая кресло коленом в откинутом положении, снял еще и свой ремень, скрепил оба ремня вместе и, заведя пряжку за спинку кресла, затянул ее так крепко, что закрипели дерево и кожа, а я спросил себя, сможет ли Пикеринг дышать.

Дышать Пикеринг мог и, пока Кармоди заканчивал свое дело, начал ворочаться и что-то бормотать; потом, все

еще не раскрывая глаз, попытался приподнять голову, и из уголка рта у него вытекла длинная струйка слюны. Кармоди отступил на шаг, подобрал свою трость и поспешно зашел Пикерингу за спину. Наконец Джейк поднял голову и открыл глаза, в них появилось какое-то осмысленное выражение — и тут же они вновь плотно сжались: Пикеринг ощутил, наконец, боль от удара. Боль, вероятно, была дикая: лицо его смертельно побледнело, щеки раздулись, плечи провалились — он, видимо, еще и боролся с тошнотой. Несколько секунд он не двигался, потом опять медленно поднял голову и опять открыл глаза, не спеша, по одному, чтобы они заново привыкли к свету.

Потом он попытался поднять руки, однако смог лишь слегка пошевелить кистями и поскрести кончиками пальцев по коже обивки. Кармоди обогнул кресло и стал перед Пикерингом лицом к лицу. Они долго смотрели друг на друга; у Пикеринга от виска вниз протянулась узкая, почти совершенно прямая полоска подсохшей крови, другая такая же спускалась по лбу до густой темной брови.

— Вы создали невозможную ситуацию, — сказал Кармоди. — Вы нашли ключ. — Наконечником трости он коснулся смятой газетной вырезки, затем коротким взмахом отправил ее в сторону заколоченного проема; она скользнула под нижней доской, прокатилась мимо меня и свалилась в шахту. — В нынешнем сезоне моя семья впервые заняла подобающее ей место в нью-йоркском обществе. И уж я позабочусь, чтобы этот сезон не оказался последним. — Он закрыл чемодан, затянул ремни, снял с секретера и поставил возле двери. — Надо было брать, что дают. Теперь вы не получите ничего.

Кармоди снял пальто и кинул его на секретер, развязал галстук, расстегнул воротничок и жилетку, потом достал из жилетного кармашка сигару и тщательно раскурил ее. Когда она занялась как следует, он погасил спичку, бросил на пол и для верности наступил ногой. Затем напра-

вился к первому попавшемуся бюро и вытянул верхний ящик.

Несколько секунд Кармоди стоял перед ним с сигарой в зубах, рассматривая шифрованные разделители. Джейк Пикеринг оказался в силах развернуть свое кресло и получил возможность наблюдать за происходящим. Кармоди глянул на Джейка через плечо, вроде бы собирался что-то сказать, но передумал. Склонившись над документами, он начал перебирать их один за другим, быстро работая указательным пальцем. На каждом документе он задерживался не более секунды, рука двигалась почти без остановок, разве что для того, чтобы смочить палец языком или вынуть сигару изо рта и стряхнуть пепел. Изредка он просматривал какой-нибудь документ внимательнее, вынимая его из ящика. Дважды по прочтении он откладывал документы на верх бюро, остальные вынутые просто комкал и бросал на пол.

Но в ящике глубиной шестьдесят-семьдесят сантиметров помещалось, пожалуй, тысячи три-четыре, а то и все пять тысяч листов. Часы на ратуше пробили час ночи. Кармоди еще не добрался и до половины верхнего ящика, а отложил он всего два документа. Пикеринг заговорил:

— Я ждал, пока вы не убедитесь сами: чтобы просмотреть одно бюро, вам потребуется четыре-пять часов. А тут тринадцать бюро — поистине несчастливое для вас число...

Кармоди подошел к секретеру и бросил окурочку сигары в стоящую подле него плевательницу. Потом вернулся к открытому ящику и, положив руки на документы, чтобы возобновить поиски, усмехнулся Джейку через плечо.

— В моем распоряжении целая ночь, — сообщил он миролюбиво. — А если ночи не хватит, то и завтрашний день. И еще столько времени сверх того, сколько понадобится.

Указательный палец Кармоди заработал снова с той же скоростью; непрекращающийся шелест перелистываемых уголков стал для нас почти что частью тишины. Я нахло-

нился к Джулии и, когда губы мои прикоснулись к ее уху, прошептал на выдохе, почти беззвучно:

— Ложитесь, отдохните. Судя по всему, мы уйдем отсюда очень не скоро...

Я ясно видел ее лицо — она кивнула, и на лбу у нее качнулась полоска желтого света из соседней комнаты. Медленно, чтобы не издать ни звука, она прилегла вдоль стены на спину. Я же, сидя у дверного проема, осторожно склонил голову на косяк и одним глазом продолжал через щель наблюдать за Кармоди. Он стоял почти неподвижно над открытым ящиком, лишь кисть руки работала все тем же равномерным, однообразным движением.

Когда часы снаружи пробили два, Кармоди на одну треть пролистал средний ящик, и Пикеринг заговорил снова:

— Как вы могли заметить, нигде нет ни одного полного досье. Мне потребовалось бы самое большее двадцать минут, чтобы подобрать документы, которые относятся к вам, — а их десятки, и разбросаны они по всем ящикам всех бюро. Система, по которой они расположены, хранится у меня в памяти. А вы за два часа нашли всего две бумажки! Не пора ли понять, что вам волей-неволей придется иметь дело со мной?..

Кармоди даже не приостановился и не удостоил его взглядом.

— Одна ночь и даже еще один день за миллион долларов — такое жалованье меня устраивает, — сказал он, и ровный, нескончаемый шелест продолжался не прерываясь.

Я смотрел на него, как во сне, — не было никакого способа определить, сколько минуло времени, пока часы не пробьют снова. Через какое-то время Кармоди, не прекращая своих трудов, приподнял одну ногу и, разминая мышцы, несколько раз согнул и разогнул ее в колене, повертел стопой. То же самое он проделал и со второй ногой, затем расставил ноги чуть пошире, чем раньше. Еще какое-то

время спустя он замешкался на секунду, поразмыслил, вытащил ящик из бюро и, шаркая — ящик оказался тяжелым, — отнес его к секретеру и поставил на крышку. Присев на край секретера лицом к документам, он продолжал поиски, и Пикеринг рассмеялся:

— А я-то думал — когда же вы догадаетесь? Если вы устали, разрешите предложить вам мое кресло...

Кармоди и головы не повернул, будто и не слышал, пальцы его перебрасывали листок за листком.

Я откинулся назад поближе к Джулии. Здесь было совсем темно, и я не мог понять, спит она или нет, а шептать без нужды боялся. Мелькнула мысль, что неплохо бы выпить чашечку кофе, и в то же мгновение мне захотелось кофе так неодолимо, что, казалось, я просто не выдержу. И чего-нибудь поесть, подумал я потом, и тут же меня начал грызть голод. Я невесело усмехнулся: сколько же мы сможем вытерпеть? Чего-чего, а такого я не предвидел. Неужели Кармоди действительно намерен остаться здесь на весь завтрашний день? Невероятно — ему нужно поесть, нужно отдохнуть. И Джейку тоже; если бы они оба уснули, мы с Джулией, возможно, сумели бы прокрасться мимо них. Я то и дело задремывал и только усилием воли заставлял себя снова таращиться в темноту. Заснуть я не смел — в каком-то метре справа от меня пол кончался, и я вполне мог бы перекатиться и свалиться с высоты трех этажей в подвал. Часы пробили три, а шелест бумаги в соседней комнате не прекращался.

Спустя неимоверно долгий срок часы начали бить вновь, и я воспользовался этим, чтобы встать. Ноги у меня затекли настолько, что пришлось поспешно выбросить руку и опереться на стену повыше Джулии. Затем я принялся медленно и бесшумно потягивать мышцу за мышцей — руки, ноги, спину, шею, — считая про себя тягучие удары на ратуше: четыре часа. Подобрался к дверному проему, заглянул в щелку. Джейк спал, свесив голову на грудь и тихо похрапывая. Кармоди все так же сидел на краю сек-

ретера, только теперь привалился верхней частью туловища к ящику, стоящему на крышке; это был, как я отметил, верхний ящик из второго бюро. Кармоди тоже спал. У большинства людей иной раз является желание — или по крайней мере искушение — совершить что-нибудь немислимое до дикости: свистнуть в церкви, произнести вслух какие-то циничные слова. Сейчас меня подмывало заорать что есть мочи: «Караул!..» — и полюбоваться на чудовищный переполох в соседней комнате. Я улыбнулся, опустил на пол рядом с Джулией — и вдруг понял, не знаю как, что она не спит.

— Вы проснулись?

Она кивнула; я обрисовал ей положение вещей, сообщил, который час. Она спросила в ответ, спал ли я, и настояла на том, чтобы мы поменялись местами; охраняемый ею, я уснул почти мгновенно.

Разбудил меня первый свет занимающегося дня и неторопливый бой курантов на ратуше. Я открыл глаза — рука Джулии висела в двух сантиметрах надо мной, готовая прикрыть мне рот, если я спросонья заговорю. Я приподнял голову и поцеловал её ладонь, она испуганно отдернула руку, но потом улыбнулась. Показала пальчиком на соседнюю комнату, приложила его к губам — я ответил кивком. Как только отзвенели часы — было семь утра, — я вновь услышал звук, который, кажется, слышал вечно: шелест быстро перекидываемых листов.

Мы потихоньку передвинулись к заколоченной двери и сели, как раньше. Ничто не изменилось; правда, при дневном свете контора казалась еще более серой и запущенной, а подоконники снаружи чуть припорошил свежий снег. Кармоди сидел на секретере, ритмично листая документы из нижнего ящика третьего по счету бюро. Джейк повернулся в кресле и наблюдал за ним; на голове у пленника выросла огромная шишка величиной с кулак, лицо осунулось, глаза покраснели, под глазами набухли мешки, челюсть слегка отвисла. Надо думать, ему было чертовски

больно — и от удара по голове, и от невозможности переменить позу. Однако и Кармоди выглядел немногим лучше, глаза у него потускнели и воспалились, и меня ододело сомнение: в состоянии ли он полностью осмысливать строчки, непрерывно мелькающие перед глазами? На верху второго бюро теперь лежало пять документов.

Что-то должно было произойти, и скоро — это было очевидно. В свете нового дня я посмотрел на Джулию: она выглядела отдохнувшей и даже еще улыбалась. Тем не менее я понимал, что ни она, ни я не сможем оставаться здесь бесконечно. Да и Кармоди тоже. Джейка Пикеринга он, по всей вероятности, со спокойной совестью бросит связанным, но самому ему придется выйти, хотя бы ненадолго, за едой. А если он надумает уйти, сообразил я, то придется сунуть Джейку в рот кляп. Сейчас Джейк не смеет кричать, если не хочет получить еще раз по голове, но, как только Кармоди уйдет, он наверняка примется вопить во все горло, пока кто-нибудь не услышит и не заинтересуется, в чем дело, — и долго ждать ему не придется. Город уже проснулся, из-за окон к нам проникал его немолчный рев. Дом просыпался тоже; дважды снизу через шахту до нас доносились чьи-то шаги по лестнице. Ну хорошо, подумал я, Кармоди уйдет, а дальше что? Отбить доски и пройти через контору незаметно для Джейка мы, разумеется, не можем. Я перегнулся и бросил взгляд вниз. Половицы кончались у самых моих ног, и мне была видна вся шахта донизу, хорошо освещенная сквозь окна со стороны Нассау-стрит. На этажах под нами балок уже не существовало, и выбраться каким-либо образом через шахту, разумеется, тоже не представлялось возможным.

Примерно полчаса спустя Кармоди остановился. Поднялся на ноги, повел плечами, покрутил головой, наклоняя шею, разгоняя застоявшуюся кровь. Посмотрел внимательно на Джейка, и не составляло труда догадаться, что у него на уме: можно ли рискнуть покинуть контору хотя бы на время и как это лучше сделать? Но потом ему при-

шло в голову такое, до чего я не додумался: он повернулся и начал один за другим открывать ящики секретера. Я ведь тоже обшарил их вчера — и я знал, что он там найдет...

Наконец он взялся за нижний левый ящик, вытащил его, достал оттуда бумажный мешочек, заглянул внутрь и с усмешкой поднял глаза на Джейка. Присев на секретер, Кармоди вынул и съел один за другим четыре или пять больших белых сухарей — и даже подсунул руку лодочкой под подбородок, чтобы не потерять ни крошки. Крошки он тоже отправил в рот, затем закусил яблоком, сжевав его целиком вместе с сердцевинкой. Не то чтобы он намеренно издевался над Джейком, но тот смотрел на Кармоди просто неотрывно, и когда Кармоди снова встал, отряхивая руки, то ухмыльнулся. Потом он выдвинул тот ящик, где лежала недопитая бутылка виски, вытащил пробку и сделал несколько больших глотков. Все еще с пробкой в руке он бросил на Джейка взгляд, преисполненный сомнений, но тем не менее спросил:

— Встряхнуться хотите?

Джейк помедлил и дернул плечом, не желая сказать «да» и не в состоянии отказаться; Кармоди подошел к нему поближе и со слегка презрительной усмешкой представил горлышко к его губам, дал глотнуть раз-другой и отнял бутылку. И потом — я схватился за голову и начал беспомощно раскачиваться взад и вперед — снова приступил к работе.

Еще более двух часов мы провели в каком-то тупом оцепенении. Джулия почти не меняла позы, сидела, неподвижно уставившись в пол, да и я тоже; через какое-то время я обнял ее и притянул к себе, чтобы она положила голову мне на плечо. Мне начало казаться, что Джейк Пикеринг, пожалуй, оправился: лицо немного порозовело, скорее всего от виски, да и спал он больше, чем мы. Правда, вот уже девять часов с лишним он не мог ни встать, ни двинуть рукой; ему, наверно, было ужасно неудобно, и я

от души позавидовал его спокойствию, когда он наконец заговорил снова:

— Финансисту положено разбираться в цифрах. Так вот вам задача: если человеку требуется девять с половиной часов, чтобы просмотреть содержимое двух с половиной бюро, то сколько времени у него уйдет на то, чтобы обыскать все тринадцать?..

Кармоди не обернулся, но выслушал: руки его замерли на плотно спрессованных документах в ящике, который он как раз поставил перед собой. Звучала «задача» насмешливо, но не издевательски, и я ожидал, что Кармоди ответит улыбкой или пожатием плеч и продолжит работу. Но сам я чисто механически стал искать решение, умножать и складывать в уме, и, быть может, Кармоди занимался тем же. Несколько секунд он просто сидел, размышляя, и какая-то из неизбежных составляющих ответа на заданный вопрос — то ли необъятность предстоящей работы, то ли длительность изматывающего сосредоточения, с которым он уже познакомился, а ведь это только начало, — что-то вдруг поразило Кармоди. Потому что он неожиданно сломался. Резко повернувшись, он уставился на Джейка в упор — а тот всюю ослабился, — и Кармоди коршуном бросился на ящик, запустил скрюченные пальцы в его нутро и вытащил разом целую кипу бумажек. С поднятыми руками Кармоди кинулся к Джейку и что есть силы швырнул скользкую кипу прямо тому в лицо.

Сила удара резко качнула Джейка вместе с креслом назад, взвизгнули пружины, а документы каскадом разлетелись по плечам и груди и, рассыпаясь на отдельные паечки и листочки, стекали по коленям, планировали на пол. Но когда Джейк и кресло опустились на место, он по-прежнему смеялся, и Кармоди сгреб в охапку те бумажки, что еще оставались в ящике, постоял немного и с маху опустил эту огромную грудку ему на голову. Но Джейк все смеялся, и тут Кармоди совершенно вышел из себя.

Он подбежал к ближайшему бюро и выдернул верхний ящик напроць; ящик упал, раскололся, половина содержимого высыпалась на пол, и Кармоди ботинками наподдал по нему, вышибая оттуда и остальное. Один за другим, без передышки, Кармоди выдернул еще пять-шесть ящиков, и каждый с треском падал, сотрясая пол и рассыпаясь на дощечки. Потом Кармоди вошел в море бумаг и принялся расшвыривать их ногами, так что они взлетали и кружились по комнате на высоте его пояса. Наконец он остановился, тяжело дыша и дико озираясь по сторонам, — видимо, раздумывая, как бы избавиться от этих бумажных россыпей, потому что через мгновение стал подгребать их ногой прямо к нашему дверному проему. Ногой же он пропихнул большую кину под нижнюю доску мимо нас с Джулией, мы слышали шелест свободно падающих листочков и глухой удар, когда основная их масса упала на дно шахты. Он пропихнул таким же образом в шахту, наверное, половину раскиданных по полу бумаг, прежде чем остановился, чтобы перевести дух; глаза Кармоди, устремленные на Джейку, горели яростью, плечи вздымались, дыхание вырывалось со свистом — а Джейк смеялся.

Думаю, что этот дикий порыв пошел Кармоди на пользу, и когда он наконец отдышался, то тоже усмехнулся. На секунду-другую, как ни странно, между двумя мужчинами установилась атмосфера почти полного товарищества. Кармоди достал из внутреннего кармана пальто, лежавшего на секретере, сигару и поднес ее к губам. Но внезапно взглянул на Джейку и протянул сигару ему, а тот наклонился, откусил зубами кончик и выплюнул на пол. Продолжая усмехаться, Кармоди сунул сигару другим концом Джейку в рот и вполголоса спросил:

— Какого черта вы так смеетесь?

Он вернулся к пальто и достал вторую сигару.

— Потому что вы можете раскидать мои документы по всему зданию, — ответил Джейк. — Вы можете задать мне уйму работы, прежде чем я соберу их сызнова. Но вы не

можете их съесть, Кармоди. Где-то в этой куче, здесь ли на полу или на дне шахты, лежат несколько бумажек, которые будут стоить вам ровнехонько миллион долларов.

Кармоди кивнул, вытащил большую кухонную спичку и привычно зажег ее о ноготь большого пальца. Поднес огонек к сигаре Джейка, потом прикурил сам, не спеша, с наслаждением, как истый любитель сигар. Выдохнул колечко голубого дыма, вынул сигару изо рта, с удовлетворением осмотрел горящий конец, на котором начала уже образовываться тоненькая корочка пепла. Затем поднял руку, чтобы погасить спичку, и... не стал ее гасить. Он смотрел, смотрел на рыжий огонек, отодвигая пальцы по мере того, как огонек полз по черенку. И — разжал пальцы и позволил непогашенной спичке упасть на пол.

Она могла бы потухнуть, не долетев до пола. Или же могла упасть на голые доски и погаснуть там. Но она упала на край листочка папиросной бумаги, и к тому же обгоревшая часть ее отломилась. В комнате была мертвая тишина, ничто не двигалось, за исключением крошечного язычка пламени; Кармоди стоял над ним, Джейк, как мог, подался в кресле вперед, зажав сигару в зубах, и оба ели спичку глазами. Казалось, она потухла, пустив вверх завиток голубого дымка, но нет — на бумаге появилось желтое пятно и над ним — бледная коронка огня. Пятно быстро потемнело, разрослось, обуглилось, превратилось в рваную дыру; стало слышно шуршание пламени, оно покраснело, поднялось выше и разгорелось. Расширяющийся круг дошел до края листка, коснулся другого, и тот занялся тоже.

Не помню, как мы вскочили, но мы с Джулией, разумеется, были теперь на ногах, ее рука стиснула мою кисть, и в зрачках светился немой вопрос. Если бы Джейк и Кармоди взглянули сейчас в сторону дверного проема, то, несомненно, увидели бы наши ноги без ботинок, но, конечно, ни тот, ни другой не смотрели сюда. Пламя медленно расползалось, захватывало лист за листом, его еще не состав-

ляло труда затоптать, я мог бы плечом вышибить доски и погасить его за несколько секунд. Я надел ботинки, и Джулия последовала моему примеру. Затем я поднял с полу наши пальто и шапки, и мы надели их, не отрывая глаз от щелей. Я был готов, если пламя слишком разгорится, в любую минуту кинуться вперед — и улыбнулся Джулии; я был насторожен, но не испуган, и она, по-моему, тоже.

Но Джейк был связан и беспомощен. Мне кажется, он старался сдержаться, стиснув сигару зубами, но не сумел.

— Господи,— произнес он,— нет!

Он взглянул на Кармоди с мольбой — с ненавистью и мольбой,— а Кармоди в свою очередь на него. Потом как зачарованный перевел глаза на огненный круг, величиной уже с тарелку,— пламя слегка потрескивало и неуклонно расплзалось.

— Вот ведь ответ, не правда ли? — сказал он тихо.— Сжечь ваши проклятые архивы, да и дело с концом! Как я до этого сразу не додумался?..

— Кармоди, ради бога,— начал Джейк ровным голосом, но сорвался на крик,— развяжите меня!..

— Чего ради?

Кармоди не издевался — вопрос был задан всерьез.

— Вы не можете этого сделать. Кармоди. А как же все другие, кто находится в доме? Чужие люди, которые не сделали вам ничего плохого?

— Они успеют убежать — здесь достаточно лестниц. А дом уже отжил свое. Поттер будет только рад, что очистилась площадка...

Он ухмыльнулся, взял с секретера пальто и надел его. Пламя, без сомнения, все еще нетрудно было затоптать, и я выжидал. Если Кармоди уйдет, мне придется вломиться в контору, погасить огонь и развязать Джейка. Но я все же надеялся, что Кармоди не оставит его одного, и я оказался прав. Кармоди заставил противника натерпеться страху, пока надевал пальто, а затем усмехнулся снова.

— Потерпите еще минутку, и я развяжу вас. Мы вый-

дем с криком «Пожар!» — и покинем здание. Никто не пострадает.

Он тоже выжидал. Но лежащая плашмя бумага горит плохо, а тут листы лежали друг на друге толстым ковром; чтобы они разгорелись как следует, требовалась тяга снизу. Какое-то время огненный круг расширялся почти равномерно, потом стал превращаться в неправильной формы овал с обугленными краями. Одной рукой я удерживал Джулию за плечо, и мы наблюдали за ними все так же молча и не двигаясь. В висках набатом стучала мысль, что я не должен вмешиваться: если они скоро уйдут, мы тоже сможем беспрепятственно покинуть здание. Не затем я здесь, чтобы менять ход событий, и уж во всяком случае не ради спасения старого ветхого дома.

Теперь Кармоди нетерпеливо хмурился; он нагнулся, поднял солидную пачку листов и начал мять их, скручивать и подбрасывать в огонь. Пламя подпрыгнуло, затрещало, выросло в костер — тогда он бросился к Джейку и стал торопливо расстегивать пряжку за спиной кресла. Усилием воли я заставил себя стоять спокойно, и хотя Джулия, повинаясь моей руке, тоже не двигалась, в глазах у нее появился испуг.

Наконец пряжка разошлась, Джейк выпрыгнул из кресла, пошатнулся после долгих часов, проведенных в скрюченном положении, и в буквальном смысле слова рухнул в огонь! Но не упал — нет, он умышленно кинулся на пламя и принялся, как сумасшедший, кататься по полу, а комнату наполнил запах опаленного сукна и волос. Он гасил пожар, и успешно! Тут Кармоди схватил его за ногу и стал волоком оттащить от огня, а Джейк размахивал руками, пытаясь за что-нибудь уцепиться. Ему удалось выдернуть ногу, он перекатился на четвереньки и быстро-быстро пополз обратно в огонь. Тогда Кармоди пробежал мимо него, ботинком поддел горящую кучу и резким ударом откинул ее под нижнюю доску нашего проема; Джулия и я инстинктивно отступили в разные стороны,

бумаги скользнули между нами и полетели вниз. В ту же секунду пламя загудело, раздуваемое надением. Я успел наклониться и увидеть, как огненный шар разбился о дно шахты; пламя на мгновение сникло — и тут же вся масса бумаги в шахте разом вспыхнула, будто взорвалась. Это был уже не треск, огонь взревел как водопад, языки его подпрыгнули вверх на целый этаж — нас даже обдало жаром...

Теперь справиться с пожаром стало просто невысказанно и выжидать было больше нельзя; я уперся в доски левым плечом, нажал на них что есть мочи — они полетели на пол, а я с грохотом ввалился в контору. Две нижние доски остались на месте, я переступил через них, и Джулия следом за мной — я тащил ее за руку. Джейк, стоя на четвереньках, держал Кармоди обеими руками за одну ногу, а тот отчаянно прыгал на другой, стараясь удержать равновесие. В совершеннейшем изумлении они обернулись и уставились на нас, замерев, как «живая картина»: Кармоди на одной ноге, Джейк привстав на колени и обнимая Кармоди за другую ногу у щиколотки.

— Уходите! — закричал я. — Надо уходить! Видите, что там творится?..

Я ткнул пальцем в сторону дверного проема и шахты: огня видно не было, но было слышно, как он ревет, и горячий воздух в шахте дрожал и переливался. Тут Джейк изо всех сил дернул Кармоди за ногу, тот поскользнулся на грудке бумаг и с маху грохнулся на пол так, что затряслись половицы. Прямо с колен Джейк, как хищный зверь, бросился на Кармоди, и они принялись перекатываться по полу. Не знаю, то ли Джейк не понял, что пламя перекинулось на дно шахты и погасить его теперь невозможно никакими средствами, то ли обезумел, видя, как гибнет все, на что он возлагал столько надежд. Но в коридоре уже раздавался топот бегущих ног, где-то кто-то заорал: «Пожар!» Неистовый топот скатился по лестнице вниз, истошно завопила какая-то женщина. Крики «Пожар!» слышны

были уже со всех сторон, и настала пора подумать не о других, а о Джулии. Борющихся, перекатывающихся по полу мужчин мы уже предупредили, при желании они могли спастись, и я повернулся к двери и поволок Джулию за собой. Однако она дергалась, старалась вырвать у меня руку и кричала:

— Джейк! Джейк! Бога ради, уходи!

Я сжимал ее руку так крепко, что побаивался раздавить кости; теперь я силой потянул Джулию к выходу. Отперев дверь, я пригнулся, нырнул Джулии за спину, перехватил ее вторую руку, вцепившуюся было в косяк, вытолкнул свою спутницу в коридор и потащил за собою к лестнице.

Со всех сторон неслись крики «Пожар!», топот, вопли, кто-то звал кого-то по имени. Мы выбежали на площадку, и я поволок Джулию вниз, глядя под ноги, чтобы не оступиться, — но вдруг вцепился в перила и резко остановился. На этом пролете все было в порядке, так же как — я видел лестничную клетку донизу — все было в порядке и на следующем пролете и на следующей площадке. Но ниже марши, примыкающие к шахте, были скрыты за стеной оранжевого пламени и клубами плотного черного дыма. Мужчина без пиджака, до сих пор с пером в руке, и две девушки, приподнявшие юбки почти до колен, медленно отступали нам навстречу вверх по лестнице, зачарованно глядя на режущее оранжево-черное месиво. Потом все трое разом повернулись и бросились в нашу сторону.

Мы побежали впереди них — полпролета вверх, а затем сломя голову вдоль длиннющего коридора, пересекающего здание насквозь, к лестнице, ведущей на Парк-роу. Но как мы ни спешили, мы опоздали. На площадке мы сразу же заглянули через перила вниз и увидели, что и эта лестница объята пламенем от первого до второго этажа, и на наших глазах огонь поднимался все выше. Очевидно, пожар почти мгновенно распространился по низу здания, и первый этаж, вероятно, был сплошь в огне. Подбежали мужчина

с пером и две девушки, и как раз когда мы вместе обернулись и окинули взглядом коридор, который привел нас сюда, языки пламени показались на той, оставленной нами площадке. Тут только я ощутил, что и пол у нас под ногами горячий.

Я схватился за ручку ближайшей двери — она оказалась запертой, но в самом конце коридора виднелась дверь, распахнутая настежь, и мы побежали туда. На двери значилось: «Нью-Йорк обсервер», и мы влетели в большую комнату, заставленную секретерами, письменными столами, конторскими бюро для документов. Одно из окон было открыто, на нем трепыхалась зеленая занавеска. На подоконнике, на свежевыпавшем снегу, отпечатались следы чьих-то ног. Неужели кто-нибудь вылез и прыгнул? Я взглянул, но никакого распластанного тела внизу на тротуаре не заметил. Зато я увидел толпу, собирающуюся у стены почтамта наискосок через Бродвей и в парке ратуши прямо напротив нас. Толпа росла прямо на глазах; под нами на улице остановилась первая пожарная машина, и два пожарника устремились с кишкой к гидранту, а третий распрягал лошадей. Зазвонил колокол, и по Парк-роу подъехала еще одна пожарная, а по ту сторону парка ратуши из-за угла Бродвея и Мейл-стрит вывернула повозка с баграми и лестницами, запряженная четверкой серых коней.

Все это я увидел за какую-то долю секунды; потом я глянул снова на подоконник и заметил прямо под ним вывеску, которую некогда читал с улицы, — «Нью-Йорк обсервер». Вывеска крепилась к стене нижним краем, а верхний отклонялся сантиметров на тридцать-сорок и удерживался на весу ржавой проволокой. У меня не было ни малейшего представления, выдержит ли вывеска нашу тяжесть, во всяком случае ее приделывали не для того, чтобы служить нам опорой. Однако Джулию она выдержит скорее, чем меня, и надо было бы выпустить ее вперед, пока крепление не ослабло или даже не сорвалось от моего веса.

— Вылезайте, Джулия! — сказал я. — Прямо на вывеску! И ползите к дому «Таймс»!..

Но она закачала головой, плотно зажмурилась, и лицо ее побелело. Так она и стояла с закрытыми глазами и все трясла головой, и я понял, что тут ничего не поделаешь: есть люди, просто неспособные преодолеть страх перед высотой. Другого выхода теперь не оставалось, я вылез на подоконник и, присев, уперся левой ногой в верхнюю кромку наклонной вывески, а затем осторожно перенес на эту ногу всю свою тяжесть. Вывеска выдержала. Тогда, вцепившись обеими руками в подоконник, я опустил правую ногу в желоб между вывеской и стеной. Медленно выпрямившись, я окончательно встал на вывеску и отнял руки от подоконника. Ветер швырял жесткие снежинки в лицо и в глаза, и — невероятно, но факт — несмотря на смертельный страх, что вывеска вот-вот сорвется и я полечу вниз, я порадовался тому, что на мне теплое пальто и меховая шапка.

Джулия в своем темном пальто и капоре застыла у окна, словно окаменела, не в силах отвести от меня взгляда. Прежде чем она успела отступить назад, я протянул правую руку, схватил ее за кисть и дернул к себе так сильно и так быстро, что ей пришлось встать коленом на подоконник, иначе я попросту перетащил бы ее на животе. Но я все тянул и тянул, и, чтобы не упасть, ей пришлось опереться и на второе колено, а я все тянул, теперь уже резкими короткими рывками, и, сама того не желая, просто чтобы не нырнуть вперед головой, она перенесла ноги через подоконник и очутилась на улице, не то встала, не то сползла на вывеску чуть впереди меня, защищаясь свободной рукой от колючего снега. Я заметил, как у самых ног Джулии одна из проволочных петель распрямилась от напряжения, и крикнул:

— Не смотрите вниз! Ни в коем случае не смотрите вниз! Просто идите!..

Этот дом и дом «Таймс» были построены стена к стене,

соприкасаясь или почти соприкасаясь друг с другом — щель между ними не составляла и сантиметра. Двойная, без окон и дверей, каменная стена — надежная преграда огню, и, действительно, в доме впереди никаких признаков пожара не было. Зато из-под наших ног, пока мы ползли высоко над улицей, поднимались к небу потоки тепла: наклонная вывеска частично отражала их, но наружный ее край, за который мы придерживались руками, оказался почти раскаленным. Джулия двигалась медленнее меня, ей мешали ее бесчисленные юбки, и мне пришлось опять остановиться, и вновь до моего сознания стало доходить то, что творится на улице и в парке. Я увидел пожарников, бегущих с лестницами, и других, стоящих попарно с медными брандспойтами и направляющих толстые белые струи в огонь; их черные резиновые куртки тоже побелели от намерзающей воды. Полицейские натягивали канаты, оттесняя зевак с мостовой на тротуар на противоположной стороне Парк-роу. Мне показалось странным, что многие в толпе раскрыли зонты, защищаясь от снега, и непонятно почему, но только вид на эти черные зонты сверху заставил меня понастоящему осознать, на какой я сейчас высоте.

Мои наблюдения продолжались всего секунду-две — Джулия успела проползти не больше метра. А на подоконнике, откуда мы начали свой путь, уже стояли тесной кучкой мужчина и две девушки, бежавшие за нами. Мужчина вытянул руку, не разрешая девушкам вылезти на вывеску, понимая, должно быть, что она сорвется и упадет от тяжести еще хотя бы одного человека. Он перехватил мой взгляд и нетерпеливым жестом показал, чтобы мы потопливались.

И тут Джулия замерла, скрючившись у самого конца вывески, и я вытянул шею, чтобы посмотреть, в чем дело. Этажи в доме «Таймс» были чуть выше, чем в нашем, и вывеска на том третьем этаже располагалась соответственно выше нашей. Та вывеска была короткой, всего на два окна, и я даже смог прочесть надпись черными буквами по бе-

лому фону: «Дж. Уолтер Томпсон, агент по рекламе». Между вывесками оставался примерно полуметровый разрыв, и Джулия застыла у конца нашей вывески, не решаясь переступить через пустоту.

Наша вывеска начала сильно дрожать, и я оглянулся: одна из девушек, стоявших на подоконнике, с перекошенным от страха лицом спустила на вывеску ногу и собиралась вот-вот встать на нее. Как только это случится, вывеска сорвется и упадет; тут не было никакого сомнения. И Джулия оглянулась тоже, увидела, что увидел я, и поняла, что понял я. Она стремительно выпрямилась и — уверен, что глаза у нее были крепко зажмурены, — слепо шагнула правой ногой вперед и вверх через разрыв. Нога ударилась в стену здания «Таймс» и соскользнула в желоб между стеной и вывеской. Она оторвала левую ногу от нашей вывески, перекинулась через промежуток всем телом и стала на ощупь искать опору для левой ноги. Ни за что на свете не хотел бы я еще раз стать свидетелем такой сцены: нога Джулии вслепую опускалась на заснеженную кромку вывески, и если бы она промахнулась, то неизбежно свалилась бы через край вниз. Но нога нащупала кромку, чуть вильнула на скользком снегу, потом правая ладонь шлепнулась о стену дома, и Джулия замерла, покачиваясь, чтобы сохранить равновесие. Потом она наклонилась, почти упала вперед — она помнила обо мне даже невзирая на владеющий ею ужас — и поползла дальше, освобождая для меня место.

Однако я медлил. Я добрался до самого конца своей вывески и ждал: не было никакой уверенности, что вывеска Джулии выдержит нас обоих, зато та, на которой стоял я, безусловно, выдержит двоих. Оглянувшись еще раз, я увидел, что по ней уже ползет первая из девушек. А Джулия тем временем достигла ближайшего окна, и не успел я подумать: а открыто ли оно? — оттуда протянулись две руки, схватили ее под мышки, приподняли и втащили внутрь, только ноги слегка брыкнулись на лету.

Тогда я поднялся в рост, переступил через разрыв и быстро двинулся к тому же окну. У самого окна я оглянулся в последний раз и увидел сквозь снегопад, что и вторая девушка быстро лезет по вывеске, а мужчина все ждет на подоконнике своей очереди; из окна валил дым и даже, мне показалось, выбилось пламя, жара там должна была быть невыносимой. Я приветственно помахал ему рукой, надеясь подбодрить его, — самообладанием он отличался отменным. Но сам я уже достиг цели, и тот же человек, молодой и бородатый, что помог Джулии, помог и мне, и мы с ней были теперь в безопасности.

Я обнял ее рукой за талию и улыбнулся ей от всей души, а она прижалась ко мне, склонив голову мне на грудь. Взгляда она не опускала, смотрела на меня и, полусмеясь, полуплача, непрерывно шептала: «Слава богу, слава богу, слава богу...» Свободной рукой я пожал руку мужчине, который нас втащил. Это оказался мистер Томпсон, хозяин кабинета. Тут же стояли и весело посмеивались еще двое, и одного из них я признал: доктор Прайм из «Обсервера», тот самый, что на днях подсказал мне, как найти дворника. Выяснилось, что и он и второй человек с ним рядом перебрались сюда по вывеске, как и мы.

Томпсон снова двинулся к окну, чтобы помочь первой из девушек, а мы с Джулией вышли в коридор. Навстречу нам попался человек в рубашке, на бегу натягивающий пиджак. Он нас окликнул, как раз когда мы повернули на лестницу: он-де репортер из «Таймс» и не мы ли только что спаслись из горящего дома по вывеске — он наблюдал за нами с улицы. Я ответил — нет, они все в кабинете Томпсона. И мы с Джулией сбежали по лестнице вниз, на улицу.

Я сохранил — и, наверно, буду хранить всегда — газету «Нью-Йорк таймс», вышедшую на следующее утро, 1 февраля 1882 года. Вся первая страница и большая часть вто-

рой отданы репортажу с этого страшного пожара. Не испытываю желания описывать, что мы с Джулией увидели с улицы, лучше приведу дословно выдержку из газеты:

«...в окнах верхних этажей... теснились человеческие фигуры. Искраженные ужасом лица мужчин и женщин были устремлены сквозь дым на собравшихся внизу; руки тянулись с мольбой о помощи, голоса взывали о спасении. Пламя и дым придавали лицам потусторонний вид, а крики, смешиваясь с ревом огня и хриплой переключкой пожарных, доносились к волнующейся внизу толпе, как голоса из могилы. Пожарные бесстрашно рисковали жизнью, стремясь помочь отрезанным от земли страдальцам, однако, как ни расторопно они действовали, задыхающимся людям в горящем здании казалось, что те передвигаются слишком медленно. Огонь столь стремительно делал свое дело, что пробиться к погибающим через лестничные клетки оказалось совершенно невозможным. Пожарные ставили раздвижные лестницы, но лестницы доходили лишь до третьего этажа, а чтобы их нарастить, требовалось время. Обреченные воочию видели, как к ним неуклонно и неотвратно приближается смерть, и приготовления, ведомые ради их спасения, казались им воистину бесконечными...»

Вряд ли кому-либо в наше время доводилось видеть что-либо подобное. Каменными были только наружные стены здания, все остальное — полы, оконные рамы, двери — было из дерева. Из дерева же была почти вся мебель в комнатах и даже стены и потолки — сетчатая дранка под штукатуркой. И все это дерево за многие годы стало сухим, как порох. Огонь, охватив весь первый этаж, буквально взлетел по обеим лестницам наверх. На двух нижних этажах языки, нет, полотнища пламени вырывались — я не преувеличиваю — из каждого окна и яростно вытягивались, подпрыгивали, словно всеми силами стремились вскарабкаться вверх по стене. Вместе с огнем из окон клубами валил густой жирный дым. Колючий ветер нес по улице вихри снега, и с каждым его порывом языки пламени на несколько долгих мгновений ложились плашмя, вздрагивая и развеиваясь, но при первой же возможности

выпрямлялись и старались лизнуть стену еще выше, чем раньше.

По сей день, стоит мне закрыть глаза, я вспоминаю эти страшные краски: темный, прокопченный фасад старого здания, дикое оранжево-черно-красное буйство огня и дыма, красные паутинки пожарных лестниц и люди на окнах, по большей части в черно-белых костюмах, но одна девушка в длинном ярко-зеленом платье. И все это сквозь белую завесу крутящегося снега — невероятное, кошмарное сновидение...

С третьего этажа людей сняли довольно быстро, хотя окна над вывеской «Обсервер» уже закрывала сплошная стена пламени. Кое-где лестницы могли бы достать и до четвертого этажа, но как только их верхушки вытягивались выше третьего ряда окон, середина упиралась в переплетения протянувшихся над улицей телеграфных проводов. Пятеро или шестеро пожарных подняли одну из лестниц и, орудуя ею как тараном, попытались силой пропихнуть сквозь провода. Тонкие черные нити натягивались, лопались, опадали на землю и в конце концов уступили напору. Таким же манером удалось протолкнуть еще две лестницы, и по ним, временами полностью исчезая в клубах черного дыма, поспешно соскользнули вниз несколько человек. Однако другие лестницы не прошли сквозь провода, и на наших глазах мужчины, а следом за ним женщина повисли на подоконнике на руках, болтая ногами в воздухе, и по команде пожарника, оседлавшего самую верхнюю перекладину, упали в его объятия.

Тут Джулия принялась дергать меня за пальто.

— Джейк! — закричала она прямо мне в ухо. — А если Джейк тоже на подоконнике?.. Со стороны Нассау-стрит...

Я совершенно забыл про Джейка и про Кармоди — происходящее начисто вытеснило их у меня из головы. Но Джулия уже спешила прочь, и я последовал за ней, с трудом продираясь через толпу. Наконец мы выбрались на свободу и по парку пробежали к почтамту. Отсюда нам

был виден не только охваченный огнем фасад, выходящий на Парк-роу, но и южный фасад, по Бикмен-стрит.

«На Бикмен-стрит,— сообщала газета «Нью-Йорк таймс» в среду 1 февраля 1882 года (мы с Джулией тоже наблюдали это, стоя в примолкшей толпе),— вцепившись в подоконник четвертого этажа, висел седовласый мужчина, и пожарные уже налаживали лестницу, чтобы подняться к нему. Он держался мертвой хваткой, но пламя оказалось сильнее его. Видно было, как оно вырвалось из окна, под которым он висел. Пожарные уже почти достигли цели, когда единодушный стон вылетел из тысячи уст: руки старика разжались, и тело его рухнуло вниз, на каменную мостовую. Пострадавший оказался Ричардом С. Дейли, наборщиком из «Скоттиш Америкэн». В бессознательном состоянии его доставили в больницу на Чэмберс-стрит, где вскоре смерть избавила беднягу от дальнейших мучений».

— Мы могли предотвратить это,— прошептала Джулия. Затем вцепилась в меня обеими руками и тряхнула так сильно, что я пошатнулся.— Мы могли, мы могли! — яростно бросила она мне в лицо. Секунду-другую еще смотрела на меня в упор, потом отвернулась, пробормотав: — Никогда себе не прощу...

Возразить ей я не мог. Мне хотелось умереть со стыда, но надо, необходимо было что-то делать, как-то действовать. Мы начали пробираться к Нассау-стрит, и тут мне наконец представилась такая возможность.

На окно четвертого этажа вскарабкалась молодая женщина; когда я заметил ее, я вначале удивился — где же она была столько времени? Вероятно, металась из комнаты в комнату, пока не обнаружила окно, еще не охваченное пламенем. Взбравшись на подоконник, она тщательно притворила раму у себя за спиной, потом, подняв руки и вытянув их в стороны, крепко уперлась в кладку оконного проема. Снизу она казалась поразительно невозмутимой: не кричала, не плакала, просто смотрела вниз, на нас, и ждала. Видимо, она понимала, что назад пути отрезаны, что это окно — ее последний шанс...

Между тем внизу никто не спешил ей на помощь. Похоже, пожарники решили — и трудно их за это упрекнуть, — что никто уже, по крайней мере на Бикмен-стрит, не сумеет добраться до окна. А женщина все стояла и ждала, раскинув руки, в проеме окна, как в рамке: она была в длинном черном платье, на шее трепетал белый шарфик. Вдруг стекло позади нее лопнуло, и из окна выкатился огромный клуб черного дыма, скрывший ее от наших глаз. Но когда ветер отогнал дым, мы увидели женщину на том же месте — теперь она одной рукой держалась за раму, другой плотно прикрывала рот.

Наконец из-за угла Нассау-стрит выскочили два пожарника с раздвижной лестницей. Лестница оказалась слишком коротка. Позднее газеты критиковали пожарную охрану за недостаточную длину лестниц, в то время как многие дома строились высотой в четыре-шесть, а в последнее время даже в десять этажей. Вот и тут лестница, растянутая во всю длину, не доставала до подоконника без малого полтора метра: а из окна опять неторопливо выплыла туча густого дыма и окутала женщину с головы до ног. Если бы не ветер, она непременно погибла бы, потеряла сознание и свалилась назад в горящее здание или вниз на улицу. Но ветер подхватил дым, разорвал его в клочья, разбросал лоскутки по фасаду, и мы вновь увидели трепещущий по ветру белый шарфик и черную юбку.

Я хотел бы пояснить кое-что. С той самой секунды, когда мы вышли из подъезда «Таймс» и окинули взглядом горящее здание, я непрерывно разговаривал сам с собой. Я не корпил себя за то, что не вломился в контору Джейка Пикеринга и не затоптал едва народившийся крохотный огонек: кому пришлось бы в голову, что произойдет потом! Грызло меня другое: что, присутствуя незримо при этом стародавнем событии, Джулия и я могли повлиять на его ход именно так, как того и опасался доктор Данцигер. Вдруг, например, был какой-нибудь невольный шорох, которого Кармоди, роясь в документах, по существу и не ус-

лышал, — и все же этот слабенький, почти незаметный шорох повлиял, пусть едва-едва, но повлиял на его последующие поступки. Скажем, горящую спичку он уронил чуть левее или чуть правее, и спичка упала не на пол, а на бумагу и подожгла ее. Но, с другой стороны, кто в состоянии поручиться, что, не присутствуя мы там и не издав ни звука, спичка упала бы на голые доски пола? И что Кармоди просто стоял бы над ней и равнодушно глядел, как она догорает?

Нет, я положительно должен был что-то предпринять — мною двигал не героизм, а внутренняя необходимость. Я протиснулся вперед, нырнул под ограждающие канаты, перебежал улицу и не вскарабкался — взвился по лестнице, в мгновение ока достигнув самой верхушки. Накрыв ладонями закругленные концы стояков, поднялся еще выше, сжался в комок — левая нога на последней перекладине, правая на предпоследней — и на миг застыл без движения, обретая равновесие. Потом уловил момент, опустил стояки, выбросил руки над головой и резко выпрямился; на секунду как бы повис в воздухе — и упал руками вперед, ухватившись за подоконник по обе стороны от ботинок женщины.

Она поняла меня без слов — быстро повернулась к улице спиной и сползла по мне к лестнице. На уровне моих ног появились голова и плечи пожарника, он подхватил спасенную за ноги и поставил на перекладину. А потом эта замечательная женщина сообразила, как помочь мне; подерживаемая пожарником, она уперлась руками мне в пояс и навалилась изо всех сил, так что я смог отпустить оконный выступ, перегнуться и снова ухватиться за стояки. Мы быстро цепочкой стали спускаться вниз, но не одолели еще и половины расстояния, как черный дым, валивший из окна, где только что стояла женщина, внезапно сменился ревушим оранжевым пламенем. У подножия лестницы я спросил, как ее зовут; она ответила: Айда Смолл...

11 февраля «Иллюстрированная газета Фрэнка Лесли»

FRANK MEEHAN'S
THE NEW YORKER
NEWSPAPER

NEW YORK FOR THE WEEK ENDING FEBRUARY 11, 1900

Price 10 Cents



поместила большую, на всю обложку, гравюру, изображающую Айду Смолл на подоконнике и ее «безымянного спасителя» на лестнице. Сознаю, что не следовало бы этого делать, и все-таки воспроизвожу гравюру здесь, хотя я и не очень похож на себя, да и жилетки на мне в тот день не было.

И вдруг пожару пришел конец: с чудовищным грохотом крыша рухнула на изрядно уже прогоревшее перекрытие верхнего этажа и вслед за тем все нутро здания провалилось в подвал, взметнув гигантский сноп искр, облака дыма и фейерверк пылающих щепок метров на пятнадцать выше стен и издав оглушительный тяжкий вздох, слышимый, наверное, на много кварталов вокруг. От здания остался один скелет, огонь сник, сквозь оконные проемы проглядывала лишь пустота неба. В подвале еще догорало то, что не сгорело на этажах, но уже не яростно, а почти лениво, и на пожарище падал снег, красиво кружа между голых стен. Над каждым слепым оконным проемом на кирпичачах отпечатался широкий веер копоти, и уже не верилось, что этот огромный мертвый остов еще недавно был полон жизни, густо населен людьми. Казалось совершенно немыслимым — я вытащил часы и не мог поверить собственным глазам, — что с момента, когда мы сидели за заколоченной дверью, наблюдая за Джейком Пикерингом и Эндрю Кармоди, прошел всего-навсего час.

Грандиозный спектакль окончился, в толпе вокруг нас начали обмениваться мнениями, голоса слились в возбужденный гомон, и тут я нечаянно уловил чью-то реплику:

— Счастье, что газета успела выехать...

— О чем это он? — спросил я Джулию.

— О газете «Весь мир», — ответила она безразлично. — Три-четыре месяца назад этот дом называли зданием «Всего мира». Многие не отвыкли от прежнего названия и до сих пор. Редакция занимала весь пятый этаж, и, оставаясь она там, сегодня прибавились бы десятки жертв...

— Здание «Всего мира», — повторил я, как бы пробуя

словосочетание на слух, и тут до меня дошло. Что там говорилось в записке из длинного голубого конверта, которую я впервые видел в квартирке Кейт? *«Поистине невероятно, чтобы отправка сего могла иметь следствием гибель... здания»*, — здание, вот оно, недостающее слово, а дальше Кармоди просто-напросто не поставил кавычек, — *«Всего мира» в пламени пожара. Но это так...»* И до конца жизни воспоминания об этом пожаре тяжким грузом лежали на совести Кармоди. Я физически ощутил, как огромный камень свалился с моей собственной совести: теперь я знал, что ни я, ни Джулия никак не повинны в том, что случилось.

Домой мы возвращались надземкой. Джулия смотрела в окно невидящими глазами, а я время от времени обращался к ней, старался как-то утешить, но как можно было ее утешить? Я-то знал, что мы ни в коей мере не способствовали возникновению пожара. Мы выступили в ролях невидимых наблюдателей, никак и нисколько не повлиявших на ход событий. И хотя я не мог объяснить Джулии, откуда я это знаю, в голосе моем звучала такая уверенность, что, кажется, я все же убедил ее. Разумеется, она хотела бы, чтобы мы вмешались в события, — ведь я силой выволок ее из конторы Джейка, и теперь она поневоле раздумывала: а не помогли бы мы ему, если бы остались? Я задавал себе тот же вопрос, но не жалел ни о чем — иначе мы скорее всего погибли бы и сами.

Когда мы добрались до дому, Джулия, совершенно разбитая, сразу же поднялась к себе. Внизу никого не было, в доме царил тишина. Я тоже поднялся в свою комнату, снял пиджак и прилег на кровать. После всего пережитого я страшно устал, хоть и думал, что уснуть не смогу — слишком много накопилось впечатлений. Но, конечно, уснул почти сразу, как коснулся щекой подушки.

Очнулся я, когда уже стемнело, очнулся от голода, острого до головокружения. У меня не осталось ни малейшего представления о времени — быть может, уже очень поздно. Но в гостиной внизу я застал Мод Торренс и Фе-

ликса Грира — оба читали. И по тому, как обыденно они мне кивнули, я понял: им и невдомек, что я очевидец пожара. В такой же обыденной манере я спросил, дома ли Джейк Пикеринг, и Феликс, уже снова уткнувшийся в книжку, помотал головой.

Я прошел через темную столовую на кухню — оттуда сквозь щель под дверью пробивалась полоска света. Джулия сидела за кухонным столом рядом с тетушкой, ела холодное жаркое, видимо оставшееся от обеда, хлеб с маслом и пила чай. И как только я появился, тетя Ада вскочила, чтобы подать и мне. Лицо ее без слов говорило, что она осведомлена если не обо всем, то по крайней мере о чем-то, но вопросов она мне не задала. Джулия подняла на меня глаза и грустно кивнула; под глазами у нее проступили темные круги. Я понимал, что ответ возможен только один, но не мог не спросить: «Он не вернулся?» Джулия отозвалась: «Нет», потом зажмурилась, уронила голову на грудь и, казалось, гнала от себя какую-то картину, или какую-то мысль, или и то и другое. Что я мог ей сказать?

Я расправился с ужином — а она все сидела, сложив на коленях руки, и ждала. Тогда я взглянул на нее, и она сказала:

— Сай, я должна побывать там снова.

Я кивнул. Непонятно почему, но и у меня возникло такое же желание.

На улице все так же дул ветер и опять повалил снег. Но на тротуаре Бикмен-стрит снег за день утрамбовали настолько, что свежего, рыхлого осталось не больше двух-трех сантиметров, и двигаться было легко. Вот и сгоревшее здание — стена, что выходила на улицу, обвалилась совсем, и мы без помех заглянули внутрь остова. С ровным тихим гулом горели факелы на концах обломанных газовых труб, и вокруг них подтекала талая вода. Но пожар как таковой уже кончился, «гибель мира» свершилась и начала становиться достоянием — нет, даже не истории, а просто забвения. В эту вот минуту в редакции «Иллюстрирован-

ной газеты «Фрэнк Лесли», в двух-трех кварталах отсюда, на углу Парк-роу и Колледж-плейс, да и в редакции «Харперс» целая рота художников при свете газовых рожков режет по дереву гравюры сцен пожара, которые появятся в номерах следующей недели. Девушка, что идет рядом со мной, и другие жители города мельком глянут на плоды их трудов и воскресят в памяти виденное. Однако мне, как никому из них, было дано знание, что один какой-то миг — и не станет ни тех, кто режет сейчас гравюры, ни тех, кто будет их рассматривать, ни — невероятно! — девушки рядом со мной. Сохранятся несколько экземпляров газет, пожелтеют в подшивках, обращаясь в занимательные диковины, а разрушенное здание и ужасный пожар начисто сотрутся из памяти людской. Шагая мимо развалин, уже покрытых местами снегом, я поддался чувству черной меланхолии: жизнь человеческая представлялась мне такой краткой, такой бессмысленной. Подобные мысли приходят в голову, когда внезапно проснешься среди ночи и осознаешь вдруг полное свое одиночество в мире. А я ведь знал о времени, для которого здания этого словно и не существовало, а пожара словно и не происходило, так что чувства у меня сейчас были, собственно, те же.

Впереди, как раз напротив подъезда здания «Таймс», торчал уцелевший фонарный столб; у подножия его, в круге желтого света, мягко искрился девственный снег. Здесь, на нашей стороне, снег тоже оставался почти нетронутым — по нему бежала единственная цепочка следов, исчезающая впереди, в темноте за фонарем. Казалось, будто кто-то постоял, всматриваясь в пустой оконный проем разрушенного здания «Всего мира», затем пересек Нассау-стрит, поднялся на тротуар и зашагал дальше.

И тут, под фонарем, я схватил Джулию за руку, и мы замерли на месте. На снегу, точно так же как я уже видел однажды, резко отпечаталась миниатюрная копия надгробной плиты: множество точек, образующих круг с вписанной в него девятиконечной звездой. Но теперь эта копия

была не одна — их было много, они заканчивали собой каждый след в цепочке, убегавшей в темноту.

— Да это же каблуки! — воскликнул я, приседая на корточки. — Круг и звезда — это шляпки гвоздей!..

Я посмотрел на Джулию снизу вверх, и она недоуменно кивнула:

— Ну да, конечно. Мужчины, когда заказывают обувь, частенько придумывают какие-нибудь личные знаки. — Она пожала плечами. — Вроде талисмана на счастье...

Я ответил ей кивком — я все понял. Это знак Кармоди; он спасся от пожара. И каких-нибудь несколько минут назад он приходил сюда, чтобы вновь взглянуть на содеянное. Еще мгновение я всматривался в странные отпечатки на свежем снегу. Под таким вот знаком его и похоронят. Многие годы спустя вдова обмует и оденет его мертвое тело — и похоронит под этим самым знаком. Но почему? Почему? Вопрос по-прежнему ждал ответа.

Теперь мы возвращались пешком. Ветер спал, снегопад утих, мороз уже не чувствовался; улицы в такой поздний час да еще сразу после метели были пустынные, мы оставались с миром наедине. И вдруг на углу Четырнадцатой улицы и Ирвинг-плейс перед нами возник ярко освещенный дом и оттуда донеслись звуки вальса. «Филармоническое общество», — сказала Джулия; боковые двери были распахнуты, и мы, приостановившись, заглянули внутрь.

Глазам нашим представилось редкостное, ослепительное зрелище. По меньшей мере треть зала, откуда вынесли кресла, занимала слегка приподнятая, натертая воском, сверкающая площадка для танцев, на которой плавно кружились вальсирующие пары. На балконе играл большой оркестр, склоненные над скрипками смычки двигались в унисон, а над залом гигантской подковой, ярус за ярусом, поднимались ложи, и все они были заполнены оживленными, смеющимися людьми. Еще больше зрителей собра-

лось на сцене и на остальном пространстве партера. Мужчины, все без исключения, были во фраках и при белых галстуках, однако прически резко различались по длине и фасону, а бороды, усы и бакенбарды разнились еще более, и никто не терял в толпе своей индивидуальности. А женщины в длинных открытых, подчас поразительно смело вырезанных платьях — воистину вечерние туалеты этих женщин вполне компенсировали несколько сумрачный характер повседневной одежды восьмидесятых годов.

Я не силен в описании женских нарядов и материалов, из которых они шьются; лучше я вновь процитирую «Нью-Йорк таймс», тот же самый номер, вышедший на следующее утро:

«Миссис Грейс приехала в кремовом атласном платье с жемчугами на груди. Миссис Р. Х. Л. Таунсенд была в голубом атласе, расшитом цветами и листьями из золотой парчи; миссис Ллойд С. Брайс — в белом атласе с парчой, отороченном кружевами; миссис Стивен Г. Оулин — в белом шелковом муаре с жемчужными и бриллиантовыми украшениями. Миссис Вулси выбрала платье из черного тюля с черным атласным корсажем и отделкой из бриллиантов. Миссис Вандербилт предпочла белый шелк и бриллианты, а миссис Дж. Ч. Бэррон — белый атлас с кружевами, пересыпанными бриллиантами...»

В каком-нибудь метре от нас вырос человек во фраке и при галстуке — капельдинер, смахивающий на «фараона»; он поглядел в нашу сторону, впрочем довольно терпимо, поскольку для коллекционеров приглачительных билетов время было чересчур позднее. Я взглянул ему в лицо, и он приблизился к нам.

— Здесь у меня одна знакомая дама, — сказал я. — Есть какой-нибудь способ ее разыскать?

Я сощурил глаза и притворился, будто всматриваюсь в глубину зала, — удивительно, но все мы ведем себя с полицейскими так, словно они круглые идиоты. Он повернулся к маленькому позолоченному стульчику, взял с сиденья написанный от руки список в несколько страниц

и протянул мне. Большинство лож обозначалось по фамилиям композиторов, начиная с Моцарта, Мейербера, Беллини, Доницетти; под каждой фамилией красивым женским почерком был выведен список гостей. Верди, Гуно, Вебер, Вагнер, Бетховен, Обер, Галеви, Гризи... Наконец под фамилией Пикколомини я обнаружил четырех женщин и их мужей — и среди них то имя, которое искал.

Капельдинер — или все-таки фараон? — показал мне ложу «Пикколомини», почти полную; четыре женщины и трое мужчин смотрели вниз на танцующих. Как только капельдинер отошел, я шепнул Джулии:

— Вон они, четыре львицы. Одна из четырех почти наверняка знает, что сегодня ее муж убил пять-шесть человек и чуть не сгорел сам. Итак, которая из четырех?

— По-моему, тут нет никакого сомнения, — ответила Джулия. — Та, что в желтом платье.

Я кивнул — сомнений действительно быть не могло. Она сидела подчеркнуто прямо, совсем не касаясь спинки своего золоченого кресла, поразительно красивая женщина лет тридцати пяти; лицо ее было исполнено абсолютного самообладания. Она могла бы считаться обаятельной, даже просто прелестной, только все эти определения как-то не приходили в голову; редко случалось мне видеть лицо и никогда — ни до, ни после — лицо женщины, на котором читались бы такое присутствие духа, острый ум и несгибаемая воля. И я понял Эндрю Кармоди: у него не было выбора, он должен был поступить именно так, как поступил.

— О чем вы думаете? — спросила Джулия.

Я не мог отвести глаз от этого жестокого красивого лица.

— Она меня пугает. Просто мороз по коже... И в то же время — какое очарование! Завораживает, как бездна...

— Это еще почему?

— Да потому, что придет день, когда не останется ни таких лиц, ни таких людей, да и драматических событий

такого накала — тоже; все это попросту выйдет из моды. Злоумышленники станут пошляками, и в тех преступлениях, которые еще будут им под силу, не останется даже места для драматизма. Уж если выбирать между двумя типами людей, между двумя родами зла, я лично выбрал бы зло, содеянное со вкусом...

Джулия смотрела на меня, недоуменно подняв брови. Я бросил последний взгляд на миссис Кармоди и на этот роскошный бал, и мы двинулись вдоль вереницы карет, выстроившихся у тротуара, вдоль мигающих боковых фонарей, мимо неподвижных, укутанных попонами лошадей и слуг в ливреях и дальше по безмолвной улице к дому, а звуки вальса постепенно замерли позади.

20

На следующий день я проспал допоздна. Когда я наконец спустился вниз, было уже далеко за полдень, но я тем не менее позавтракал и попутно просмотрел отчет о пожаре в «Таймс» — он занимал всю первую страницу и часть второй. Остальные постояльцы давным-давно ушли, и я сидел за столом один. Джулия принесла мне завтрак; она была очень бледна, под глазами легли фиолетовые круги. В ответ на мой пристальный взгляд она сказала:

— У него была не слишком счастливая жизнь, правда, Сай?

— Он был одержимый, — ответил я. — Почти полоумный от воцелений, которым не суждено было сбыться. Предела он все равно бы не достиг. Встречаются такие люди, которым лучше бы и не рождаться на свет, — это как раз тот случай...

Джулия, однако, не приняла моей правоты — она несогласно затрясла головой еще до того, как я кончил.

— Не нам об этом судить. Если бы мы остались там, если б мы только остались...

— Вот, послушайте, — сказал я, обратившись к газете, раскрытой на второй странице. — «Помощник брандмейстера Джеймс Хини из первой пожарной роты, — прочитал я вслух, — заявил, что его повозка прибыла с Нассау-стрит примерно через две минуты после начала пожара и что он в жизни не видел ничего подобного. По его мнению, пороховой погреб и то не вспыхнул бы быстрее». — Я взглянул на Джулию и тут же уткнулся обратно в газету. — «Капитан Тайнен заявил сегодня вечером, что за все годы своей работы в полиции он не видел более яростного и более мощного пожара...»

— Так и написано? — переспросила Джулия, прижав руку к груди. — Я газету не смотрела. Просто не могла...

— Я цитирую дословно из «Нью-Йорк таймс» от 1 февраля 1882 года — взгляните и убедитесь сами. Тут полно таких заявлений, Джулия. Так что успокойтесь: не вы начали пожар, у вас не было никакой возможности предотвратить его, и Джейку вы помочь тоже ничем не могли. — Я кинул газету на стол, потом показал на один абзац: — Лучше прочтите это — тут во всех подробностях описано, как доктор Прайм спасся, перебравшись по вывеске «Обсервер» в кабинет Томпсона в здании «Таймс». Второго мужчину, который был вместе с Праймом, звали Стоддард...

Ей стало легче, я и сам видел это. Газета писала чистую правду, и Джулии не оставалось ничего другого, как осознать печальный факт: мы не могли изменить ровным счетом ничего.

Примерно часа в два — я сидел в гостиной и просматривал «Харперс уикли» — по улице мимо окон прошеествовал полицейский в высоком фетровом шлеме и длинной синей шинели; на рукаве у него виднелись нашивки сержанта. У двери он остановился и позвонил, открыла ему тетя

Ада — Джулия была где-то наверху. И я услышал, как полицейский прямо в дверях, запинаясь на каждом слого, спросил, будто прочитал по бумажке:

— Мисс Шарбонно? Живет тут такая?

Тетушка ответила — да, живет, и кликнула Джулию вниз. А полицейский продолжал:

— Морли, Саймон Морли? Такой тоже есть?..

Я встал и с газетой в руке вышел в переднюю, прежде чем тетя Ада успела ответить; полицейский на крылечке и в самом деле держал в руке квадратный клочок бумаги.

— Я Саймон Морли.

— Тогда пройдите, — кивнул он. По лестнице спускалась Джулия, он кивнул и ей. — Оба пройдите. Одевайтесь.

— Зачем? — воскликнули мы с тетей Адой в один голос.

— Когда надо будет, тогда и скажут.

Говорил он, как мне показалось, с ирландским акцентом.

— А если мы хотим знать сейчас? Мы что, арестованы?

— Скоро будете, если не сделаете, что вам велено!..

Глаза у него мгновенно стали злыми и мстительными, как водится у полицейских, если вдруг осмеливаешься усомниться в правомерности их действий. Джулия поглаживала руку тетушки, бормоча какие-то утешительные слова. Я понимал, что в эту эпоху гражданские права соблюдались весьма и весьма относительно, и ради Джулии, не говоря уже о себе самом, решил помолчать.

Мои пальто и шапка висели тут же, в передней, на большой вешалке с зеркалом посредине; Джулия достала свое пальто и капор из шкафа под лестницей, уверяя тетушку, что мы, без сомнения, скоро вернемся домой и волноваться совершенно, ну совершенно не о чем...

Чуть поодаль у края тротуара ожидал экипаж. Я полагал, что нас поведут пешком, но полицейский, ускорив шаг, открыл дверцу и жестом предложил нам забраться внутрь. На откидном сиденье спиной к лошадям сидел



человек. Он молча наблюдал, как я помог Джулии влезть и устроиться. Затем я сам, пригнувшись, протиснулся между ним и Джулией, и экипаж качнулся и сел на рессорах под моей тяжестью. Полицейский снаружи захлопнул дверцу и, пока я усаживался рядом с Джулией, поднял руку и отдал честь мужчине напротив нас; сделал он это не слишком ловко, зато с большим почтением. Щелкнули поводья, экипаж тронулся, и мужчина сухо кивнул сержанту, отвечая на приветствие. Потом он повернулся к нам, и, как только я встретил его грозный, леденящий взгляд, я догадался, кто он. Я никогда не видел его раньше

и все же догадался, нет, я узнал его — и по-настоящему испугался.

Он был крупный мужчина с тяжелыми квадратными плечами. Позже я разыскал его фотографию — она вполне передает сходство, хотя на ней и не видно ни лысины на макушке, ни подлинного выражения глаз. Глаза устранили: большие, стальные, близко посаженные, они перебегали с наших лиц на одежду, с одежды на лица, и в них читался затаенный интерес к нам, но вовсе не как к людям. Мы представляли собой нечто для него важное, мы были зачем-то ему нужны, но за людей он нас просто не считал.

Это был не кто иной, как инспектор нью-йоркской городской полиции Томас Бернс собственной персоной. И если самый известный полицейский деятель своего времени лично пожаловал за нами, значит, мы не какие-то рядовые арестованные. Меня пробрала дрожь безотчетного страха, и, наверно, пытаюсь побороть страх, доказать этому человеку, что ничуть не боюсь его, я задал ему вопрос; мне хотелось, чтобы вопрос прозвучал уверенно и жестко, но ничего у меня не вышло, получилось несерьезно, словно я готовился тут же признаться, что пошутил:

— Ну, так что? — сказал я. — Не хотите ли вы предупредить нас о правах, гарантированных конституцией?..

Лицо его не дрогнуло, лишь стальные глаза быстро вскинулись навстречу моим, выискивая за моей смелостью скрытый смысл. Не найдя такового, он ответил на каком-то нелепом полуграмотном наречии, искусственно растягивая гласные — это он, по-видимому, считал признаком высшего света:

— Ладно, раз уж так, предупреждаю — держи свои дурацкие замечания при себе, не то покажу тебе толстый конец дубинки...

Странные в устах инспектора Бернса слова, но я не рассмеелся, даже про себя. В полном молчании мы проехали десяток кварталов вниз по Третьей авеню под эстакадой

надземки, грохоча и покачиваясь на булыжнике, а то и кренясь и юзом скользя по снегу. Потом Третья и Четвертая авеню слились в улицу Бауэри, затем мы свернули направо по Бликер-стрит и через три коротких квартала налево на Малберри-стрит — я прочитал название на угловом фонаре. Еще полквартала — и экипаж остановился у четырехэтажного каменного здания, к которому вела лестница с большими квадратными фонарями по сторонам; фонари были с зелеными стеклами, и я понял, что нас привезли в полицию. Кучер спрыгнул на тротуар и открыл дверцу, Бернс сделал повелительный жест, Джулия вышла, и кучер тут же крепко взял ее за руку. Потом настала моя очередь. Бернс выскочил одновременно со мной и плотно сжал мне кисть своей рукой. Мы быстро поднялись по ступенькам, и я увидел над дверью позолоченные буквы, густо оттененные черным: «Городское управление полиции».

Мы прошли через вестибюль с деревянным полом, где за столом сидел тучный полицейский в форме; пол давно истерся, фаянсовые плевательницы облезли и потрескались, темно-зеленая штукатурка на стенах покрылась грязью, и над всем этим витал специфический запах — не знаю, из каких составляющих он складывается, но его не спутаешь ни с чем — запах именно такого выдавшего виды здания. Быстро, почти бегом — ну, почему полицейские обязательно должны вести себя с людьми, как с врагами, словно эта служба вырабатывает какой-то особый инстинкт? — нас провели по лестнице вниз, в угрюмый подвал с низким потолком и кирпичными стенами. Там стояли маленький стол, простой кухонный стул и еще подставка, на которую был водружен газовый рожок с рефлектором — газ подводился по гибкому шлангу, змеящемуся по полу, — и еще там была деревянная тренога и на ней огромный фотоаппарат из красноватого полированного дерева, с медными рукоятками и черными кожаными мехами.

Следом за нами вошли трое в штатском, без пиджаков. Повинуясь жесту Бернса, мы с Джулией сняли пальто и

головные уборы и сложили их на стол у двери. Один из вошедших сразу же направился к аппарату и начал с ним возиться; двое других стали рядом наготове. Я понимал, что сопротивление совершенно бессмысленно, и все же — ведь конституция действовала та же, что и в наши дни, — не мог промолчать.

— Я хочу знать, почему я здесь. Хочу знать, в чем меня обвиняют. Хочу посоветоваться с адвокатом. И решительно отказываюсь фотографироваться, пока не увижусь с ним...

Бернс кивнул шпикам:

— Слышали голубчика? А ну-ка, растолкуйте ему, почему он здесь...

Меня схватили с двух сторон за руки, и один из «стражей порядка» изо всей силы пнул меня коленом под копчик, посылая головой вперед через всю комнату к стулу; Джулия вскрикнула, а я наверняка упал бы, не держи они меня за руки. Потом меня молниеносно развернули вокруг оси, выкручивая руки в плечах, и бросили на стул так грубо, что сиденье застонало, а ножки проехали по полу. Рот мой беззвучно скривился от боли, на глазах выступили слезы. Один из шпииков приблизил губы к самому моему уху и голосом, исполненным ликования от сознания своей власти надо мной, проорал:

— Вы здесь, ваша милость, потому что нам так угодно!..

Я мгновенно повернулся к нему и выплюнул слова ему в лицо, прежде чем он успел отодвинуться:

— Сволочь паршивая!..

Одна рука тут же схватила меня за горло, чтобы я не смог уклониться, а другая сжалась в кулак и размахнулась для удара, но вмешался Бернс:

— погоди, на нем не должно быть отметин...

Помедлив мгновение, кулак опустилсЯ, вторая рука сдавила мне горло разок и тоже опустилсЯ. Бунт мне не помог, да я и не надеялся, что поможет, тем не менее не жа-

дел о нем. Шпики замерли надо мной на случай, если сопротивление возобновится, но с меня хватило одной попытки.

Человек у аппарата достал большую кухонную спичку, затем приподнял ногу и чиркнул спичкой по натянувшимся сзади брюкам; она загорелась, запахло серой. Он повернул медный вентиль, газ в рожке зашипел, вспыхнул красноватым пламенем. Тогда фотограф прикрутил газ, и пламя распалось на десятки маленьких язычков, сияющих ровным голубоватым светом. Свет, отбрасываемый рефлектором, был так ярок и так горяч, что я прищурил глаза, почти закрыл их.

— Но-но, без фокусов!.. — Меня тряхнули за плечо куда сильнее, чем была нужда, и у меня даже зубы клацнули. — Открой глаза!..

Я заставил себя открыть глаза, и человек у аппарата залез с головой под черное сукно. Мехи раздвинулись, потом слегка сжались, и я увидел, как он сдвинул резиновую грушу.

— Готово, — объявил он, и настала очередь Джулии. К счастью, когда она садилась, к ней никто не притронулся, иначе я наверняка бы вмешался и тогда-то уж меня избили бы как следует. Фотограф вновь надавил на грушу, и, едва его голова показалась из-под сукна, Бернс поднял руку и повелительно вытянул палец.

— Давай без задержки, — распорядился инспектор.

Фотограф пробормотал: «Слушаюсь, сэр», схватил пластинки и буквально выбежал из комнаты прочь. Один из двух оставшихся шпииков достал блокнот. Бернс окинул меня взглядом.

— Лет двадцати восьми — тридцати, — начал он, и полицейский принялся поспешно записывать. — Рост сто семьдесят восемь, вес шестьдесят пять...

Шпик строчил, а Бернс описал меня всего с головы до пят и мою одежду, включая пальто и шапку, затем описал Джулию и ее одежду, и обладатель блокнота тоже

ушел. Бернс поманил меня пальцем, и я приблизился к нему.

— Давай-ка сюда бумажник.

Я достал из внутреннего кармана бумажник, предчувствуя, что никогда больше его не увижу. Другой рукой я вытащил из кармана брюк горсть мелочи и с презрительной миной протянул то и другое Бернсу.

— Сдачу оставь себе, — сказал инспектор, ухмыльнувшись собственному остроумию, и оставшийся в комнате выпик прыснул. Бумажника Бернс, впрочем, тоже не взял, а предложил: — Пересчитай сперва. — Я послушался; оказалось сорок три доллара. Нацарапав что-то в записной книжке, он посмотрел на меня. — Сколько там?.. — Я ответил, он проставил сумму, вырвал листок и подал мне расписку на сорок три доллара, подписанную «Томас Бернс, инспектор». — Мы тут не ворюшки, — назидательно произнес он и, обернувшись к Джулии, велел ей пересчитать деньги в сумочке. Взяв у нее бумажные деньги — девять долларов, — дал расписку и ей, вернул сумочку, и Джулия сухо поинтересовалась, зачем ему наши деньги. — Вам, может, удрать захочется, — ответил он, пожимая плечами. — А без денег-то далеко не удерешь, а?..

Мы снова сели в экипаж, Бернс опять лицом к нам, доехали до Пятой авеню и повернули на север.

— Куда мы едем? — спросил я.

— А ты не догадываешься?

— Нет, не догадываюсь.

— Тогда погоди — узнаешь...

Наконец мы остановились между Сорок седьмой и Сорок восьмой улицами; теперь я догадался, куда мы ехали, — и Джулия тоже, как я понял по ее взгляду, — только по-прежнему не мог представить себе зачем. Вот он прямо перед нами, только тротуар пересечь, особняк Эндрю Кармоди на Пятой авеню, со своей великолепной, бронзовой и каменной, оградой и узким газоном позади нее. Дверца экипажа открылась, кучер жестом предложил нам выйти,

приготовился взять Джулию за локоть, а Бернс меня — за кисть... Неужели Кармоди, увидев, как мы с Джулией выскочили из заколоченной комнаты бок о бок с конторой Джейка, решил, что мы соучастники шантажа? И теперь намерен обвинить нас в этом?

Дверь нам отворила горничная, девочка лет пятнадцати, не больше, в длинном черном платье с рукавами, прикрывающими запястья, огромном белом переднике и хитроумном кружевном чепчике; щеки у нее рдели, будто их только что натерли.

— Входите, пожалуйста, джентльмены, входите, мисс, вас ожидают, — сказала она с боязливой учтивостью.

Мы прошли через вестибюль, потом по короткому коридорчику, выложенному блестящим паркетом, и, миновав высокую дверь, попали в комнату, отличавшуюся от гостиной тети Ады как небо от земли. Эта была раза в четыре больше, по одну сторону тянулся ряд застекленных дверей, и обставлена она была французской мебелью в стиле, если не ошибаюсь, какого-то из Людовиков — изящнейшей, элегантнейшей, легкой настолько, что, казалось, ею и пользоваться нельзя. По стенам висели картины в рамах, из сводчатых ниш смотрели белые мраморные бюсты. У окна стоял большой белый с золотом рояль — или, быть может, клавикорды.

И в этой прекрасной комнате, выдержанной в мягких тонах, как в тщательно подобранной декорации, у маленького камина с белым верхом нас поджидала миссис Эндрю Кармоди в розовом платье со свободными рукавами. Она небрежно играла сложенным веером слоновой кости, а лицо у нее было такое же, как прошлой ночью в ложе на благотворительном балу — спокойное, словно за всю свою жизнь она никогда не ведала волнений.

— Добрый день, инспектор. Мистеру Кармоди уже сообщили, что вы здесь, сию минуту он спустится...

Она удостоила Бернса улыбкой, игнорируя остальных с такой легкостью, будто она и впрямь нас не видела.

— Добрый день, мадам Кармоди. Надеюсь, он не слишком страдает?..

— Ожоги болезненные, тем не менее...

Она слегка шевельнула плечиком и послала инспектору еще одну ослепительную улыбку, из которой явствовало, что беседа окончена. Потом она подняла и раскрыла веер и обмахнулась раз или два, а Бернс, чтобы как-то затушевать тот факт, что ему не предложили сесть, нагнулся и принялся разглядывать мраморный бюст Марии-Антуанетты.

Послышались медленные шаги, но, как только я повернулся навстречу им, они сделались бесшумными; человек, весь обмотанный бинтами, с трудом прошел по огромному ковру к кожаному шезлонгу. Белые повязки пересекали лоб, закрывали с обеих сторон виски и щеки, плотно охватывали шею. А нос и узкие полоски кожи между носом и краями бинта были так воспалены, так ужасно обожжены, что еще сохранившаяся пленочка кожи, казалось, не в состоянии удержать кровь, готовую вот-вот брызнуть наружу. Волосы сгорели начисто, вся голова была воспалена и покрыта струпьями. Воспалены были и глаза, и он то моргал ими часто-часто, то на несколько секунд закрывал их совсем. Одна забинтованная рука висела на перевязи, пальцы, торчащие из бинтов, вздулись и потрескались.

Он опустилсЯ в шезлонг и откинулся назад, будто выбившись из сил. На нем были черные брюки в легкую светлую полоску и синий плафрок с плетеной окантовкой. На складном столике возле шезлонга стояли стакан, графин, тут же лежали открытая коробочка с пилюлями и градусник. Какое-то время хозяин молча лежал с закрытыми глазами, потом взглянул на нас, произнес: «Как...» — но закашлялся, надрывно, с хрипом. При следующей попытке заговорить он снизил голос почти до шепота, лишь бы не закашляться снова:

— Как видите, я получил ожоги. Во вчерашнем пожаре. Великое счастье, что выбрался оттуда живым...

Внезапно он резко втянул в себя воздух, поднял руки к груди, словно собираясь закашляться вновь, но судорожно сглотнул и подавил кашель. Опять лежал секунды две-три с закрытыми глазами, потом раскрыл их, глянул на Джулию, глянул на меня и кивнул Бернсу несколько раз кряду.

— Они самые и есть,— сказал, почти прошептал он.— Спасибо, инспектор. Садитесь, пожалуйста.

— Ах, да,— произнес Бернс таким тоном, будто оставался на ногах исключительно по рассеянности.— А теперь, сэр, прошу вас рассказать все, как было...

Мы с Джулией остались стоять, а хозяин поведал Бернсу о письме Пикеринга и о встрече в парке ратуши.

— Я несколько не сомневался, что какие-то документы у него могут быть. В качестве подрядчика я честно выполнил для муниципалитета ряд работ, и денежные ведомости, без сомнения, сохранились. Отнюдь не все, что делалось для города, пока Твид был у власти, делалось бесчестными методами...

— Само собой.

— И тем не менее его документы имели для меня известную ценность. Я веду сейчас кое-какие переговоры довольно деликатного свойства — речь идет о миллионах, и любая сплетня или клевета, пусть самая голословная, может сорвать все дело. Так что я сразу же установил за ним слежку. Пикеринг даже не пытался улизнуть от нанятого мной сыщика, и тот без труда установил его адрес — дом девятнадцать на Грэмерси-парк. Заодно я просил выяснить фамилии и других жильцов дома. Мне представлялось, что среди них могут быть соучастники этого нелепого заговора. Вчера утром я встретился с Пикерингом, и тот повел меня в свою тайную контору в бывшем здании «Всего мира». Я принес с собой тысячу долларов наличными, я хотел заплатить, просто чтобы избавиться

от него. Запроси он на цент больше — я сообщил бы вам его адрес и потребовал бы арестовать его.

— И правильно сделали бы, — отозвался Бернс.

«А ведь неплохо придумано», — решил я; окажись я на месте Кармоди, я, наверно, приправил бы факты таким же соусом. Время от времени заходясь кашлем, он продолжал свой рассказ: Пикеринг-де нехотя согласился на тысячу долларов, понимая, видимо, что никаких доказательств чьих-либо злоупотреблений у него, по существу, нет; Пикеринг упомянул, почему заколочен дверной проем в соседнее помещение; Пикеринг уже вытаскивал из своих ящиков документы в обмен на тысячу долларов, но тут в шахте лифта каким-то образом возник пожар. И вдруг, к совершенному удивлению Кармоди, мы — он указал на нас пальцем — ворвались в контору через заколоченную дверь, я бросился на Пикеринга и начал с ним бороться, а Джулия принялась записывать деньги за пазуху. До Кармоди уже доносился треск огня, вверх по шахте катились клубы дыма, слышались крики «Пожар!..» и топот людей, бегущих со всех ног; пришлось ему самому бежать, спасая свою жизнь...

Он опять захлебнулся кашлем, и миссис Кармоди, метнув на нас уничтожающий взгляд, торопливо подошла и поднесла к его губам стакан воды. В полнейшем недоумении я посмотрел на него, потом на Джулию — она недоумевала не меньше моего. Зачем Кармоди понадобилось впутывать нас в эту историю? Нет, пожалуй, я улавливал причину, хоть и выраженную лишь намеком; гневно потрясая забинтованной головой и оттолкнув стакан, Кармоди выпрямился в шезлонге и проговорил резким шепотом, равнозначным крику:

— Я выбрался по лестнице к выходу на Нассау-стрит. По всей вероятности, одним из самых последних. Ценой жестоких ожогов лица, головы и руки. Мой врач сказал, что теперь я останусь обезображен до конца дней своих... — Голос его был исполнен горечи. Краснота и

шрамы, добавил он, сохранятся на лице навсегда, борода, усы, да и вообще волосы исчезнут почти без следа.— И они в том повинны!..

Он свирепо ткнул в нашу сторону пальцем: кажется, он и вправду убедил себя, что это так, и, уж во всяком случае, ненавидел нас за то, что испытывал ужасную боль. Нет сомнения, заявил он в заключение, мы знали о планах Пикеринга. Так оно, собственно, и было, по крайней мере я знал. Из обитателей дома, где жил Пикеринг, мы единственные походили по приметам на тех, кто ворвался накануне к ним в контору,— потому-то Кармоди и просил инспектора Бернса доставить нас на очную ставку.

— И если Пикеринг,— Кармоди откинулся в шезлонге, — до сих пор не обнаружен, то они повинны в его смерти. Если бы не они, он мог бы спастись вместе со мной.

Бернс повернулся и пристально посмотрел на нас.

— Пикеринг не обнаружен.

— Тогда перед вами его убийцы.

В жизни не встречал я такой дикой злобы, какой сверкнули полускрытые бинтами, покрасневшие глаза. Имело ли смысл протестовать, говорить, что пожар начал он, а не мы, что с Пикерингом боролся он, а не мы, что смерть Пикеринга — на его совести? Я хотел было выкрикнуть это ему в лицо, но как же объяснить в таком случае, почему мы прятались в соседней комнате? Рассказать Бернсу о Данцигере и о проекте? Никакого объяснения нашему поведению я не находил.

— Ну? — обратился ко мне Бернс.— Хотите что-нибудь мне сказать?..

Я немного подумал и покачал головой.

У входной двери зазвенел звонок. Мы услышали, как дверь отворилась, до нас донесся голос горничной и другой, мужской. Шаги все ближе и ближе, горничная замерла на пороге, а к нам в гостиную вошел полицейский, который оставался у дома № 19 на Грэмерси-парк. Держа

шлем под мышкой, он отвесил поклон, смиренно опустив голову, потом отступил на шаг и поднял палец к усам, чтобы их пригладить. Забинтованная голова в шезлонге царственно кивнула в ответ, миссис Кармоди снисходительно наклонила головку. Приветственная церемония заняла несколько секунд, и, если бы я даже не догадывался ни о чем раньше, теперь я понял бы со всей очевидностью, что здесь обитают деньги и власть — и оба блюстителя порядка отдадут себе в том отчет.

— Ну? — произнес Бернс снова и тем самым сразу определил свое положение в гостинице, недостижимое для обыкновенного полицейского служаки.

— Так точно, сэр, — ответил сержант, расстегивая две медные пуговицы как раз над ремнем. Сунул руку за борт шинели и, повинуясь актерскому инстинкту, свойственному, кажется, любому человеку этой эпохи, прошествовал, не вынимая руки, к столику рядом с шезлонгом Кармоди. И только тут достал из-под шинели толстую пачку зелененьких купюр, перехваченных бумажными лентами, и шлепнул ею о столик.

— Нашел у него в комнате, сэр. — Он кивнул в мою сторону. — Хозяйка показала мне, где его комната, и деньги были в саквояже, спрятаны под бельем...

Я буквально онемел от изумления. Бернс подошел к столику, наклонился и внимательно осмотрел купюры.

— Это ваши деньги, сэр?

Забинтованная голова повернулась — похоже, что движение причинило Кармоди боль, — и воспаленные глаза уставились на пачку, часто мигая.

— Да, билеты были помечены. Мой банк опознает их все до единого.

Бернс взял деньги со стола, запихнул их во внутренний карман и приблизился к нам с Джулией.

— Ну? — повторил он чуть ли не весело, остановившись подле меня. — Теперь-то вы хотите что-нибудь мне сказать?..

— Мне нечего говорить. — Я пожал плечами. — Он лжет, и вся история с деньгами — провокация, чтобы придать этой лжи видимость правдоподобия. — Я понятия не имел, употреблялось ли тогда слово «провокация», но Бернс понял меня и кивнул. — Мы этих денег и не касались... — Я осекся, меня вдруг осенило. — А вы проверяли их на отпечатки пальцев? — спросил я взволнованно. — Его отпечатки вы, разумеется, найдете. — Я показал на шезлонг. — Но не найдете ни моих, ни мисс Шарбонно!..

— Не найду чего?

— Отпечатков пальцев!

— Что-то я не пойму тебя, парень...

Он действительно не понимал меня. Нетрудно было увидеть, что не понимал. Не знаю, когда начали применять отпечатки пальцев как метод установления личности преступника, но, очевидно, время это еще не настало.

— Не понимаете, и не надо. Он лжет. Больше мне нечего вам сказать.

— Ну что ж, возможно, возможно, — откликнулся Бернс. К нему подошел сержант, шепнул что-то на ухо. Бернс кивнул, сержант вышел. Какое-то время инспектор смотрел на меня задумчиво, будто и в самом деле взвешивал ту возможность, что я говорю правду. — Значит, он обвиняет, ты отрицаешь вину. Если вы двое сделали это, то, кроме мистера Кармоди, вас никто не видел. Но ты вот что мне скажи: а вы вообще-то там были? Прятались вы рядом с конторой Пикеринга? Без всякого злого умысла — прятались или нет?

Он улыбнулся, приглашая отвечать начистоту. Но я уже успел прийти к выводу, что нельзя признаваться ни в чем, даже в невинной шалости. Как объяснить подобную шалость? А если я признаюсь, что мы там были, но не сумею объяснить зачем, обвинения, выдвинутые Кармоди, сразу же обретут основательность. Не мешкая, я затряс головой.

— Нет. Единственное, что связывает нас с Пикеринг-

гом,— то, что мы живем в одном пансионе. И нам ничего не известно о том, что он шантажировал этого человека. И не известно, правдива ли версия о шантаже. Право же, я начинаю подозревать, что, может статься, мистер Кармоди сам убил Пикеринга. И оставил его там, чтобы труп сторел. Ну, а на всякий случай, вдруг правда рано или поздно выплывет, решил найти козла отпущения, пока никто не задает вопросов ему самому. Поскольку мы живем в одном доме с Пикерингом, он с чьей-то помощью подкидывает деньги мне в саквояж, а потом обвиняет нас во всех смертных грехах...

— Возможно, возможно,— отозвался Бернс еще раз, вроде бы вполне сочувственно.— Если вас вчера не было в здании «Всего мира» — а ты ведь говоришь, что не было?... — Я кивнул в подтверждение, и Бернс направился к двери.— Сержант!..

Тут же послышались шаги по паркету, сержант — шлем, словно мяч у регбиста, неизменно под мышкой — остановился у двери и пропустил в комнату мужчину, лицо которого показалось мне знакомым, только я никак не мог вспомнить, где и когда видел его. Мужчина вежливо поклонился миссис Кармоди, бросил взгляд на забинтованную фигуру, но сразу отвел глаза. Две-три секунды внимательно смотрел на меня, затем на Джулию и заявил, обращаясь к Бернсу:

— Да, это они.— Взглянул на две фотографии, которые держал в руке, и я понял, что это снимки, сделанные с нас в полицейском управлении.— Я узнал их даже по фотографиям,— добавил мужчина, отдавая снимки Бернсу.— Как засвидетельствовал доктор Прайм, они спаслись тем же путем, что и он; я сам помог им перелезть через подоконник к себе в кабинет.— Еще раз посмотрел на нас с Джулией, в глазах у него мелькнуло сочувствие.— Право, мне жаль, если у них неприятности,— сказал он, будто извиняясь перед нами за то, что пришлось нас выдать.

Бернс поблагодарил его, и Дж. Уолтер Томпсон, в кабинет которого мы попали вчера из горящего здания, отвесил общий поклон и удалился. Дело начало приобретать скверный оборот. Бернс поймал нас на зависть ловко, и я окончательно убедился, что, невзирая на свою внешнюю неотесанность, он очень и очень опасен.

— Поздравляю вас, сэр, — обратился Бернс к забинтованному, как бы уступая ему честь нашего задержания. — Похоже, вы поймали двух убийц...

— С вашей помощью, инспектор. Когда я чуть-чуть поправлюсь и смогу вновь появиться на Уолл-стрит, я хотел бы отблагодарить вас еще раз. У себя в конторе. Вы ведь по-прежнему держите улицу под специальным надзором, не так ли?

— О да, разумеется, сэр.

— Вот и отлично. Поверьте, мы все ценим вашу работу. Ни один карманник, ни один смутьян не сунулся на биржу с тех пор, как вы установили патруль на Джон-стрит. А теперь вы, пожалуй, можете идти, инспектор. Полагаю, вы приложите все силы к тому, чтобы не дать этой парочке ускользнуть от правосудия. Когда они получат по заслугам, тогда... тогда приходите ко мне в контору.

— Считайте, что дело сделано, сэр.

Как зачарованный вслушивался я в их диалог: они торговались относительно нашей судьбы. Мной владел страх. Но Джулии я послал ободряющую улыбку, и это не было наигрышем: мы, безусловно, попали в беду, но что, в сущности, сможет Кармоди доказать перед судом? Его слово против нашего — и только; инспектора Бернса он, может, и убедил, но на суде ему предстоит задача куда сложнее.

Не прошло и минуты, как я убедился, что Бернс и сам понимает шаткость своей позиции, и у меня даже поднялось настроение. Нас вывели из дома — сержант шагал между нами, крепко зажав нам локти, Бернс немного отстал, но на тротуаре вышел вперед и потянулся к дверце.

экипажа. Потом, придерживая дверцу рукой, повернулся к нам с задумчивым видом.

— На суде один скажет — черное, другой — белое. У тебя в комнате нашли деньги, вас обоих опознал Томпсон. А вокруг Кармоди душок скандала, связанного с «шайкой Твида», не так ли? И деньги, чтоб откупиться от шантажа, он все-таки принес, пусть и немного. — Секунду-другую он молчал, вглядываясь в наши лица, потом распахнул дверцу: — Влезай-ка, сержант!..

Сержант удивился, но отпустил нас и сделал, как ему приказывали. Бернс повернулся к экипажу спиной и тихо, чтобы не услышали ни сержант, ни кучер, проговорил:

— Права, значит, тебе подавай. Гарантированные конституцией... — Звучало это так, словно подобная мысль позабавила его своей новизной. — Ладно. Забирать вас, пожалуй, и в самом деле рановато. Сначала надо подобрать еще улики. — Он выдержал паузу, затем вроде бы пришел к окончательному решению. — Ну, вот что, проваливайте. Но смотрите мне, города не покидать, понятно?..

Мы устали на него, не вполне уверенные, что правильно его поняли.

— Ну-ну, шагайте, — повторил он почти добродушно и улыбнулся Джулии чуть ли не отеческой улыбкой, ласковой, насколько позволяло его огрубевшее лицо.

«Какой же смысл ждать, пока он не передумает?» — решил я, схватил Джулию за руку и поспешно потащил ее прочь, на юг по Пятой авеню, в сторону, противоположную той, куда мог бы тронуться экипаж. Мы сделали десять шагов, двадцать, тридцать. В конце концов я не выдержал и оглянулся. Бернс по-прежнему стоял подле экипажа и наблюдал за нами.

— Сержант! — вдруг заорал он во всю мочь и, рванув дверцу, показал своему подчиненному на нас пальцем. — Арестованные убегают!..

Я остановился, сжав рукой руку Джулии и развернув ее к себе, мы остолбенело устали на инспектора —

мозг отказывался понять, что происходит. Из окошка экипажа показалась голова сержанта в каске, и он тоже вытянул в нашу сторону палец. Нет, не палец — я увидел вспышку, услышал грохот и мимо, с визгом разорвав воздух у самой моей головы, пролетела пуля.

Теперь мозг наконец отдал необходимый приказ, и мы бросились бежать, спасая свою жизнь, а револьвер грохнул снова, пуля взвизгнула и отбила осколок с балюстрады каменного особняка как раз перед нами. И в третий раз прозвучал поразительно громкий выстрел, но мы уже добежали до угла; я успел оглянуться через плечо назад — Бернс очутился на мостовой и, схватив сержанта за кисть, выворачивал дуло револьвера вверх, разумеется, не для того, чтобы спасти нас, а потому, что вокруг было слишком много людей, испуганно застывших при звуке выстрелов.

Мы оказались на Сорок седьмой улице. Джулия одной рукой подобрала юбку, люди таращились на нас, а мы бежали, бежали изо всех сил. Какой-то человек вдруг отделился от подъезда отеля «Виндзор» на той стороне улицы и бросился по булыжнику нам наперерез, вытянув руку жестом, означающим «стой», и крича нечто невнятное. Но я поднял кулак, он поспешно остановился у обочины и позволил нам проскочить мимо. Квартал оказался длинным — бесконечный ряд одинаковых домов из бурого песчаника, и где-то в середине его Джулия выдохнула, с трудом: «Не могу больше...» Мы перешли на шаг, и я опять оглянулся. Множество людей смотрело нам вслед с тротуара, из окошек карет и с облучков повозок и фургонов, но никто больше за нами не гнался и нигде не было видно ни Бернса, ни сержанта, чего уж я и вовсе не мог понять.

Наконец мы добрались до Мэдисон-авеню. У перекрестка появилась конка, идущая в южном направлении, я на ходу подсадил Джулию и сам вскочил следом. Конка

двигалась не быстрее пешехода; бегом мы обогнали бы ее, но об этом не стоило и думать, к тому же здесь мы привлекали гораздо меньше внимания. Я заплатил за проезд, мы опустились на скамью и перевели дух, глядя в окно и вообще стараясь выглядеть по возможности неприметными. Но никому до нас и дела не было: пассажиры сидели, глазели на тихую улицу, кашляли, зевали, входили, выходили, шурша по толстому слою устилающей пол соломы — предполагалось, что она помогает обогреть ноги, только тепла она не давала никакого.

Подъехали к Сорок второй улице, как всегда шумной и суетливой; посреди улицы стояли два полицейских и регулировали движение. Один был долговязый, другой низкорослый, но оба отрастили себе солидные животы, выпиравшие из-под синих форменных шинелей. Конка сворачивала на восток, на Сорок вторую, и длинный фараон, стоявший у самых рельсов, посмотрел в нашу сторону, затем снял с головы шлем и заглянул в него. Мы поравнялись с ним, и я полюбопытствовал: что это он там разглядывает? Никогда в жизни, пожалуй, не был я так изумлен. Там, на дне фетрового шлема, лежало мое собственное изображение.

Рядом лежала и карточка Джулии — те самые полицейские снимки, что мы уже видели, но наклеенные на толстый картон. Только теперь я понял, почему фотограф буквально опрометью выскочил из подвальной комнатки со своими пластинками. С той самой секунды он со всей скоростью, на какую был способен, множил и множил наши портреты. Мы еще тряслись в экипаже, мы слушали Кармоди, Бернса, Томпсона, а наши портреты уже раздавали в срочном порядке всем дежурным полицейским в городе: приказ разыскать и задержать нас Бернс отдал, еще когда мы были в его руках!..

Поймавшему нас обещали, видимо, продвижение по службе. Меня и фараона разделяло только стекло; наши взгляды встретились, он узнал меня и — поразительная

история! — откровенно перепугался. Уж не знаю, что ему там наговорили про то, какой я опасный преступник, но вагон проехал мимо, прежде чем он опомнился и поспешно окликнул своего напарника. Тот крикнул что-то в ответ — слов я, разумеется, не разобрал — и они вдвоем побежали за нами по самой середине улицы.

Они бежали метрах в шести за конкой, бежали тяжело и неуклюже, и каждый одной рукой придерживал трясущийся живот. Сцена в точности повторяла неоднократно виденную мной в стародавних немых комедиях. Только на сей раз смеяться над ней совершенно не хотелось. Полицейские были настоящие, и, если только они поймают нас, мы угодим напрямиком в тюрьму Синг-Синг. Ни кучер, ни кондуктор их еще не видели, но два или три пассажира уже обернулись, как и мы с Джулией, поглядеть, что происходит. Оставалось полквартала до вокзала Гранд-сентрал, конка там наверняка остановится, и они нас догонят. Я соскользнул с сиденья, встал, потянул Джулию за руку и, притворяясь совершенно невозмутимым, двинулся к передней площадке.

Прямо перед вокзалом высоко над серединой улицы висел маленький, с двускатной крышей домик — станция надземки, и с обеих сторон Сорок второй улицы к нему поднимались лестницы. Это была тупиковая линия, видимо ветка от главной линии над Третьей авеню, и у меня зародился пусть не четкий план, но какое-то его подобие. Вверх к станции вело четыре лестничных марша, по два с каждой стороны улицы, все они сообщались между собой через платформу, и, взбежав по одной лестнице, мы получали известный шанс успеть сбежать по другой и ускользнуть от полицейских до того, как они поднимутся и спустятся вслед за нами.

Во всяком случае, ничего лучшего мне в голову не пришло, и, очутившись на площадке, я прошептал: «Прыгайте и бегите за мной!» — а Джулия ответила мне кивком и улыбкой, словно я отпустил какое-то невинное за-

мечание. Кучер натянул поводья, конка начала замедлять движение — я подтолкнул Джулию, мы прыгнули и побежали. Сначала рядом с лошадью, потом обогнали ее, нырнули под самой ее мордой, шмыгнули меж двумя повозками, на одной из которых высилась гора пустых бочек, выскочили на тротуар и метнулись вверх по лестнице, перескакивая через ступеньки, Джулия впереди, я за ней.

Те, кто спускался по лестнице нам навстречу, не обращали на нас особого внимания, лишь сторонились, давая дорогу, и я сообразил, что здесь, у вокзала, люди, бегущие со всех ног, — не такое уж необычное зрелище. Сзади донеслись крики, я оглянулся с верхней площадки — длинный фараон добрался до основания лестницы гораздо быстрее, чем я предполагал. В помещении станции мы перешли на шаг. Пока кассир не спеша отрывал нам билеты, Джулия дернула меня за рукав, и я увидел паровозик с одним вагоном на единственном пути, почти упирающемся в станционное здание. Искушение было очень велико, но спустя мгновение я покачал головой: полицейские вошли бы в вагон одновременно с обоих концов и поймали нас там, как в ловушке.

На платформе я снова оглянулся, и в ту же секунду над уровнем дощатого настила показалась каска, а потом и голова фараона. Мы бросились вдоль платформы к лестнице у противоположного ее конца, но едва мы промчались мимо вагона, я услышал резкий щелчок — захлопнулась железная, по поясу, дверца открытой площадки. Игрушечный паровозик свистнул фальцетом; оглянувшись еще раз, я заметил, как двинулась миниатюрная кулиса. Вагон медленно тронулся и покатился, и Джулия застонала: ведь мы могли бы быть там, внутри!

Но сделанного не воротишь. Чух-чух, чух-чух — паровозик шел задним ходом и, набирая скорость, толкал вагон по одноколейке назад к главной линии. Кондуктор захлопнул дверцу второй площадки, и тут впереди, над лестницей, к которой мы бежали, вырос шлем второго фа-

раона. Они нас перехитрили. Я стремительно обернулся — первый из блюстителей порядка неся на нас по платформе, тряся животом и придерживая шлем рукой, и до нас ему оставалось не больше пятнадцати метров...

Я не принадлежу к числу тех, кто в минуту опасности умеет принимать мгновенные решения. То есть думаю-то я быстро, а вот решения мои, как правило, оставляют желать лучшего. Но на сей раз я, не рассуждая, нашел единственно возможный выход. Крепко схватив Джулию обеими руками за талию, я поднял ее и перенес через дверцу на площадку вагона, а сам, едва увернувшись от подбегавшего фараона — пальцы его царапнули меня по спине, — впрыгнул в паровозную кабину, резко повернулся и выставил наружу ладонь. Коротышка-полицейский с разбегу ткнулся в нее лицом, запатался и остановился, а поезд тем временем выкатился за пределы станционной платформы.

По другую сторону кабины машинист, высунувшись из окна чуть не по пояс, глядел на рельсы; за грохотом и пыхтением своего паровика он меня не видел и не слышал. На следующей странице набросок, сделанный мной несколько дней спустя: поезд надземки покидает станцию Гранд-сентрал и идет к Третьей авеню, которая лежит за рамкой рисунка справа. Внизу — Сорок вторая улица, а сверху — лишь серое пустынное зимнее небо. Пройдут годы, и на месте маленькой круглой башни из красно-белого кирпича — на рисунке слева — в это небо вонзится остроконечная громада «Крайслер билдинг».

Через минуту поезд уже замедлил ход и въехал в щель меж платформами на другом конце двухквартирной ветки. Полицейские вполне могли бы пробежать эти два квартала по мостовой или на худой конец отобрать какую-нибудь телегу для погони. Я свесился из паровозной будки, высматривая на основной линии Третьей авеню поезд, на который мы смогли бы тут же пересестъ. Однако поезда не было, и, как только мы поравнялись с деревян-



ной платформой, я соскочил с паровоза — машинист, кажется, так меня и не заметил — и меня по инерции пронесло вперед, к вагону. Джулия стояла там же, где я ее поставил, на площадке у дверцы, а за плечами у нее высился кондуктор.

— Эй, послушайте, это не положено! — заявил он сердито.

Я так и не понял, что он имеет в виду: то ли что я

посадил Джулию через верх закрытой дверцы, то ли что сам ехал на паровозе. Со всей возможной кротостью я вручил ему наши билеты. Он не торопясь достал компостер, пробил оба билета по отдельности, отдал их мне и только после этого открыл дверцу и выпустил Джулию.

Думаю, что если бы те два фараона по-настоящему постарались, они успели бы встретить нас у подножия лестницы на углу Сорок второй улицы и Третьей авеню — только для этого им пришлось бы пошевеливаться быстрее, чем они привыкли. А так мы оказались вновь представлены сами себе. Правда, по другой стороне улицы прохаживался еще один страж закона: заглянул через дверь в близлежащий салун, прошеествовал до угла и, отойдя к бровке мостовой, принялся крутить свою дубинку на ремешке с ловкостью профессионального циркача. По всей видимости, он отдавал гораздо больше сил и времени совершенствованию искусства жонглирования дубинкой, нежели ловле правонарушителей. Мы пошли по Третьей авеню на юг, быстро, но не слишком быстро, чтобы не вызвать подозрений. Нам повезло, что мы попали именно на этот участок, но Джулия посмотрела на меня с немим вопросом, и я понял, что у нее на уме. Интересно, у жонглера в шлеме тоже есть наши фотографии? Я ответил Джулии пожатием плеч: если и нет еще, то скоро будут. Каждый полицейский в городе будет на дежурстве держать их при себе и передавать сменщикам, да к тому же, наверно, на улицу выйдут дополнительные наряды и шпики в штатском. Награда, которую Кармоди в нашем присутствии обещал Бернсу, если нас поймают и осудят или убьют «при попытке к бегству» — неважно, что именно, — несомненно, окажется весьма солидной. Бернс рассчитал хитро: наш «побег», разумеется, будет воспринят как доказательство вины.

Мы уже отошли на полквартала от стража на углу, а он так и не глянул в нашу сторону. Но на следующем углу нас может встретить другой, более ретивый, а если

пронесет и на следующем углу, то дальше нас ждет третий, четвертый... Идти пешком квартал за кварталом мы просто не имели права: нас поймают за какие-нибудь десять минут. И общественный транспорт — тоже не решение проблемы. Надо убираться с глаз долой, и притом немедленно. «Извозчика бы взять, — подумал я с воодушевлением, — откинуться на сиденье и обдумать все хорошенько...» Но Бернс прекрасно знал, какие трудности встанут перед нами: беглецам в первую очередь нужны деньги, а наши он отобрал.

— Джулия, есть у вас хорошие друзья, которые могли бы спрятать вас на несколько дней и одолжить денег?

— В Бруклине есть — мы жили там два года назад. А здесь единственный человек, кого я могла бы просить об этом, живет на углу Шестидесят первой улицы и Лексингтон-авеню, да и...

— Слишком далеко, слишком далеко! — прервал я ее нервно. — Где мы сейчас? У Сорок первой? Какой мост отсюда ближе всего? Может статься, мосты еще не охраняются, и мы успеем...

— Послушайте, Сай, но ведь мост на Ист-Ривер только один, Бруклинский, и до него далеко...

Я кивнул, вглядываясь в витрины магазинов и стараясь разглядеть в них, как в зеркале, не преследует ли нас кто-нибудь, не готовится ли окликнуть. Острее, чем когда-либо прежде, я отдал себе отчет, что Манхэттен — остров, и не слишком большой: его можно, вероятно, обойти вокруг за один-единственный день.

— А на пароме нас зацапают, как котят. Деньги, черт побери, где взять деньги? Чтобы скрыться в гостинице, чтобы поужинать в номере... Может, связаться с вашей тетюшкой по телефону?..

Я осекся.

— Что, что?

— Да нет, ничего.

Но она расслышала — просто не поняла.

— Я не знаю ни одного человека, у которого есть телефон. И ни одного, кто видел бы телефон...

— Да, да, конечно...

— Можно послать посыльного. Здесь рядом есть контора.

— Но ведь придется ждать ответа?

— Разумеется.

— Когда мальчик отправится назад, то фараон, которого наверняка поставили возле вашего дома, придет за ним по пятам. Господи, если бы хоть кино было! Наскребли бы мелочи на билеты подешевле и отсиделись бы дотемна...

— Кино?..

«Если так будет продолжаться, — подумалось мне, — я окончательно рехнусь».

— Нам надо разойтись, Джулия. До темноты. Они ищут нас двоих вместе — не будем облегчать им задачу. До сумерек осталось минут сорок, от силы час. Тогда я постараюсь незаметно проскользнуть в дом. У меня в комнате есть деньги. Встретимся через полтора часа — где бы это лучше всего неподалеку от дома? — в Мэдисон-сквере. Идите через сквер не останавливаясь, будто по делам, я сам увижу вас и двинусь за вами. Если меня не окажется, пройдите через сквер еще разок спустя полчаса. Если и тогда не встретимся, тогда... Тогда уж сами как-нибудь, хорошо?..

Прежде чем она успела ответить, я взглянул в витрину очередного магазина; из двух витрин, развернутых под углом 45 градусов к тротуару, одна отражала улицу чуть не на полквартала позади. И тут я увидел человека, бесшумно бегущего следом за нами. Он был в штатском, в длинном пальто и котелке «дерби», но от него прямо-таки разило полицией. Он бежал на цыпочках, совершенно беззвучно, и до нас ему оставалось еще метров сто. Не оборачиваясь, я торопливо проговорил вполголоса:

— Бегите, Джулия. До угла и за угол. Не медлите, бегите!..

Она не колебалась и не теряла времени на то, чтобы посмотреть назад, — просто подобрала юбки и побежала. Я вышел на середину улицы, повернулся лицом к тротуару и стал ждать. Теперь преследователь вынужден был выбирать между мной и Джулией, и если бы он устремился за ней, я оказался бы у него за спиной. Выбор был, в сущности, предопределен, но он схитрил: сперва пробежал мимо меня, словно преследуя Джулию, и только в самый последний момент свернул прямо ко мне. Я стоял подле чугунной опоры надземки и сразу отступил за нее. Секунды две-три мы держались по разные стороны столба, покачиваясь на носках и пытаясь обмануть друг друга. Потом он ринулся на меня, я оттолкнулся от опоры и бросился наутек.

Но далеко я бы все равно не убежал: если бы он увидел, что ему меня не догнать, то, несомненно, стал бы стрелять и с такого расстояния вряд ли промахнулся. И снова я умудрился принять единственно возможное решение. Внезапно повернувшись, я кинулся ему в ноги приемом, который он вряд ли видел когда-нибудь до той самой минуты. Мальчишкой в школе я немного играл в регби — и теперь, распластавшись над землей, обвил руками его колени, и он рыбкой перелетел через меня на булыжную мостовую. Мне показалось даже, что я сломал себе плечо — боль напомнила мне о том, почему я в свое время бросил эту игру, — но я вскочил на ноги, а он лежал. Пробежав шагов пятнадцать, я оглянулся — теперь он стоял на коленях, вытаскивая из заднего кармана большой блестящий револьвер. Дальше я бежал с таким расчетом, чтобы меня заслоняли от него опоры надземки, и не забывал ежесекундно озиаться через плечо. Шпик поднимал револьвер обеими руками и тщательно прицелился — ну, конечно, он хотел взять меня если не живым, так мертвым. Я резко остановился и тут же метнулся вбок:

он выстрелил, пуля с оглушительным звоном ударила в опору. Люди на тротуарах замерли, но желающих выскочить на мостовую и попытаться остановить меня я что-то не замечал. На углу я повернул на восток; вдогонку мне громыхнул еще один выстрел, и я прислушался к собственным ощущениям — нет, не ранен.

Теперь я очутился за углом, а значит, вне досягаемости для его выстрелов. Он остался далеко на Третьей авеню, вероятно только еще поднимался на ноги, и я прикинул, что вполне успею добежать до Второй авеню, лишь бы хватило дыхания. Правда, на последних десяти метрах мне пришлось-таки перейти на шаг; тяжело дыша, я настороженно осмотрелся, но его не было видно. Тогда я вновь повернул на юг по Второй авеню. На какой-то срок — ведь у полиции, к счастью, нет еще ни радио, ни патрульных машин, ни даже телефонов — я был в безопасности.

Миновав квартала четыре, я зашел в салун и заказал кружку пива, пригубил его, потом отправился по тусклому коридору в туалет и проторчал там минут шесть-семь, просто чтобы убить время. Вернувшись в зал, отхлебнул еще глоток-другой; мужчины, толпившиеся у стойки, не обращали на меня ровным счетом никакого внимания. Тогда я подобрался к столу с закусками, взял бутерброд с ветчиной, два крутых яйца и маринованный огурец, вернулся к своей кружке, съел все подряд и запил пивом. А уходя, потихоньку сунул в карман пальто еще два яйца и толстый бутерброд с сыром.

Когда я добрался до Грэмерси-парка, уже совсем стемнело. Я пристроился в разрыве меж двумя фонарями, в беспросветной тени, и стал наблюдать за домом. Окна нижнего этажа — гостиная, столовая, кухня — были освещены, как и два окна наверху. Кто-то, не то Байрон Доувермен, не то Феликс Грир, прошел мимо окна гостиной с газетой в руке. Потом в одном из окон наверху свет погас. И в тот же миг, глядя сквозь переплет обнаженных ветвей

и узор ограды парка, я заметил полицейского, неторопливо вышагивающего вдоль фасада.

Он дошел до угла площади, развернулся и так же неспешно двинулся назад. Я вытащил часы и засек время. Ему потребовалось около полутора минут, чтобы пройти мимо дома и дошагать до другого угла, и столько же на обратный путь. С часами в руках я продолжал наблюдать за ним; шесть раз с точностью маятника он промерил один и тот же отрезок, и каждый раз на это уходило ровно полторы минуты. Если приноровиться, вполне можно успеть за полторы минуты обогнуть угол парка, добежать до двери, открыть ее своим ключом и проскользнуть внутрь до того, как он повернет назад. Взбежать к себе в комнату и забрать все деньги, что там еще остались, — дело нескольких секунд. А потом снова спуститься в переднюю, понаблюдать через щелку и, как только он проществуем мимо, пересечь улицу у него за спиной...

Однако я не спешил: неужто удастся так просто и безнаказанно перехитрить Бернса? Он расставил силки на нас с Джулией и до сих пор не просчитался ни разу. Я двинулся вдоль ограды, потом приостановился еще раз... и тут заметил еще одного наблюдателя. В парке на скамейке неподвижно сидел человек, одетый во все черное. Он расположился так, чтобы видеть фасад дома № 19, а сам оставался в глубине парка почти невидим; он сидел и ждал, пока я или Джулия не соразмерим свои планы с медлительными шагами фараона и не пересечем улицу. А тогда он тихо свистнет, и фараон обернется и кинется к двери...

Я попятился, потом побрел прочь. До Мэдисон-сквера было рукой подать, и шел я со всеми возможными предосторожностями, но теперь я понял, что надежды нет — рано или поздно нас все равно поймают. Если только я не брошу Джулию на произвол судьбы, чего я не собирался делать ни при каких обстоятельствах, Бернс может торжествовать победу. Он обложил нас со всех сторон,

загнал в тупик, он не оставил нам денег даже на еду; теперь прячясь не прячясь — ничто не поможет. Он предусмотрел все, предусмотрел еще до того, как задержал нас. Желал ли он нашей смерти? Например, «при оказании сопротивления задержанию»? Вполне возможно. Во всяком случае, это был бы наикратчайший путь к свиданию с Кармоди в уоллстритовской вотчине последнего. Или теперь Бернс решил нас поймать? Вероятно, его равно устроит и та и другая развязка: наш «побег» служит доказательством нашей вины или по крайней мере ставит под сомнение нашу невиновность. Для таких влиятельных особ, как Бернс и Эндрю Кармоди, да еще после нашей «попытки к бегству», добиться в 1882 году судебного приговора — «обвиняются в убийстве» — не составит труда...

Я увидел Джулию, едва она вошла в Мэдисон-сквер со стороны Пятой авеню; походка у нее была быстрая, целеустремленная, фигура в длинном платье то вырисовывалась четко на фоне желтого света фонарей, то пропадала в тени. Я встретил ее у выхода в сторону центра, она улыбнулась с облегчением, увидев меня, и я подхватил ее под руку и повел назад, в сквер, словно мы и в самом деле знали, куда направляемся. Не откладывая, я рассказал ей все, что со мной случилось, и самое главное — что денег у нас по-прежнему нет.

— Боже мой!..

Она на мгновение прикрыла глаза.

— Что с вами?

— Я так устала, Сай. Я просто не могу больше ходить, ходить без конца...

Подбодрить ее мне было нечем. Вскоре после того, как мы расстались, она зашла в посыльную контору и отправила с мальчиком записку тетушке: с пей-де все в порядке, но на какое-то время придется уехать из города; почему — она объяснит позже, а пока пусть тетушка не волнуется...

— Она, конечно, будет волноваться, проси — не проси, но по крайней мере она теперь хоть что-то обо мне знает. Что еще я могла предпринять? Хотелось бы...

Я держал Джулию под руку и не мог не почувствовать, как резко она вздрогнула; я и сам заметил двух полицейских, пересекающих Пятую авеню по направлению к нам. Мы стремительно повернули и все с тем же деловым видом зашагали обратно, туда, откуда только что пришли, уповая, что за деревьями и кустами они не успели нас заметить. Какой бы бессмыслицей это ни представлялось, мы инстинктивно оттягивали ту минуту, когда нас поймают. А на выходе из сквера у Двадцать третьей улицы появился еще один фараон — этот нас, безусловно, не видел, стоял к нам спиной и думал, верно, о чем угодно, только не о нас. Но выйти этим путем, не обратив на себя его внимание, нечего было и надеяться, и мы свернули в первую попавшуюся поперечную аллею.

— Сай, я должна остановиться. Должна, хоть умри. Я присяду на этой скамеечке, а вы идите. Потом вернетесь, может, я еще буду здесь...

Но я энергично затряс головой и силой, чуть не бегом потащил ее дальше. Что-то вокруг — то ли вид деревьев, то ли расположение скамеек — показалось мне смутно знакомым. Я же здесь проходил — ну да, конечно! Вот аллея начала изгибаться и за сеткой ветвей проступили темные бесформенные очертания, которые я тем не менее сразу узнал. Потом мы вышли напрямую и с полной ясностью увидели на фоне ночного неба громадную правую руку статуи Свободы, вознесшую свой факел высоко над вершинами деревьев.

Мы молча вскарабкались по винтовой лестнице до круглой огороженной площадки у пламени факела. Литая ограда скрывала нас, но мы могли смотреть сквозь нее и видеть, что творится внизу; опустившись на холодный металл, мы целую минуту всматривались и вслушивались, созерцали тусклые качающиеся огни экипажей на Пятой

авеню и радовались уже тому, что сидим, что больше не надо ходить. Если бы кому-нибудь пришло в голову искать нас здесь, скрыться нам было бы некуда. Бернс загонял нас если не до смерти, то во всяком случае до изнеможения. Но сейчас даже Бернс перестал нас интересоваться.

Сквозь ограду снизу просачивался скудный свет фонарей, и медная обшивка факела, на которую Джулия откинула голову, переливчато поблескивала; на лице у Джулии застыла улыбка.

— Как хорошо, — прошептала она, — как хорошо, что не надо двигаться. — Она приоткрыла глаза, увидела, что я смотрю на нее, и улыбнулась еще раз, чтобы показать, что шутит: — Если бы теперь еще и перекусить...

Я усмехнулся и вынул из кармана мятый бутерброд и яйца с раздавленной скорлупой. Даже не поинтересовавшись, откуда у меня все это, лишь покачав головой в изумлении, она принялась за бутерброд. Потом предложила поделиться со мной, но я отказался, рассказал про салун и заставил ее доесть все до конца.

Ночь мы провели внутри статуи, укрывшись от ветра на винтовой лестнице. Мы уселись, тесно прижавшись друг к другу, на третьей или четвертой ступеньке сверху, площадка оказалась на уровне наших глаз, и через щель под оградой был виден город. Джулия склонила голову мне на грудь, я сел вполоборота к ней и обвил ее руками. Холод проникал и сюда, но от ветра мы спрятались, так что стало в общем терпимо. Джулия уснула сразу, а я до поры до времени сидел без сна, обняв ее и глядя на город; все, что я видел за оградой, была темнота, в которой кое-где мерцали тусклые искорки. Но и эти искорки исчезали по одной, по две, пока не погасли без следа, город совсем замолк, и я тоже уснул.

Раза два мы просыпались от холода и вставали, сгибая и разгибая заоченевшие пальцы. Во второй раз, очень осторожно, стараясь не проронить ни звука, мы выбрались

на площадку и обошли ее раз пять или шесть, глядя на верхушки деревьев, на безлюдные освещенные аллеи, на темный город под нами. Потом мы снова залезли внутрь, снова прижались друг к другу, я обнял Джулию, как раньше, но чувствовал, что больше мне на этой холодной железной лестнице не уснуть. Усталость я ощущал по-прежнему, но она была уже не такой тяжелой: сон помог. Прошло еще несколько минут, и Джулия прошептала:

— Вы спите?

Я покачал головой — щека моя касалась ее волос, так что она, несомненно, поняла меня. И сказала:

— Я тоже не сплю...

И вдруг, без всякой подготовки, вовсе не помышляя ни о чем подобном до той секунды, когда произнес первое слово, я самым обыденным тоном начал рассказывать Джулии, кто я такой и откуда явился. Мне казалось, что час пробил, что она имеет право это знать. Я рассказывал о проекте, о Рюбе, докторе Данцигере и Оскаре Россоне — и о своей жизни в том далеком, еще не наступившем времени. Говорил я ровным полупшепотом прямо ей в ухо, говорил обо всем подряд — о подготовке с Мартином, о жизни в «Дакоте», о первой удачной попытке и о том, как я попал к ней в дом. Дважды она поднимала голову и испытующе всматривалась мне в лицо, насколько это представлялось возможным в почти полной темноте, затем вновь откидывалась у меня в руках, и я старался и не мог представить себе, о чем она думает. Разумеется, я нарушил основную заповедь проекта, и никто, наверное, не смог бы понять почему. Однако я не сомневался, что поступаю правильно. Наконец я кончил и стал ждать, что же скажет Джулия.

Она глубоко вздохнула.

— Спасибо, Сай. Никогда не встречала таких отзывчивых мужчин. Вы помогли мне перенести эту долгую ночь. Ничто меня так не захватывало с тех самых пор, как я

девочкой читала «Маленьких женщин» *. Вам надо записать это все на бумаге, а может, и проиллюстрировать. Я просто уверена, что в «Харперс уикли» примут. А теперь я, пожалуй, смогу еще немножко поспать...

— Ладно,— ответил я, усмехнувшись в темноте. Значит, она решила, что я придумал свой рассказ специально ради того, чтобы развлечь ее. А впрочем, чего еще я ждал?..

Через четыре-пять минут я и сам заснул, заснул настоящему крепким сном. А когда очнулся, то каким-то подсознательным чувством понял, что ночь на исходе, и пожалел, что она уже прошла. Какой бы ни была она неприютной, но с Джулией мне было хорошо. А теперь нам предстоял день, который мы уже никак не сможем дотянуть до конца. Какой-нибудь завтрак мы еще, бог даст, сумеем перехватить, а потом придется опять ходить, ходить без остановки; через час, не больше, даст себя знать вчерашняя усталость, а еще через час-другой нас, несомненно, поймают. «Пожалуй,— подумалось мне,— лучше сразу явиться с повинной; по крайней мере тогда мы очутимся в тепле и не будет нужды куда-то бежать...»

До рассвета оставалось еще далеко, до восхода тем более, но ночной мрак уже словно разбавили. Выглянув на площадку, я различил витиеватый узор ограды — раньше мне это ни разу не удавалось. С новой силой вспыхнуло во мне удивление: какое же необычное убежище мы избрали! Пришлось повторить про себя, чтобы поверить запово: невероятно, но факт — мы внутри факела статуи Свободы. И вдруг меня озарило... А почему бы и нет? А что, если получится?.. Я сжал Джулию в объятиях, осторожно, но крепко, как можно крепче, прижался щекой к ее волосам, прильнул к ней, стараясь, насколько мог, ощутить ее частью себя самого. И затем, как учил меня

* «Маленькие женщины» — популярная в свое время повесть для девочек американской писательницы Луизы Олькотт (1832—1888).

Оскар Россоф, начал мысленно освобождаться от окружающей меня эпохи. Ведь эта гигантская медная рука, сжимающая факел, существует в обоих известных мне Нью-Йорках, в обоих временах. Мало-помалу двадцатый век ожил в моем сознании, завладел им, и я сказал себе, что я уже там, что мы оба там, Джулия вместе со мной. И вдруг я понял, почувствовал: свершилось.

В этот неуловимый миг руки мои сжались настолько, что Джулия шевельнулась и открыла хмельные от сна глаза.

— Где... — Тут она оглянулась и вспомнила. — Ах, да!..

Она улыбнулась. Я отпустил ее, поднялся, разминая затекшие ноги. Джулия тоже встала, и мы выбрались на обзорную площадку. Темнота растворялась, воздух светлел, становился белесым, хоть мы еще ничего не видели. Зато слышали. Я ждал этого и сразу узнал звук — и глянул на Джулию. На лице ее отразилось недоумение, потом она нахмурилась и повернулась ко мне.

— Прибой? — спросила она. — Сай, клянусь, я слышу шум прибоя!.. — Она втянула в себя воздух. — И запах моря. — Ее охватил испуг. — Сай, что случи...

Я обнял ее за плечи и тихо сказал:

— Джулия, мы спасены. История, которую я рассказывал ночью, не вымышлена. Я рассказал чистую правду. И теперь мы перенеслись в мой двадцатый век...

Она уставилась на меня, прочитала в моих глазах, что я не лгу, и уткнулась мне в грудь лицом.

— Сай, мне страшно! Я боюсь, я не могу взглянуть!..

А небо продолжало светлеть, на горизонте зажглась розовая полоска зари, и далеко под нами я мог уже разглядеть барашки на гребнях волн.

— Можете, Джулия, можете.

Я взял ее за подбородок, поднял ей голову и повернул лицом к востоку. Она увидела воду, увидела бухту далеко внизу, потом обернулась и увидела сине-зеленую поверхность факела, патину многих десятилетий, покрывающую

металл,— и задрожала. Плечи у нее буквально свело от страха, но глаза были все равно открыты. Снова и снова переводила она их с бухты на факел, с факела на бухту и беспрерывно повторяла: «О Сай!..» — испуганным, прерывающимся от волнения голосом. Лицо ее было блее мела, и руку, судорожно прижатую к щеке, била мелкая дрожь. Но понемногу к ней возвращалась улыбка.

Вдали над океаном показался узенький краешек солнца, и стали видны корабли. А солнце выкатывалось из-за горизонта все выше и выше, и я взял Джулию за руку и повел по кругу вдоль ограды. И как только мы перешли на другую сторону площадки, Джулия замерла не дыша; оцепенело смотрела она через бухту на сонмище небоскребов, толпящихся на южной оконечности острова Манхэттен, устремляющихся ввысь, пламенеющих в лучах восхода десятками тысяч окон.

21

Мы сели на первый же экскурсионный катер, возвращавшийся на Манхэттен. Небольшая кучка туристов, которых он привез, с любопытством воззрилась на одежду Джулии — на мое пальто и круглую меховую шапку они не обратили никакого внимания. Это был единственный за день катер, возвращавшийся в Нью-Йорк без пассажиров — не считая нас, конечно. Следующий доставит новых туристов и заберет прибывших первым рейсом, и так целый день. Я порадовался, что на борту безлюдно: на нас определенно глазели бы. Правда, контролер попался въедливый и принялся допытываться, откуда мы взяли. Я объяснил, что мы вчера опоздали на последний катер и

нам пришлось провести на острове всю ночь. Секунду-другую он размышлял, как отнестись к моему рассказу, затем сально осклабился и пропустил нас на борт; одежда наша, по-видимому, не произвела на него ни малейшего впечатления.

Мы поднялись на открытую верхнюю палубу. Катер осторожно выбрался на фарватер и, разрезая волну, двинулся к Манхэттену, а Джулия замерла подле меня и смотрела завороженно, как небоскребы увеличиваются в размерах, поднимаются до непостижимой высоты. С палубы открывался прекрасный вид на нижний Манхэттен, а также на Нью-Джерси, южную часть Бруклина, Стейтен-Айленд и на бухту вплоть до моста Верразано; минут десять Джулия просто смотрела во все глаза, не в силах вымолвить ни слова. Потом склонилась ко мне и, не отрывая взгляда от громадин, теснящихся на кончике острова, — солнце взойшло, и в его лучах здания казались действительно красивыми, — шепнула:

— Как же они не падают?..

Я принялся объяснять ей что-то про стальные каркасы, но примолк, не докончив фразы. Она меня не слушала, она не слышала ни слова. Она смотрела и смотрела — и вдруг, просияв, схватила меня за руку:

— Новый мост!.. — воскликнула она и показала на Бруклинский мост над Ист-Ривер.

Навстречу нам в открытое море направлялся торговый корабль; казалось, он не приближается, а просто увеличивается в размерах. Когда, наконец, он прошел совсем близко от нас и его стальной борт навис над нами бесконечной громадой, Джулия прильнула ко мне, испуганно жмурясь и шепча:

— Оно не опрокинется? Не перевернется?..

Я заверил ее, что это совершенно исключено, но вместе с нею смерил взглядом гигантский черный утес, глухо урчащий винтами, и без труда догадался, каково ей. Ведь даже мне самому представлялось невероятным, что такое

чудовище может держаться на плаву. Интересно, что сказала бы Джулия, если бы мимо нас проплыл, к примеру, новый лайнер «Куин Элизабет»?..

Но тут в сером небе над нами появился самолет, обыкновенный четырехмоторный винтовой самолет и не слишком высоко — не более трех тысяч метров. Я обрадовался возможности показать нечто, воистину способное выступить в роли символа века.

— Смотрите, Джулия! — Она и сама слышала гул мотора, но не могла понять, откуда он идет, пока я не ткнул пальцем вверх. — Это называется самолет. Или, иначе, аэроплан...

Я ожидал — боюсь, не без оттенка самодовольства — увидеть, как она потрясена. Однако Джулия секунд десять следила за самолетом, следила с любопытством, но без особого удивления, и кивнула:

— Я читала про аэро-планы у Жюль Верна. Конечно, вы их уже построили. Я хотела бы, пожалуй, прокатиться на аэро-плане. Их много?..

И она опять повернулась к тому, что действительно потрясло ее: к испещренным окнами скалам Манхэттена.

— Порядочно, — ответил я, рассмеявшись про себя: так мне и надо.

Сойдя с катера, мы пересекли маленький парк Бэттери и очутились на улице — и Джулия внезапно застыла, прижав руку к груди. Сперва мне подумалось, что она ошеломлена близостью домов-башен, видом узкой улицы, забитой пешеходами и машинами, ревом уличного движения, к которому добавлялся еще и оглушающий стрекот отбойных молотков. Но нет, Джулию околдовали вовсе не здания и не машины, а люди, обыкновенные люди, спешащие мимо. Пристально всмотревшись, я понял, что поразила ее не одежда, — я вспомнил трепетное чувство, охватившее меня при первом столкновении с живыми, из плоти и крови, людьми 1882 года, и мне померещилось, что на лице Джулии я вижу такое же до головокружения

острое изумление. На острове у подножия статуи Свободы она была еще слишком занята собственными переживаниями, и пассажиры с катера показались ей скорее всего ненастоящими. А теперь она, как я некогда, заметила людей вокруг себя — а они не замечали ее, они бежали по своим делам, переговаривались между собой, живые люди, отделенные от ее эпохи без малого целым столетием... Она опять побледнела, слова замерли у нее на губах — ей было страшно.

Мы прошли короткий квартал вверх по Бродвею.

— Вы знаете, где мы сейчас находимся? — спросил я.

Вопрос смутил ее, будто речь шла о каком-то городе за границей, где она в жизни не бывала. Она старалась догадаться, вертела головой туда и сюда, потом обернулась ко мне, все еще не оправившись от испуга, но уже улыбаясь:

— Нет, не знаю.

— В начале Бродвея.

— Быть не может! — вырвалось у нее. Она посмотрела еще раз в одну сторону, в другую, и улыбка исчезла с ее губ. — Но, Сай, тут же нет ничего знакомого. Ничего, к чему я...

— Погодите, — прервал я, взял ее под руку и провел еще два квартала. И вдруг Джулия сама замедлила шаги, в изумлении поднесла руку ко рту, уставившись на противоположную сторону улицы. Еще пятьдесят метров, и мы остановились у края тротуара, лицом к малюсенькой церкви Троицы, почти затерявшейся на дне ущелья из стекла и бетона. Джулия медленно запрокинула голову, поднимая взгляд все выше, выше, к вершинам башен, которые попросту задавили здание, когда-то самое высокое на всем Манхэттене — Манхэттене, каким она его знала.

— Мне не нравится, Сай! — наконец сказала она. — Не нравится видеть Троицу такой... такой убогой. — Она бросила еще один взгляд на далекое небо над крышами домов-гигантов. Когда она опять обернулась ко мне, на губах у нее вновь играла улыбка. — Но я хотела бы под-

няться на самый верх какого-нибудь из этих зданий.— Зажмурившись на мгновение, она притворилась, что замирает от высоты.— По крайней мере Бродвей все такой же шумный... Чудно-то как: нигде ни одной лошади...— И только тут она заметила очевидное.— Сай, что это? Все почему-то едут в одну сторону!..

На углу мы сели в такси, и, пока ехали на восток к Нассау-стрит, я попытался объяснить ей принцип одностороннего движения. Джулия с любопытством осматривалась в машине, а я, понизив голос, чтобы шофер не слышал, сказал:

— Вот это и есть автомобиль.

— Знаю! — Джулия тоже понизила голос.— Я вспомнила рисунок, который вы мне показали. Я их сразу узнала, как только увидела. Мне нравятся авто-мобили.— Она пощупала сиденье.— Как здорово! Интересно, что сказала бы тетя Ада... Ой, смотрите! — Палец ее уперся в заднее стекло: она заметила следующую за нами красную малолитражку.— Какая прелесть! И правит, смотрите, правит женщина! Я тоже хочу такую!..— Такси затормозило перед светофором на Нассау-стрит; как раз погас зеленый и зажегся красный свет, и Джулия сразу догадалась, в чем дело.— Остроумно! Не понимаю, почему же мы до этого не додумались...

На углу Нассау-стрит и Парк-роу мы ненадолго сошли — я попросил такси подождать у тротуара.

— Вон там, Джулия, раньше стоял отель «Астор».— Я показал вдоль Парк-роу в сторону Бродвея.— А там почта.

Джулия послушно смотрела, куда я показывал, и кивала в подтверждение, что слышит меня; однако в тот момент, по-моему, она еще не была в состоянии отождествить увиденное с «Астором» или почта.

Потом послышался радостный возглас — она заметила ратушу и здание городского суда, ничуть не изменившиеся с тех пор, как мы их в последний раз видели, и поняла, что парк на

той стороне улицы — это парк ратуши. Парк, насколько я мог судить, тоже ничуть не изменился; если и произошли какие-нибудь мелкие перемены, — наверно, произошли, — они ускользали от нашего внимания. Джулия, не в силах отвести взгляда от той стороны, улыбалась неподдельно, но, пожалуй, неуверенно; на короткий миг в глазах у нее блеснули слезы.

— Как я рада, Сай, — сказала она тихо, — что парк не изменился. Какое счастье видеть его...

Теперь она наконец сориентировалась — и вдруг до нее дошло, куда мы приехали, и она вскинула на меня глаза. Я кивком подтвердил ее догадку, жестом показал, чтобы такси следовало за нами, и мы двинулись до Парк-роу вдоль стены бывшего здания «Таймс»: оно дожило до наших дней, хоть и значительно перестроенное. А что же соседнее, сгоревшее на наших глазах дотла? На месте здания «Всего мира» высился дом, такой же невзрачный и такой же старый, удивительно похожий на своего предшественника; судя по всему, его и построили сразу же после пожара.

Мы стояли возле этого дома, глядя на него слепо и безучастно. Мысленно я видел, как из окон вырываются, тянутся по фасаду оранжевые языки пламени; до сих пор я словно бы чувствовал запах черного дыма, словно бы слышал ураганный рев пожара, о котором сегодня и не помнил никто, кроме меня и девушки, стоящей рядом; и еще я подумал: как-то сложилась дальнейшая жизнь Айды Смоли... Я подошел поближе и положил ладонь на каменную стену, и Джулия последовала моему примеру. Камень, несомненно, был самый настоящий, мерзлый, быстро вытягивал из ладоней тепло; но Джулия недоверчиво качнула головой, и я откликнулся:

— Все равно что-то не то. Будто трогаешь декорацию...

Я сунул руку обратно в карман пальто, Джулия спрятала свои ладони в муфту. Она пошла к такси, поджидав-

шему у тротуара, и вдруг снова обернулась к старому зданию.

— Где примерно висела вывеска «Обсервер»? Вон там? — Она посмотрела на шофера, который делал вид, что не слушает нас, подошла ко мне поближе и понизила голос. — Сай, вы можете поверить, что прошло всего два дня с тех пор, как мы ползли по этой вывеске? А вон, — показала она на здание «Таймс», — то самое окно, через которое мы попали в кабинет мистера Дж. Уолтера Томпсона...

Я кивнул, усмехнувшись: действительно, поверить в это сегодня было чертовски трудно.

— А ведь его рекламное агентство все еще существует. Кажется, крупнейшее в мире или что-то вроде того...

— Да ну? — отозвалась она радостно, словно получив известие о близком знакомом.

Уж не знаю, что думал о нас таксист; теперь он чуть не ежесекундно поглядывал на нас в свое зеркало. Но едва, перехватив мой взгляд, он вознамерился что-то сказать, я состроил самую суровую мину, какую только сумел. Я вообще терпеть не могу нью-йоркских таксистов. О них слишком много писали, и они возомнили о себе невесть что; меня отнюдь не интересовало, какую пошлость этот тип собирается выдать на наш счет. Джулия тоже поняла, что он теперь прислушивается к каждому нашему слову; случалось, когда мы застревали у светофоров, что водители и пассажиры соседних машин глазели на наши одежды, а вслед за тем и на лица. Разумеется, когда мы шли по Бродвею или стояли на Парк-роу, на нас глазели еще больше, но не думаю, чтобы с чрезмерным недоумением: скорее всего нас считали актерами, направляющимися на репетицию, например на репетицию телевизионного рекламного фильма. Но Джулию это непрерывное внимание беспокоило, и, когда таксист в очередной раз изучающе оглядел нас через зеркало, она наклонилась ко мне и шепнула:

— Мы едем к вам домой, Сай? Нам еще далеко?..

Я ответил, что недалеко, и сказал шоферу, чтобы он поднажал. Правда, потом мы сделали еще один крюк. На углу Третьей авеню и Двадцать третьей улицы я попросил повернуть налево, и таксист, конечно, не преминул съехидничать — напомнил мне мой собственный адрес. Пришлось повторить: «Вам говорят, налево!» Он повернул, и мы объехали вокруг Мэдисон-сквера; когда мы вновь оказались на Бродвее и двинулись вдоль западной стороны сквера на юг, Джулия вдруг резко схватила меня за руку — признаться, на что-то в этом роде я и рассчитывал.

— Сай! — горячо шепнула она. — Ее нет! Ее и вправду нет!..

— Чего нет?

— Да руки! Руки статуи Свободы!.. — Таксист был, вероятно, в полнейшем недоумении. — Ну, конечно, — продолжала она шепотом, — так и должно быть, но... Но теперь-то я точно знаю, что это мне не приснилось. И что статуя, вся целиком, стоит на острове в бухте. — Пальцы ее, придерживающие меня за локоть, непроизвольно сжались. — Страшновато...

Она принудила себя улыбнуться и посмотрела вперед сквозь ветровое стекло. На шофера она уже не обращала внимания.

— Гостиницы «Пятая авеню» нет. И театра «Эббипарк» нет. И «Женской мили» тоже нет, да, Сай?..

Я кивнул.

— Ничего этого нет. — Мы повернули с Бродвея на Двадцать вторую улицу, опять на восток. — Зато ваш дом стоит, где стоял. Можно свернуть здесь и подъехать на улицу Грэмersi-парк. Хотите?

— Нет, нет, — она решительно замотала головой. — Этого бы я не выдержала...

У меня в доме Джулии очень понравился лифт и вовсе не понравилась женщина средних лет с пуделем подмыш-

кой, которая как уставилась на нашу одежду, так и не отводила глаз, пока мы не вышли. Ключ у меня был спрятан за притолоку, там, где она слегка отошла от стены. Я выскреб его оттуда при помощи сложенной в несколько раз полоски бумаги, открыл дверь и жестом предложил Джулии войти первой. Как только она переступила порог, я щелкнул выключателем, и — для меня это теперь было почти так же внове, как для нее, — в комнате зажегся свет.

С улыбкой восхищения, совершенно ребяческой, Джулия раза три перевела взгляд с люстры на выключатель и обратно. Потом глазами попросила у меня разрешения и осторожно нажала на выключатель двумя пальчиками. Свет погас.

— Как удивительно, — пробормотала она, глядя на люстру. — В любой момент чистый, яркий свет. И как просто...

Она еще раз щелкнула выключателем, зажигая люстру.

— А я предпочитаю газовый свет, — заметил я, но ей это показалось настолько невероятным, что она не удостоила меня ответом.

Не в силах отвести глаз от лампочек, она надавила на выключатель — свет погас. Я достал деньги из-под бумаги, устлавшей дно ящика в туалетном столике, спустился вниз, расплатился с шофером и вернулся, а Джулия все стояла, восхищенная, зачарованная, включая и выключая свет, включая и выключая...

Я помог ей снять пальто и повесил его вместе с капором и муфтой в шкаф. Джулия поправила волосы, и над нами на мгновение нависла взаимная неловкость. Помоему, ей показалось неприличным снять пальто и шляпу, оставшись со мной наедине у меня в квартире, во всяком случае ей показалось бы это, будь обстоятельства хоть немного более обычными. Чтобы скрыть смущение, она принялась рассматривать диван и прочую обстановку моей мебелированной квартиры — впрочем, интерес ее был в до-

статочной мере искренним, поскольку мебели такого фашона она не встречала. Она даже задала один-два вопроса, потом отошла к окнам — я за ней следом — и выглянула на Лексингтон-авеню, не уставая поражаться тому, что видит.

День этот запомнился мне как серия разрозненных картинок: Джулия у холодильника — я открыл его, размышляя, из чего бы соорудить завтрак, а она дивится холоду, способности делать лед, морозилке, лампочке, загорающейся, как только открывается дверца; Джулия знакомится с растворимым кофе — сначала с наслаждением вдыхает его аромат, потом пробует и морщится, разочарованная; Джулия восхищается апельсиновым соком, который я, как чародей, достал из холодильника, размешал в графине и разлил в стаканы с кубиками льда.

И одна из бесчисленного множества других картинок: Джулия снова в гостиной, в руке у нее уже, кажется, третий по счету стакан апельсинового сока со льдом; она взирает на темный экран телевизора, а я пытаюсь объяснить ей, что будет, когда я его включу. В ответ она торопливо кивает, возбужденная моими обещаниями, но не вполне веря им или по крайней мере не сознавая их истинного смысла. Я включаю телевизор — и, несмотря на все мои предупреждения, она пугается и с криком отшатывается назад, расплескивая сок на ковер, когда на экране появляется лицо женщины, умоляющей Джулию испробовать самоновейший сорт хозяйственного мыла. К телевидению Жюль Верн ее не подготовил, оно оказалось для Джулии совершенным чудом, и она с трудом верила собственным глазам.

Потом она начала допытываться, как оно работает, и непонимающе слушала объяснения, то и дело переводя взгляд с моего лица на экран и обратно. Я рассказал ей, что данная передача — из числа записанных на пленку, но вообще-то с помощью телевидения можно наблюдать за событиями, происходящими в данную секунду в разных

концах Земли. Это ее потрясло; спустя какое-то время она спросила, что такое пленка, и когда я ответил, что есть способ записывать изображения людей в движении вместе со звуками их речи, это ее, по-моему, просто доконало.

Мне кажется даже, что телевизор и мой рассказ про телевидение настолько не укладывались в ее сознании, что сперва она отнеслась к передаче довольно-таки враждебно. Но я пододвинул ей стул, тронул ее сиденьем под колени, и она медленно села; выражение недоверия на ее лице сменилось совершенно детским, всепоглощающим интересом. Она сидела неестественно прямо, позабыв даже откинуться на спинку стула, приоткрыв рот, внимая каждому движению, каждому звуку заурадной «мыльной оперы». А когда я показал ей, что поворотом ручки можно переменить программу, она принялась вертеть ее каждые десять секунд — с многосерийного детектива на международный обзор, с обзора на старый фильм, с фильма на детскую передачу. Пришлось постучать ей по плечу, чтобы напомнить о себе.

— Я отлучусь на полчаса, хорошо? Вы тут обойдетесь без меня?..

Она кивнула и опять повернулась к экрану. Я прошел в спальню, надел спортивные брюки, свитер, мягкие полуботинки, а поверх всего напялил короткую бежевую кожанку. Когда я вернулся, Джулия, взглянув на меня мельком, заинтересовалась:

— Теперь мужчины так одеваются?

Я ответил, что да, в том числе и так, — и она тут же снова ушла с головой в восхитительную рекламную передачу какой-то страховой компании.

Сомневаюсь, заметила ли Джулия, как долго я отсутствовал: не полчаса, а пожалуй, все сорок пять минут. Когда я вернулся, она все так же сидела, вперившись в экран, — правда, теперь догадалась откинуться, — и смотрела старую кинокомедию, отснятую в сороковых годах и

почти совершенно ей непонятную. Но люди двигались и говорили, а большего она и не требовала.

Из серии картинок-впечатлений о событиях того дня следующая памятна мне, пожалуй, даже сильнее, чем телевизионный гипноз Джулии. Мне пришлось выключить телевизор, чтобы оторвать ее от экрана; изображение съезжилось и потухло, и она воскликнула:

— Ой нет, не выключайте еще немножко!..

Я рассмеялся.

— Уверю вас, Джулия, есть множество других вещей, с которыми вам нужно познакомиться. Телевизор можно будет включить и потом...

Она нехотя встала и все оглядывалась на экран.

— Подумать только — театр на дому! Шесть театров! Просто чудо из чудес. Как люди могут куда-то ходить, что-то делать, а не смотреть все представления подряд?

— Некоторые никуда и не ходят. Но я не думаю, чтобы вы попали в их число. На самом-то деле ничего хорошего в передачах нет, большинство из них и смотреть не стоит... — Этого она, конечно, еще никак не могла осознать. Пакеты, которые я принес с собой, я сначала бросил на диван; теперь я поднимал их по одному и передавал ей в руки. — Вам, пожалуй, пора переодеться, Джулия. Можете сделать это в той комнате.

— Что это, Сай? Одежда? Современная одежда?

— Вы угадали. — Она заколебалась, но я сказал мягко: — Иначе люди опять будут глазеть на вас, Джулия. — Она состроила гримасу и кивнула. — Бога ради простите, что приходится вдаваться в подробности, но самое нижнее белье вы можете не менять. — Я старался сохранить серьезное выражение лица, и это удавалось мне не без усилий. — Тут блузка, юбка, комбинация и кофточка. Также туфли и чулки. Наденьте все это. Для чулок я купил пояс — надеюсь, вы разберетесь, как им пользоваться. Если что-нибудь не подойдет по размеру, можно будет обменять. Договорились?

— Договорились.

Слегка робея, она вышла в соседнюю комнату, а я развернул последний из принесенных пакетов, достал из него коробку, а из коробки пальто и раскинул его на диване — как сюрприз. Пальто было бежевое, шерстяное, с широкими отворотами и большими перламутровыми пуговицами. Стоило оно довольно дорого, но цена меня сейчас не волновала.

Длилось переодевание дольше, чем я рассчитывал, и сквозь вынешние тоненькие двери — об этом она паверняка не догадывалась — я слышал время от времени возгласы удивления, а то и педоумения. Потом донеслось потрясенное «Ой!», последовала длительная пауза, и пакопец — следующая картинка из воспоминаний того дня — Джулия неуверенно остановилась в дверях спальни и сказала смущенно:

— Вы, верно, ошиблись, Сай. Посмотрите на эту юбку!..

Дольше выдержать я уже не мог и расхохотался. Шерстяная юбка была вполне консервативной длины, до колен. И надела Джулия ее совершенно правильно. Только пояс оказался туговат, потому что под юбку она натянула по меньшей мере две свои длинные, почти до полу, белые нижние юбки.

— Джулия, извините меня, пожалуйста, — сказал я. Мой смех, разумеется, вызвал у нее возмущение. — Извините, но вы не можете выйти на улицу в этих нижних юбках. Наденьте комбинацию.

— Комбинацию?

— Ну, розовую нижнюю юбочку, которую я дал вам.

— Я надела ее! — Лицо у нее стало пунцовым. — Надела под нижние юбки. Она же невозможно короткая...

Я поборол смех, проглотил его, согнал с лица — но он так и норовил выбраться наружу снова.

— Нет, Джулия, — сказал я со всей возможной серьез-

постью.— Вовсе она не короткая. Она такой же длины, как и юбка, может, чуть покороче, чтобы не выглядывала из-под подола.— Я пожал плечами.— Так теперь носят. Ведь не я это придумал...

Джулия постояла еще немного, словно раздумывая, что мне возразить, а я изо всех сил удерживал на лице серьезное выражение; потом она резко повернулась и отсутствовала еще минут десять. Когда она вышла снова, то руки у нее были крепко прижаты к бокам, а сама она переваливалась из стороны в сторону, точно утка; я не сразу понял, что странная ее походка вынужденна — Джулия пыталась идти, сомкнув колени.

— Вот так я и должна, по-вашему, выглядеть?

Она замерла, а я не мог отвести от нее глаз: выглядела она теперь просто великолепно. Блузка по вороту подошла в самый раз, шоколадная кофточка облегалась, но не слишком, а юбка сидела как влитая. Я и раньше догадывался, что у нее хорошая фигура, но не подозревал, что еще и безупречные ноги. Продавец в магазине напомнил мне, что высокие каблуки вышли из моды, тем не менее я купил коричневые кожаные «лодочки» на высоких каблуках и теперь воочию убедился, что не ошибся. В сочетании с телесного цвета чулками каблуки подчеркивали красоту ног, и Джулия была просто ошеломляюще хороша. И длинные волосы, собранные пучком на затылке, как нельзя лучше подходили к ее наряду.

Мое восхищение, видимо, достаточно ясно читалось у меня на лице и в глазах, и это ей помогло. Она улыбнулась мне в ответ, удовлетворенно и даже с некоторой гордостью, потом наклонилась чуть-чуть, чтобы еще раз взглянуть на юбку, — и увидела кромку, поднятую неизмеримо выше, чем когда-либо осмеливалась себе представить. Залившись краской, Джулия бросилась к дивану, схватила лежавшее там пальто и со всей быстротой, на какую была способна, обернула его вокруг талии, так что подол коснулся туфель.

— Не могу! — простила она. — Ну, не могу я, Сай, выйти на улицу в таком виде!..

Я был больше не в силах сдерживаться. Смеясь, я подошел к ней, обнял ее за плечи и, поддавшись внезапному соблазну, поцеловал. Поцелуй был мимолетным, но Джулия не ожидала его и в испуге отпрянула. Тем не менее я уговорил ее надеть пальто в рукава — ведь его подол сантиметра на три, а может, и на все пять ниже юбки. Это соображение решило дело. Она надела пальто, осмотрела себя и, хотя, по-моему, испытывала сильное желание удрать в спальню, в конце концов осталась на месте. Я напомнил ей, что там, на улице, все женщины до одной ходят в таких же коротких пальто, и она хмуро кивнула, принимая это как неизбежное.

Я зашел на минутку в спальню за фетровой шляпой, а когда вернулся, Джулия стояла у зеркала, висящего над столиком близ входной двери, и завязывала па шее ленты капора. На сей раз я и не пытался подавить в себе смех — попытка не увенчалась бы успехом. Секунд десять, наверно, я хохотал, не в силах остановиться и вымолвить хоть слово, а она смотрела на меня, не возмущенная даже, а просто сбита с толку. И всякий раз, как я вглядывался в ее недоуменно нахмуренное лицо, я принимался хохотать пуще прежнего. Туфли на каблуках, модное короткое пальто — и этот допотопный головной убор с плоским верхом, искусственными цветочками и лентами под подбородком! Разумеется, я вовсе не хотел обидеть Джулию и был рад, что она вроде бы не рассердилась; просто она выглядела такой современной, и я по наивности вообразил, будто она сама поняла, как ей идет новый наряд. Но наши моды были ей, разумеется, совершенно чужды, и она никак не могла оценить себя по достоинству. Привычный капор был для нее куда милее этой странной одежды.

Зато, когда я сумел выговорить, в чем дело, она, как истая женщина, сразу поняла, что я, вероятно, прав, хоть она сама и не видит этого, резким движением распустила

бант и сдернула капор. Я сказал ей, что в наши дни очень многие женщины ходят с непокрытой головой, особенно если волосы у них такие длинные. На лице у нее отразилось удивление с немалой долей сомнения, и я добавил, что, если она будет чувствовать себя неловко, мы по пути купим ей новую шляпку. Кончилось тем, что я взял Джулию за плечи и, вытянув руки, осмотрел ее, вновь не скрывая своего восхищения.

— Джулия, — сказал я, — поверьте мне, когда мы с вами выйдем на улицу, вы окажетесь одной из самых красивых женщин Нью-Йорка. Честное слово, я не преувеличиваю!..

Она не могла не видеть, что я искренен; глаза у нее радостно блеснули, она приподняла подбородок и, слегка пошатываясь — каблуки были много выше и гораздо тоньше тех, к которым она привыкла, но для первого раза она управлялась с ними неплохо, — пошла обратно в спальню. Там, на дверце шкафа, висело зеркало в полный рост, и она, конечно же, направилась именно к нему. Теперь я обрел уверенность, что эта женщина сумеет преодолеть смущение, выйти на улицу и скоро, очень скоро начнет гордиться всеобщим вниманием, — и пожалел лишь о том, что не успел поцеловать ее еще раз до того, как она выскользнула из моих рук.

Внизу на улице я сразу же поймал такси, чтобы избавить Джулию от необходимости дефилировать в современном платье перед лицом всего света — пусть привыкает малыми дозами. Доехали до Сентрал-парка, я расплатился, и мы двинулись пешком к углу Пятьдесят девятой улицы и Пятой авеню. Именно на этом углу холодным январским днем я впервые по-настоящему увидел мир 1882 года; здесь я стоял, испуганный и взволнованный, и пялился на приближающийся конный омнибус, а потом повернулся и бросил взгляд вдоль узкой, тихой жилой улочки — Пятой авеню. Тогда со мной была Кейт, но я предпочитал сейчас об этом не вспоминать. Мне хотелось,

чтобы Джулия увидела тот же участок Пятой авеню в моем мире. Вот мы подошли к углу — напротив нас через улицу высилась гостиница «Плаза», — и я сказал:

— Мы с вами, Джулия, идем сейчас вдоль края Сен-трал-парка, и впереди угол Пятьдесят девятой и Пятой авеню — это чтобы вы точно представили себе, где находитесь. — Я рассчитал время до секунды и теперь, вытянув вперед руку, спросил: — Итак, скажите мне, что это за улица?..

Буквально задохнувшись, она опешеленно повернулась ко мне, затем еще раз глянула вдоль Пятой авеню — и грандиозность происшедших здесь перемен, умопомрачительность вздымающихся ввысь строений оказались почти непосильными для ее сознания.

— И это Пятая? — тихо произнесла она. И повторила потрясенно: — Это Пятая авеню?!

— Да, Пятая.

Долгую минуту мы провели на этом углу, припоминая, как все здесь было когда-то. Наконец Джулия снова подняла на меня глаза, выдавила из себя слабую улыбку, и мы тронулись вниз по Пятой авеню мимо блистающих громад, мимо архитектурных творений, захватывающе красивых и удручающе уродливых, мимо кварталов, известных, пожалуй, половине населения земного шара если не по собственным впечатлениям, то в крайнем случае по фильмам. Гигантские гладкие фасады, стены из цельного стекла кажутся фантастическими даже нам, их современникам, а Джулии они, вероятно, представлялись просто ни на что не похожими; я даже и не уверен, была ли она в состоянии полностью их воспринять. И когда, пройдя сквозь строй непостижимых зданий, мы приблизились к Пятьдесят первой улице, она прищурилась, не вполне доверяя собственным чувствам, — я ведь тоже побывал в подобном положении, но для нее контраст оказался гораздо сильнее, — и ударилась в слезы: так потряс ее собор

св. Патрика, оставшийся почти неизменным посреди этого чуждого мира...

Через улицу от собора, у «Рокфеллер-центра», которого Джулия, по-моему, вовсе не заметила, есть несколько каменных скамеек, и я подвел ее к одной из них. Мы посидели немного, а она без конца переводила глаза с башенок св. Патрика на окрестные небоскребы и снова на башенки. Собор служил ей ориентиром, нес перегруженным нервам желанное успокоение, и вскоре мы двинулись дальше. То тут, то там Джулия обнаруживала знакомые названия магазинов, некогда теснившихся на Бродвее. Мы останавливались у сверкающих витрин, и она впивалась в них, очарованная ювелирными безделушками, одеждой, мехами, шляпками, обувью.

— Вот вам и «Женская миля», — заметил я.

— Пожалуй, мне тут нравится. Быть может, даже... — Она примолкла, потом продолжала: — Они такие странные, но, может, некоторые вещи мне со временем и понравились бы... — Она еще раз не спеша обвела взглядом улицу. — Даже ваши дома. Но кто бы в это поверил? Кто хоть на миг вообразил бы себе это?..

Ей надо было отдохнуть от избытка впечатлений, и я завел ее в маленький бар на Тридцать девятой улице. Сначала она наотрез отказалась идти в «салун», но в конце концов согласилась принять к сведению, что в наше время женщины делают много такого, что раньше им и в голову не приходило.

Мы выбрали местечко подальше от стойки; кроме нас в баре была всего одна пара, которая шепталась в другом углу. Джулия взяла бокал вина, а я виски с содовой; мало-помалу она совсем успокоилась. По молчаливому согласию мы до сих пор не заговаривали о том, что оставили позади. Сначала следовало как-то отмежеваться от прошлого, и это нам удалось, но теперь мы вновь вспомнили о пожаре, о Джейке Пикеринге, о непонятном поведении Кармоди и о нашем бегстве от инспектора Бернса.

Здесь, в баре, где самый воздух пропах двадцатым веком, люди, о которых мы говорили, казались нереальными, далекими, пожалуй даже смешными. Что за несусветная дикость — бояться инспектора Бернса, который и слыхом не слыхивал об отпечатках пальцев; неужели мы и впрямь бежали в страхе от кого-то или невзначай приняли участие в некоем невинном лицедействе? Именно таков был ход моих мыслей, пока мы сидели с бокалами в руках, и вспоминал пережитое я не иначе как с легкой усмешкой. Однако Джулия не разделяла моего настроения, и я понимал, что для нее мир Бернса, Пикеринга, Кармоди и пожара в здании «Всего мира» гораздо реальнее, чем тот, в котором она очутилась сейчас.

Ничего нового мы, в сущности, не придумали, просто дали друг другу выговориться. Джулипо беспокоило, что подумала после нашего исчезновения тетя Ада, и над всеми разговорами витал не высказанный вопрос о будущем самой Джулии. Но, чтобы прийти к какому-то определенному решению, требовалось время, и я молчал — мне было нечего предложить, хоть размышлял я на эту тему много.

Я отнюдь не исчерпал всего, что надумал ей показать, и, посидев еще немного, мы вышли и поймали такси. К зданию «Эмпайр стейт билдинг» мы успели засветло, и скоростной лифт поднял нас на обзорную площадку. Пока мы летели вверх сквозь десятки этажей, Джулия не сводила глаз с цифр на табло — ей было нелегко поверить, что мы действительно поднимаемся так высоко и так быстро, и она все теснее сжимала мою руку. А потом, у каменной ограды на высоте девяноста с лишним этажей, она смотрела на затянутый дымкой город и старалась понять, что зеленый массив поодаль — это действительно Сентрал-парк, а паутина запруженных машинами улиц далеко-далеко под нами — это город, который она так хорошо знала, но совершенно не узнавала теперь. Она смотрела, смотрела вниз — на улицы, на парк, на Гудзон и Ист-Ривер. И вдруг подняла глаза к небу и заметила уди-

вительное облако, подобных которому никогда не видала. Гораздо выше нас, там, где воздух, должно быть, абсолютно недвижим, пролетел реактивный самолет, и след его, постепенно потеряв резкость очертаний, разбух в совершенно прямое, узкое облако километровой длины, упершееся концом прямо в диск заходящего солнца. И, словно забыв про реактивный след, я тоже увидел странное, вытянутое, прямое, как линейка, облако — каким же необычным казался Джулии мой мир!..

Не без интереса выслушала она объяснение относительно происхождения этого облака и вообще была довольна, что мы поднялись сюда; «Эмпайр стейт» произвел на нее впечатление. Но, выслушав меня, она отвернулась со вздохом и сказала:

— А теперь хватит, Сай. Я больше не могу. Отвезите меня, пожалуйста, домой.

И пришлось мне вместо ресторана — я хотел пообедать с нею в каком-нибудь ресторане поприличнее — заглянуть в кулинарный магазинчик возле моего дома и купить рубленые бифштексы и мороженные овощи в пакетах. Овощи — кукурузу и цветную капусту — я прямо в пакетах опустил в кипяток, и это очень заинтересовало Джулию; как и любому горожанину, ей понравилась легкость такого приготовления пищи и не понравился вкус, вернее отсутствие вкуса, хотя она и сочла за благо промолчать.

Кофе мы пили в гостинной; Джулия уже снова пришла в себя, оживилась и сказала:

— Ну вот, Сай, я и познакомилась с вашим миром или по крайней мере с кусочком его. Теперь расскажите мне, что произошло — как странно выговорить, не то что подумывать! — за годы между моей эпохой и этой, вашей...

Она уселась поудобнее среди диванных подушек и смотрела на меня с восторгом, как ребенок, предвкушающий, что сейчас ему расскажут сказку. А я — я почувствовал, что не могу, не должен обмануть ее ожидания, и — замкнулся. С чего начать? Каким образом обобщить собы-

тия многих десятилетий? Я искал нужные слова, мне хотелось рассказать прежде всего о хорошем.

— Ну... Оспа почти уничтожена, рябых лиц теперь и не встретишь. И чума. Вот уже многие годы не было, кажется, ни одного случая. По крайней мере у нас в Штатах... — Джулия кивнула. — И полиомиелит — так мы называем детский паралич — тоже почти уничтожен. Во всех цивилизованных странах...

Джулия снова кивнула, будто и не ждала ничего другого.

— А грудная жаба? А рак?..

— Ну, не все сразу. Зато мы делаем пересадки органов! Хирург вынимает из груди больное сердце и заменяет его здоровым от погибшего человека.

— Это невероятно! И люди потом поправляются?

— Ну, не то чтобы очень надолго. Метод еще не совершенный. Но его, конечно, усовершенствуют...

— А сколько лет люди живут теперь? Лет сто, наверное, или даже больше? Я читала в «Атлантик мансли», что в будущем...

— Честно сказать, Джулия, люди живут ненамного дольше, чем в ваше время. Дело в том, что появились... э-э... некоторые новые факторы, которых не было раньше и которые сокращают нам жизнь. Загрязнение атмосферы, например. Правда, у нас есть кондиционеры...

— А что это такое?

— Это машины, которые летом охлаждают воздух.

— По всей Земле?

— Нет, нет. Только в помещениях. У меня такой аппарат под окном в спальне, если вы обратили внимание. В любую жару температура в комнате не поднимается выше двадцати градусов.

— Какая роскошь!

— Да, неплохо. Кондиционеры есть теперь почти во всех учреждениях, в ресторанах, кино, гостиницах...

— Что такое кино? Вы однажды упоминали о нем.

Я объяснил, что кино похоже на телевидение, только экран гораздо больше, изображение гораздо ярче и все в целом — не всегда, но подчас — гораздо лучше. Потом я зачем-то заговорил об электрических одеялах, магазинах самообслуживания, воздушных путешествиях, стиральных машинах, машинах для мойки посуды и, да простит меня бог, о сверхскоростных шоссеиных дорогах.

Джулия допила кофе, взяла у меня пустую чашку с блюдцем и вместе со своими отнесла на кухню. Вернулась она со словами:

— Но что случилось за эти годы, Сай? Что происходило на свете?

Пока я раздумывал, какие из исторических событий достойны упоминания, она прошлась по комнате, потрогала занавеси, заглянула за телевизор, несколько раз подряд зажгла и погасила свет. Я не знал, с чего начать. Это как письма: можно расписать на нескольких страницах приключения одного уикэнда, но попробуй сжато рассказать старому другу о событиях пяти лет, и поймешь, что задача не из простых. Что же происходило главного на протяжении почти столетия?

— Ну, начать с того, что у нас теперь пятьдесят штатов.

— Пятьдесят?

— Да, пятьдесят, — подтвердил я самодовольно, словно был к этому причастен. — Все прежние территории теперь штаты. Да еще Аляска и Гавайи. И на флаге у нас теперь пятьдесят звездочек...

Джулия заглянула на журнальную полочку у изголовья дивана и обнаружила там газету.

— Что же еще? — продолжал я. — В Сан-Франциско было землетрясение... кажется, в 1906 году. Город сильно пострадал, особенно от пожаров после землетрясения...

— Жалко! Я слышала, это красивый город. — Она раскрыла газету, которую держала в руке. — Значит, вы придумали способ воспроизводить в газете фотографии?..

Джулия положила газету и направилась к книжному шкафу.

— И даже, если нужно, цветные. Где-то у меня валялся номер журнала «Лайф» с цветными фотографиями... Господи, как же я забыл! Мы же запускаем ракеты в космос! С людьми на борту. И на Луну садились ракеты. Тоже с людьми. И вернулись потом на Землю...

— Не может быть! На Луну? С людьми?

— Истинная правда. Слетали и вернулись.

И опять в моем голосе проскользнула нотка нелепого самодовольства, словно эти полеты явились делом моих рук. Джулия была в совершенном восхищении.

— И люди ходили по Луне?

— Ну да. Ходили.

— Как интересно!

Я помолчал немного, потом заметил:

— Да. Наверное, интересно. Только совсем не так интересно, как я воображал, когда мальчишкой читал научную фантастику. — Джулия бросила на меня педоуменный взгляд, и пришлось продолжить: — Трудно это объяснить, Джулия, но... полеты на Луну оказались какими-то ненужными. Вокруг первого полета, разумеется, подняли ажиотаж, его передавали по телевидению, если вы в силах представить себе такое. Все мы своими глазами видели людей на Луне и слышали их голоса. А потом я почти и забыл о них. Сразу же, а редко когда вспоминал потом. Безусловно, участники полетов проявили незаурядный героизм, и все-таки... Не было в этих полетах какого-то большого, настоящего смысла...

Я замолчал — она меня не слушала. Она стояла у книжного шкафа и читала названия на корешках. Одну книжку она сняла с полки и начала перелистывать — и внезапно резко повернулась ко мне, волна густой краски залила ей лицо и шею до самого воротничка блузки.

— Сай, такие вещи... — она смотрела на раскрытые страницы с непритворным ужасом, — такие вещи теперь

печатают в книгах? — Она захлопнула томик, будто слова могли выползти из строк. — В жизни не поверила бы, что это возможно!..

Она не смела поднять на меня глаза. А мне нечего было ей сказать. Как объяснить перемены в образе мышления, происшедшие на протяжении многих десятилетий? В конце концов я усмехнулся: в сущности, книжка ей попалась довольно безобидная. На полках рядом стояли и такие, которые заставили бы ее, по всей вероятности, упасть в обморок.

Сгорая от стыда, Джулия наобум схватила с полки другую книгу и прочитала название вслух. Она едва ли слышала, что читает, ею владело единственное желание — похоронить непристойную тему, на которую она нечаянно натолкнулась.

— «История первой мировой войны в фотографиях», — произнесла она. Потом значение прочитанных слов начало доходить до нее. — Войны? Мировой войны? Что это значит, Сай?

Она хотела было открыть книгу, и тут я вскочил на ноги и быстро подошел к ней.

Удивления достойно, с какой молниеносной скоростью срабатывает иногда мозг, какую цепь мыслей и образов способен он создать за малую долю секунды! Я давненько не заглядывал в книгу, которую Джулия порывалась открыть. Но пока я делал два быстрых шага, что отделяли меня от нее, я припомнил десятки приведенных там фотографий: разрушенный город — груды камня, обломки стен, а на переднем плане мертвая лошадь в придорожной канаве... Беженцы на грязном проселке и маленькая девочка, испуганно глядящая в объектив... Самолет, объятый пламенем... Окоп, чуть не доверху полный трупов в гимнастерках, галифе и обмотках; одно из лиц совсем уже разложилось, остался череп с прилипшими к нему волосами. И — фотография, которая запомнилась мне больше всех остальных: на бруствере окопа сидит солдат с непо-

крытой головой. Он жив, свесил ноги по щиколотку в воду, залившую окоп, а там, в воде, лежит мертвый. Солдат курит и смотрит в аппарат запавшими, ничего не выражающими глазами, и вид у него такой, будто он никогда не улыбался и никогда не улыбнется, сколько бы ни довелось ему прожить. И я со всей очевидностью понял, что нельзя показывать Джулии эти ужасы, если только она не собирается остаться в мире, который их породил. С принужденной улыбкой я взял книгу из рук Джулии до того, как она успела ее раскрыть, и ответил небрежно:

— Была такая война,— я мельком глянул на корешок, словно хотел удостовериться, та ли это книга,— была, но давно...

— Но почему мировая?

— Потому что... ее называли так потому, что весь мир проявлял к ней интерес. Понимаете, она касалась всех и каждого, и... ну, в общем ее быстро прекратили. Я почти и забыл о ней.

Насколько я понимаю, получилось у меня не слишком убедительно — Джулия немедленно спросила:

— Но тут написано — первая мировая. Значит, были и другие мировые войны?

— Была еще вторая.

— А та была какая?..

Опа, бесспорно, заподозрила меня во лжи.

И вновь мой мозг совершил обыкновенное чудо. В тот раз я за несколько секунд — прежде чем солгал — окинул мысленным взором четыре года сражений первой мировой войны. Теперь я так же мгновенно подумал о второй мировой — о городах, стертых фашистами с лица земли вместе с женщинами, стариками и детьми, о массированных палетах американской авиации, несших смерть опять же старикам, женщинам и детям. И о конструкторе, которого я неоднократно пытался себе представить, — каждое утро он вставал, завтракал, шел на работу, садился за чертежную доску, бережно закатывал рукава рубашки и прини-

мался, тщательно прорисовывая тушью детали и скрупулезно вникая в технические подробности, за разработку приспособления, замаскированного под душ и предназначенного для умерщвления миллионов людей на фабриках смерти. Подумал я и о сотнях тысяч убитых еще более эффективно, об их мгновенной гибели в ослепительных вспышках двух атомных взрывов над Японией. Какой была вторая мировая война? Невероятно, но факт — она была хуже первой, и никакой другой ответ, никакая глупая ложь на сей раз даже не приходила в голову.

Джулия поняла. Она догадалась, что войны называются мировыми не ради красного словца. Посмотрела снова на толстый том, который я отобрал у нее, затем мне в глаза и сказала:

— Не надо. Не хочу слышать об этом.

— А я не хочу говорить об этом.

Я поставил книгу на полку, и мы вернулись на диван. Однако Джулия присела на самый краешек, сложив — вернее, сжав — руки на коленях. Довольно долго она молчала, глядя прямо перед собой, собираясь с мыслями, и наконец произнесла:

— Весь день я думала о том, как мне поступить. Я думала, что можно бы остаться здесь, если бы только каким-то образом дать тете Аде знать, что случилось. Когда мы сегодня шли по Пятой авеню, я совсем уж было решила остаться... — Я сидел рядом с Джулией, она повернулась ко мне лицом и вымученно улыбнулась. — Никогда не предполагала, что смогу сказать что-либо подобное мужчине, но, оказывается, могу. Вы меня любите?

— Люблю.

— И я вас. Чуть не с первого взгляда, хотя сначала и не догадывалась об этом. А Джейк догадался сразу. Что-то такое почувствовал. А теперь я и без него знаю. Что мне делать, Сай? Чего вы хотите? Чтобы я осталась здесь?

На мгновение мелькнула мысль, что надо бы все основательно взвесить,— и вдруг я понял, что это не нужно, что все уже взвешено. Я сидел и смотрел на Джулию, и она полагала, видимо, что я обдумываю ответ. А я — я мысленно разговаривал с ней.

«Нет, Джулия, — говорил я, — я не позволю тебе остаться здесь. Потому что мы теперь народ, отравляющий самый воздух, которым дышим. И реки, из которых пьем. Мы уничтожаем Великие озера; озера Эри уже пет, а теперь мы принялись и за океаны. Мы засорили атмосферу радиоактивными осадками, отлагающимися в костях наших детей, — и ведь мы знали об этом заранее. Мы изобрели бомбы, способные за несколько минут стереть с лица земли весь род людской, и бомбы эти стоят на позициях в боевой готовности. Мы покончили с полиомиелитом, а американская армия тем временем вывела новые штаммы микробов, вызывающие смертельные, не поддающиеся лечению болезни. Мы имели возможность дать справедливость нашим неграм, но, когда они ее потребовали, мы им отказали. В Азии мы в буквальном смысле слова сжигаем людей заживо. А у себя дома, в Штатах, равнодушно смотрим, как недоедают дети. Мы разрешаем кому-то делать деньги на том, чтобы по телевидению склонять подростков к курению, хотя прекрасно знаем, что принесет им никотин. В наше время с каждым днем все труднее убеждать себя в том, что мы, американцы, хороший народ. Мы ненавидим друг друга. И уже привыкли к ненависти...»

Я остановил себя — ничего этого я ей не скажу. Все это груз, который незачем взваливать на ее плечи. Я спросил:

— Вы бывали в Гарлеме?

— Ну, конечно.

— Вам нравится там?

— Еще бы нет — там очаровательно. Я всегда любила деревню.

— А случилось вам прогуливаться по Сентрал-парку ночью?

— Разумеется.

— Вы гуляли одна, без спутников?

— Да, одна. Там очень тихо...

Бесспорно, эпоха Джулии знала и свои теневые стороны. Бесспорно, семена всего того, что я ненавидел в своем двадцатом веке, были уже высажены и пустили ростки. Но эти ростки еще не расцвели. В Нью-Йорке тех времен люди еще могли лунной ночью мчаться на санях по свежему снегу, могли окликать друг друга, смеяться и петь. В их представлении жизнь еще имела цель, имела смысл; великая пустота еще не наступила. Теперь добрые времена, когда жизнь казалась благом, кажется, прошли безвозвратно. Джулия захватила, быть может, самые последние годы...

— Вам надо вернуться, Джулия, — сказал я, взяв ее руки в свои. — Поверьте мне — ведь я люблю вас. Вам нельзя оставаться здесь.

Она помолчала, потом ответила медленным кивком.

— А вы, Сай? Вы тоже вернетесь?..

Сама мысль о возвращении принесла мне радость, я не сумел скрыть эту радость, и Джулия улыбнулась. Но вслух мне пришлось сказать:

— Не знаю. У меня здесь есть кое-какие дела, которые непременно надо уладить...

— И главное — вы не знаете, сможете ли вы прожить с нами всю жизнь, ведь правда?

— Да, я хотел бы убедиться, что не делаю ошибки.

— Конечно. Ради нас обоих. — Несколько мгновений мы смотрели друг другу в глаза, потом она заявила: — Я вернусь сегодня же. Сейчас. Иначе я стану умолять вас вернуться вместе со мной. А уйти навсегда из своего времени — такое решение если уж принимать, то наедине с собой.

Тут она была, безусловно, права.

— А вы сумеете вернуться без моей помощи?

— Думаю, что да. Сюда, в будущее, какое и во сне не приснится, я сама попасть не могла бы: это вы перенесли меня. А свое время я вполне себе представляю, ощущаю его, знаю, что оно существует, — знаю гораздо лучше, чем вы, когда впервые перенеслись к нам...

В мозгу у меня молнией вспыхнули опасения, о которых я совершенно забыл, — так далеко они отстояли от этой комнаты, от этого века.

— А Кармоди?! Вы не можете вернуться, Джулия! Кармоди вас...

— Ничего он мне не сделает. — Она уверенно качнула головой. — Помните, что я делала, когда за нами приехал инспектор Бернс? Вы читали впизу, в гостиной, а я...

— Вы были наверху.

— Вот именно. В комнате Джейка. Складывала его вещи в чемодан. Я как раз заворачивала его ботинки, когда услышала, что меня зовут. Сегодня днем меня вдруг, без всякого повода, осенило. Помнится, я подняла ботинки с полу, и тут зазвонил входной звонок. Я тогда обратила внимание на каблук. Гвозди на них образовали узор — девятиконечную звезду, вписанную в окружность. Понимаете, Сай, это Джейк спасся от пожара, вовсе не Кармоди! Это Джейк сидел в доме Кармоди, весь покрытый бинтами. И кипящий ненавистью.

И я понял, что это правда. Я понял наконец, что произошло.

— Бог мой, Джулия! Значит, он каким-то образом выбрался из огня. Весь обожженный, но в голове у него уже созрел план. Он отправился, я уверен, напрямик к дому Кармоди, встретился с его вдовой, и — представьте себе только! — они тут же договорились. Без Кармоди она потеряла бы все свое состояние — вот Джейк и стал Кармоди. Когда мы видели ее на благотворительном балу, она уже знала, что муж ее утром погиб, она уже вступила в сделку с убийцей! Бывало ли от начала времен, чтобы

кто-нибудь жаждал денег и власти больше, чем эти двое? Вот уж действительно подходящая пара!..

— Чему вы улыбаетесь?

— Разве улыбаюсь? Я и не заметил. А если улыбаюсь, то, пожалуй... это нелегко объяснить, но улыбаюсь я тому, что Джейк такой отпетый негодяй! Я, кажется, в жизни не употреблял подобного выражения, но к нему оно подходит как нельзя лучше. Он негодяй в каждом своем поступке. Ну и, кроме того, он человек своего времени. Улыбаюсь я еще и тому, что, несмотря на все свои грехи, он мне чем-то нравится. Старина Джейк, переодетый под Кармоди, наконец-то он очутился на Уолл-стрит. Надеюсь, на бирже ему повезло...

— Воистину, — сказала Джулия, — он был проклят. Хочу думать, он нашел свое счастье, а впрочем, вряд ли. — Она, конечно, не поняла меня: для нее в слове «негодяй» не слышалось никакой нарочитости, никакой сценической условности. — Но теперь он не сможет причинить мне зла. Я знаю, кто он, и как только он поймет, что я это знаю, я окажусь в безопасности. И вы... вы тоже, если вернетесь.

Она резко встала и пошла в спальню переодеться.

Я отвез Джулию на такси. Уже совсем стемнело, она откинулась на спинку сиденья, и никто, кроме шофера, не видел, как она одета. Остановились мы за полквартала от цели, метрах в двадцати от ближайшего фонаря. Я расплатился, и Джулия под руку со мной быстро пошла к гигантскому гранитному основанию Манхэттенской башни Бруклинского моста.

Добравшись до самой густой тени, я взял ее руки в свои и посмотрел на нее долгим взглядом. В своей длинной юбке, пальто и капоре, с муфтой, свисающей на шнурке с запястья, она выглядела превосходно — точно так, как и должна выглядеть Джулия.

— Я хотел бы вернуться вместе с тобой. Я хотел бы остаться с тобой на всю жизнь, но...

— Я понимаю.

Мы повторили то, что говорили друг другу уже много раз. Я обнял Джулию и долго не выпускал ее. Потом я поцеловал ее, и мы снова посмотрели друг другу в глаза, потом одновременно вздохнули, оба хотели что-то сказать... И промолчали, сдержали дыхание и грустно улыбнулись: все уже было сказано. Джулия подняла руку, коснулась пальцами моей щеки и качнула головой — произнести слова прощания не удавалось. Взявшись за руки, мы отошли на несколько шагов от гранитной стены, обернулись и взглянули на нее в упор; теперь она поднималась над нами чудовищным каменным занавесом, закрывшим от нас весь мир.

— Там, — вымолвила Джулия, — там лежит время, которому я принадлежу телом и душой. Оно для меня много реальнее, чем то, в которое я заглянула сегодня. Мой мир... я очень тоскую по нему, для меня он очень дорог и очень реален. А для тебя?..

Я кивнул ей. Говорить я не мог. Джулия быстро поцеловала меня, отпустила мою руку и торопливо пошла наискось к углу исполинской стены. На углу она приостановилась, оглянулась, будто намереваясь что-то сказать, но так ничего и не сказала, просто сделала еще шаг и исчезла из виду. Громадное основание башни скрыло ее и почти сразу же погасило звуки ее шагов.

Тишина. Я медленно двинулся к тому же углу, потом побежал изо всех сил и достиг его раньше, чем Джулия одолела бы десяток метров. Но ее уже нигде не было.

22

— Не исключаю, что вам это представится недопустимо

поспешным и неэтичным...

Полковник Эстергази обвел рукой кабинет доктора Данцигера. Он сидел за письменным столом; мы с Рюбом расположились на обитых кожей металлических стульях для посетителей. Как и Рюб, Эстергази был сегодня в армейской рубашке без знаков различия и брюках из простой бумажной ткани, но отутюженных так, что они казались спитыми из окрашенной в цвет хаки листовой стали. На Рюбе форма сидела тоже довольно ловко, но складки выглядели как складки, а не как сварные швы. Я пришел в своем синем костюме.

— Я занял эту комнату, — продолжал Эстергази, — исключительно потому, что у нас катастрофически не хватает помещений, а это единственный свободный кабинет. И должен же кто-то возглавить проект с тех пор, как ушел доктор Данцигер... — Он пожал плечами; судя по всему, это должно было обозначать сожаление. — Поверьте, я предпочел бы, чтобы здесь по-прежнему сидел он, а не я...

Я промолчал. Кабинет — я внимательно оглядел его — был почти таким же, как при Данцигере, только чуть-чуть опрятнее. Фотографии и книжная полка исчезли, как и стоявшая на полу картонная коробка с бумагами, зато к дальней стенке было прислонено шесть-восемь складных стульев. На столе не осталось ничего, кроме чернильницы, и я не сомневался, что такой же порядок наведен и в ящиках. Подле стола красовался нейлоновый американ-

ский флаг с золотой бахромой, а на стене в рамке висел цветной фотографический портрет президента.

— Как я уже сообщал по телефону, — заявил Рюб, — результаты перепроверки по всем статьям положительны. Это, безусловно, весьма отрадно. Ведь на сей раз, — он ухмыльнулся и обернулся ко мне, — ты не станешь жаловаться на отсутствие острых ощущений, не правда ли? Спасся с пожара. Удрал от этого... как его?..

— Инспектора Бернса.

— Вот-вот. И от милашки Джулии тоже пришлось дать деру, ведь так, а?..

Я кротно усмехнулся, и оба они осклабились, не спуская с меня глаз. Все утро я провел в «отделе перепроверки», диктуя на пленку длиннющий перечень взятых наобум фактов, составляя подробный доклад о пережитом в течение последнего «путешествия», как мы, теперь уже привычно, называли мои переносы во времени. Единственное, о чем я не упомянул, так это о том, что Джулия очутилась в двадцатом веке вместе со мной. Поскольку ложь ни в малейшей степени не влияла на успех или провал моего задания, я сказал, что посреди ночи, когда мы прятались в руке статуи Свободы, Джулия вдруг припомнила узор на каблуках ботинок Джейка. Мы поняли, что отныне нам ничто не грозит, и на рассвете я отвел ее домой на улицу Грэмерси-парк, 19, забрал свои деньги и на извозчике отправился в «Дакоту». А весь вчерашний день якобы отсыпался у себя на квартире.

— Уж если после таких приключений перепроверка показывает, что все в порядке, значит, поток событий прошлого...

— ...именно таков, как мы и подозревали, — докончил за Рюба Эстергази. — Гипотеза «веточки в реке», — напомнил он мне походя. — Поток событий прошлого — воистину могучий поток, и воздействовать на него отнюдь не так просто. Даже если это и случается — а мы столкнулись с подобным явлением, — то последствиями можно прене-

бречь. Во всяком случае, последствиями в историческом плане. Вместе с тем мы, как и доктор Данцигер, не сомневаемся, что умышленно повлиять на поток событий вполне возможно...

Признаться, меня теперь не слишком интересовали его рассуждения, и, как только он сделал паузу, я неопределенно кивнул:

— Ну, и хорошо. Значит, джентльмены, миссия моя, по-видимому, закончена. Целесообразно ли изучать события прошлого, учитывая риск, которому неизбежно подвергается ваш посланец, вовлеченный в эти события, — решать уже вам, а не мне. А у меня накопилась куча собственных дел, мне надо в них разобраться, так что, если я вам больше не нужен, я хотел бы, — тут я усмехнулся снова, — уволиться по собственному желанию.

С минуту по крайней мере я ждал, пока кто-нибудь из них ответит мне. Но они лишь смотрели на меня, а затем друг на друга. Наконец Эстергази сказал:

— Вот что, Сай. Прежде чем мы примем решение, я должен кое-что вам рассказать. Вы, конечно, вправе уволиться, если хотите. Вы отлично выполнили задание, сделали все, на что мы надеялись, и даже больше. Однако я уверен — вас интересует то, что вы сейчас услышите. И тогда вы, может статься, повремените с увольнением...

В дверь заглянула девушка, которой я раньше здесь не видел.

— Остальные прибыли, полковник.

— Прекрасно. Пусть войдут.

Эстергази поднялся за столом и воззрился на дверь с вежливой улыбкой. Вошли двое, и я их сразу узнал. Один был молодой профессор истории — тот, с крупным носом и гривой редющих темных волос, который всегда напоминал мне комика из варьете; фамилия его была Мессинджер. За ним появился Фессенден, личный представитель президента, человек лет пятидесяти, зачесывающий каштановые с сединой волосы наискосок через

блестящую плешь. Оба поздоровались со мной, а профессор Мессинджер пересек всю комнату, чтобы пожать мне руку.

— С возвращением! — воскликнул он и поднял над головой пачку отпечатанных на ротаторе и скрепленных вместе листков — мой отчет о последнем «путешествии». — Феноменально, — добавил он, потрясая бумагами, — просто феноменально...

Голос у него оказался под стать внешности — актерский, хорошо поставленный голос.

Фессенден сперва сухо кивнул мне, затем, подражая Мессинджеру, решил улыбнуться и помахать своим экземпляром отчета. Это была ошибка — радушие и сердечность явно не входили в его привычки. Рюб ногой пододвинул ему свой стул, а себе и Мессинджеру взял от стенки два складных. Когда все уселись полукругом перед столом, Эстергази тоже сел со словами:

— Таков теперь совет, Сай, в полном своем составе. Плюс еще сенатор — он сегодня проталкивает в конгрессе какой-то законопроект и потому прийти не смог. И еще профессор Баттс, которого вы, возможно, помните: профессор биологии из Чикагского университета. Но у Баттса совещательный статус без права голоса, и он присутствует, только когда нам требуется его суждение как специалиста. Старый совет был слишком многолюден — так гораздо практичнее. Джек, вы не могли бы ввести Сая в курс дела?

Мессинджер повернулся ко мне, улыбаясь легко и непринужденно; Фессенден неотрывно следил за ним, и мне показалось, что личный представитель президента завидует Мессинджеру.

— Ну что ж, мистер Морли. Или вы разрешите называть вас по имени?

— Конечно.

— Договорились. А вы зовите меня Джек. Так вот, Сай, мы тут тоже не сидели сложа руки. Пока вас не

было, мы занимались тем же, что и вы: изучали персону мистера Эндрю Кармоди, хоть и не в такой непосредственной близости. Я сидел в Вашингтоне с прикомандированной секретаршей. Очень толковой, хотя вы, — ухмылка в сторону Эстергази, — могли бы выбрать и поинтереснее. Нам было так уютно вдвоем в подвалах Национального архива — мы рылись там в документах, относящихся к обоим срокам правления президента Кливленда. А остальные, кто входил в мою группу, основательно покопались в других отделах архива. И выяснили, что Кармоди действительно стал советником Кливленда, одним из многих, несколько лет спустя после вашего, Сай, «путешествия». К политике Кармоди обратился весной 1882 года, когда Кливленд был губернатором штата Нью-Йорк. Из некоторых записок, из протоколов совещаний и упоминаний о Кармоди в двух письмах Кливленда я узнал, что в период первого его президентства они уже были в дружеских отношениях.

Как и почему они сдружились, я не знаю. Никаких объяснений этому мы не нашли да и что тут можно найти. Насколько я могу судить, влияния на Кливленда он в то время не имел никакого. Но Кармоди — а в действительности Пикеринг, как нам теперь известно, — всячески подогревал эту дружбу, и в девяностые годы, в период второго президентства Кливленда, она достигла своей наивысшей точки. Из документов, найденных нами в архивах, явствует, что Кливленд иногда прислушивался к мнению Кармоди — естественно, что он повсюду значится как Кармоди, так что и мы будем называть его этим именем. Влияние его никогда не было значительным и не выходило за рамки второстепенных вопросов, за исключением одного-единственного случая, зато в отношении этого случая не остается даже тени сомнения.

Когда Кливленд во второй раз вступил на пост президента, назревал конфликт с Испанией из-за Кубы, и некоторые влиятельные газеты, как могли, раздували

пожар. Кливленд хотел избежать войны, и ему предложили неплохой способ разрешения конфликта без войны, а именно откупить Кубу у Испании. Все это хорошо известно и недвусмысленно подтверждается документами; об этом говорится в любом подробном исследовании, посвященном второму сроку правления Кливленда. Прецеденты такого рода тоже известны: покупка Луизианы у Франции и Аляски у России. Более того, Испания с радостью ухватилась бы за возможность избежать войны — ведь шансов выиграть войну у нее не было. Вот тут-то я и нашел место Пикеринга — Кармоди в истории: это он уговорил Кливленда отвергнуть первоначальный план. Уж не знаю, что точно он сказал президенту: обнаруженные сведения скупы и отрывочны. Но вместе с тем они, несомненно, точны.

Вот, собственно, и все. Единственный раз он сыграл какую-то роль в истории — и то чисто негативную, достойную лишь подстрочного примечания роль, которой он нынче вряд ли стал бы хвалиться. По окончании второго президентского срока Кливленда Кармоди совершенно исчез с горизонта, и проследить его дальнейшую судьбу мне не удалось.

Мессинджер замолчал, а я сидел, обдумывая услышанное; спору нет, мне это было небезынтересно.

— Ну что ж, — сказал я наконец, — я рад, что внес свой вклад, выяснив, что Кармоди — в действительности Пикеринг, хотя, по-моему, сегодня это не играет никакой роли. Лично мне даже импонирует мысль о том, что старина Джейк Пикеринг запросто хаживал в Белый дом и давал советы президенту Кливленду...

— Мы очень довольны вами, Сай, — прервал меня Эстергази. — Честно говоря, мы втайне надеялись на что-нибудь подобное, и вот — пожалуйста. Вклад ваш гораздо значительнее, чем вы себе представляете. Хотите продолжить, Руб?

Теперь настала очередь Рюба повернуться ко мне;

чтобы удобнее было смотреть на меня, он перекинул ногу через подлокотник, а главное — улыбнулся той самой, замечательной своей улыбкой, которая заставляла гордиться тем, что он твой товарищ, и заранее поддерживать все, что бы он ни предпринял.

— Сай,— заявил он,— ты парень смысленный. Ты понимаешь, что от нашего проекта ждут практических результатов. Прекрасное дело — способствовать расширению академических знаний, но одного этого мало. Нельзя тратить миллионы, отрывать от работы ценных людей лишь для того, чтобы написать примечание к учебнику истории о человеке, про которого никто все равно не слышал. Твой успех поразителен — нет таких слов, чтобы дать ему заслуженную оценку,— и он сделал возможным переход нашей деятельности в новую стадию. Действовать на этой новой стадии надлежит так же осторожно и осмотрительно, как и раньше. Но потенциальная выгода столь велика...

— Неизмерима,— вставил Эстергази.

Рюб кивнул, соглашаясь:

— Вот именно, неизмерима для Соединенных Штатов. Вопрос был всесторонне рассмотрен советом, и наше единое решение одобрено в Вашингтоне в самых высоких инстанциях. Сегодня утром мы без малого час беседовали с Вашингтоном по прямому проводу...

Эстергази сидел, облокотясь на стол и сомкнув пальцы рук в самой, казалось бы, непринужденной манере. Но тут он наклонился ко мне, и я заметил невероятную вещь: руки его были сжаты так крепко, что кончики пальцев побелели. Он не смог удержаться и снова перебил Рюба:

— Мы хотим, Сай, чтобы вы отправились в прошлое еще раз. Вслед за тем, если вы не передумаете, ваше заявление об уходе будет удовлетворено с присовокуплением самой искренней благодарности от правительства — я уполномочен обещать вам это. Настанет день — думаю, не при нашей жизни, но рано или поздно наша деятель-

ность перестанет быть государственной тайной,— и тогда вы займете подобающее место в американской истории. Ваши, Сай, открытия сделали возможным следующий шаг, и теперь мы хотим, чтобы вы использовали их на благо своей страны. Вы должны отправиться в прошлое снова и с одной-единственной целью: разоблачить самозванного Кармоди. Вы сделаете его секрет достоянием гласности, заявите во всеуслышание, что он лишь мелкий клерк по фамилии Пикеринг, что он несет ответственность за гибель настоящего Кармоди и за пожар в здании «Всего мира». Весомых доказательств у вас, конечно, не будет. Его не посадят, не отдадут под суд, ему даже не предъявят никакого обвинения. Но он будет дискредитирован. Как он того и заслуживает. Вы сумеете выполнить это задание, Сай?..

Я прямо-таки обалдел, он совершенно сбил меня с толку.

— Но... зачем? Чего ради?..

Эстергази ухмыльнулся, предвкушая удовольствие объяснить мне все до конца.

— Неужели не понимаете? Это же и есть следующий логический шаг — небольшой, тщательно контролируемый эксперимент... с незначительным изменением хода прошлых событий. До сих пор мы, насколько могли, избегали вмешиваться в историю — и правильно делали. Теперь мы знаем по опыту, что вероятность случайного изменения хода событий крайне мала и ею можно просто пренебречь. Даже если такое изменение происходит, оно оказывается несущественным. Теперь настала пора для следующего осторожного шага, для небольшого, тщательно продуманного воздействия на события прошлого... на благо настоящего, на благо нашей страны. Подумайте сами! Мы можем не дать Кармоди — или Пикерингу, как мы установили теперь, — возможности стать советником, хотя бы и третьестепенным советником, президента Кливленда. И у нас есть основания полагать, что это приведет к из-

менению хода истории. Если бы в девяностых годах прошлого века Куба оказалась владением Соединенных Штатов...— Он усмехнулся.— Думаю, нет нужды распространяться о том, какую мы извлекли бы пользу. Имя Фиделя Кастро осталось бы навсегда никому не известным. Таков следующий шаг, Сай, и, если он удастся, наша страна не только получит прямую выгоду, но и откроет себе путь к достижению еще более величественных целей. Бог мой!..— Голос его понизился до трепетного шепота.— Исправить ошибки прошлого, имевшие неблагоприятные последствия для настоящего,— да перед нами открываются поистине безбрежные возможности!..

Последовало долгое молчание. Я был ошеломлен. Всю жизнь я считал себя маленьким человеком и к тому же много лет хранил в неприкосновенности детскую уверенность в том, что люди, которые нами управляют, знают больше нас, видят глубже нас и вообще умнее и достойнее нас. Только в связи с войной во Вьетнаме я понял наконец, что важнейшие исторические решения принимаются подчас людьми, которые на деле несколько не осведомленнее и не умнее остальных, что собственные мои суждения и взгляды могут быть ничуть не хуже, а то и лучше, чем у деятелей, принимающих самые ответственные решения. Но какие-то остатки прежнего благоговения, преклонения перед властью имущими все еще жили во мне — и сейчас, перед столом Эстергази, в напряженной, выжидательной тишине, я сам не мог поверить, что некий ничтожный Саймон Морли возьмет да и поставит под сомнение решение совета. И суждение вашингтонских инстанций, одобдивших это решение.

И тем не менее я знал — другого пути нет. И не собирался искать его.

Однако заговорил я путано, невразумительно, да и начал, видимо, с самого банального из всех мыслимых возражений:

— Вернуться в прошлое, чтобы преднамеренно дискредитировать Джейка? Разрушить его жизнь? Имею ли я... э-э... имеет ли кто-нибудь такое право?

— Да ведь он давным-давно умер, Сай,— ответил Эстергази мягко, будто обращаясь к дурачку, которого грешно обижать.— Теперь важны наши нынешние интересы.

— Там, где мы с ним встречались, он остается самым что ни на есть живым.

— Это так, но, Сай, люди нередко идут и на большие жертвы, чем он. На благо своей родины...

— Его же никто не спросит!..

— И тех не спрашивают: призывают в армию, и весь разговор.

— А может, следовало бы спросить?..

Он искренне не понимал меня.

— Что вы хотите этим сказать?

— Хорошо ли заставляли человека вопреки его воле идти в армию и убивать других людей?

Они тараторили на меня, словно впервые видели. Все, о чем я говорил, до них попросту не доходило, и я осознал, что начал спор не оттуда, откуда следовало бы.

— Полковник Эстергази, Рюб, мистер Фессенден, профессор Мессинджер! Выслушайте меня. Годится ли... Вправе ли мы переделывать прошлое? То есть кто может знать, надо ли его переделывать? Кто может быть уверен в этом?..

— Да все мы, вместе взятые, черт вас возьми! — вскрипел Эстергази.— Не станете же вы отрицать, что Куба — территория в составе Соединенных Штатов — лучше, чем Куба — коммунистическое государство в ста сорока километрах от наших берегов?

Я неуверенно пожал плечами.

— Да нет, не стану. В конце концов, мое личное мнение не имеет значения, я вполне могу и ошибаться. Но кто может с уверенностью утверждать, что Куба в будущем

составит для нас угрозу? Маленькая страна, не сделавшая нам пока ничего плохого...

— Но ведь они пытались! Пытались или нет?.. — Эстергази почти кричал.

Подчеркнуто вежливо, с явным намерением усмирить страсти, Фессенден напомнил:

— Ракетный кризис...

— Ну, допустим, — ответил я. — Хотя Роберт Кеннеди и утверждал, что это военные пытались навязать его брату мысль об опасности, а на деле она была не так уж и велика. Но я не собираюсь вступать в споры о Кубе. Кто бы там ни оказался прав, я считаю, что ни у кого в целом свете не достанет божественной мудрости переустроить настоящее, переделывая прошлое. Это уж слишком! Да вы сами взгляните непредвзято на то, что происходит. Ученые совершают фантастические открытия, и на эти открытия немедля накладывает лапы группа, нет, горстка людей, решающих все за всех. Наука открывает способ расщепить атом, а они тут же решают, что лучшее применение новому открытию — испепелить Хиросиму!..

— А вы считаете, что это не так? — холодно спросил Эстергази. — Или мы должны были обречь сотни тысяч американских солдат на смерть на берегах Японии?

— Да не знаю я! И никто не знает. И самые ответственные из решений принимаются людьми, которые тоже не знают. Они только думают, что знают. Они, видите ли, знают, что допустимо и необходимо отравить атмосферу радиоактивными осадками. Они знают, что использовать открытия генетиков надо для того, чтобы вызвать к жизни новые ужаснейшие болезни. И они не считают нужным испросить согласия у остальных девяносто девяти целых и девяносто девяти сотых процента живущих на Земле людей. А сегодня еще один ученый, доктор Данцигер, сделал еще одно великое открытие — и вот он сидит дома, вынужденный уйти в отставку, и ему не позволено решать, что и как с этим открытием делать. А вам — вам все по-

зволено. Вы опять уже знаете, что лучшее применение новому открытию — уничтожить Кубу Фиделя Кастро. А откуда вы это знаете? Кто дал горстке людей, которые уже отравили все вокруг, которые имеют реальную возможность смести с лица земли весь род людской, право контроля над судьбами и будущим человечества? Ведь мы, большинство человечества, и имен-то этих людей не слышали, не говоря уж о том, что мы их не выбирали!..

Я поочередно оглядел всех присутствующих и понизил голос.

— Даже если вдруг вы правы, в чем я лично сомневаюсь, посмотрите, куда это поведет дальше. Ко все более значительным переменам в истории, к тому, что кучка генералов примется переписывать прошлое, настоящее и будущее, подгоняя их под свои представления о пользе человечества. Нет, джентльмены, увольте — я отказываюсь.

У Эстергази ноздри напряглись от ярости так, что края их побелели прямо на глазах. Он стиснул зубы и со свистом втянул полную грудь воздуха, намереваясь, видимо, разнести меня в пух и прах. Рюб тоже заметил приближение грозы и, прежде чем Эстергази открыл рот, проговорил:

— Позвольте мне!..

В голосе его явственно прозвенели нотки приказа, и я не без удивления понял, что это и есть приказ — приказ майора Прайна полковнику Эстергази. Выходит, я и понятия не имел об истинных взаимоотношениях среди руководящей верхушки проекта. Эстергази, подчиняясь, с усилием сжал губы. Рюб вновь повернулся ко мне и начал в спокойной, ровной манере, не подлаживаясь под меня, не стремясь успокоить, а просто-напросто разъясняя мне положение вещей — а там уж дело мое:

— Нам очень жаль, что ты отказываешься. Сегодня ты наш лучший исполнитель. Разумеется, мы продолжаем поиски новых кандидатов, и наши требования не стали

ни на йоту легче. Тем не менее подходящие люди есть, и мы их ищем. Да и другие наши замыслы осуществляются поемногу. Успех сопутствовал не только тебе, Сай. Человек, который провел несколько секунд в средневековом Париже, сумел перенестись туда еще раз. Четыре дня назад мы вновь посетили Денвер 1901 года, правда, ненадолго. В Северной Дакоте нам не повезло, провалились и попытки у Вими и в штате Монтана. Еще более серьезная неудача подстерегала нас в Уинфилде, штат Вермонт. Наш человек добился полного успеха, перенесся в прошлое раз и другой, но из второго своего «путешествия» он не вернулся. Почему — этого мы не знаем, только догадываемся. К чему я клоню? Честно и откровенно скажу тебе, что мы сталкиваемся с серьезными, подчас весьма специфическими трудностями. Повторяю, ты, может статься, лучший работник из всех, какие у нас есть и какие будут. Не скрою, мы очень надеемся, что ты передумаешь. Но если ты не передумаешь... — Он сделал передышку, посмотрел на меня без тени улыбки, затем закончил тихо и бесстрастно: — Если ты не передумаешь, мы найдем на твое место другого. И если мы не сможем провести эксперимент с Джейком Пикерингом в Нью-Йорке в 1882 году, мы проведем его в другое время, в другом месте, с кем-нибудь другим. Я не заинтересован в том, чтобы затягивать наш спор. Пойми одно: то, что решено, будет сделано.

Секунд десять он, не шевелясь, смотрел мне прямо в глаза. Потом на лице его появилось слабое подобие прежней улыбки.

— Я согласен, — заявил он, — кое с чем из того, что ты сказал и что думаешь. Чувства твои делают тебе честь. И все же, Сай, могу лишь повторить: то, что решено, будет сделано. Со всеми возможными предосторожностями, но будет. А теперь подумай. Поразмысли не спеша, а потом скажи нам, что ты надумал. Что бы ты ни решил, мы примем твое решение к исполнению без дальнейших споров и пререканий.

Несколько долгих, очень долгих минут я сидел и раздумывал, пожалуй, интенсивнее, чем когда-либо в жизни. Мессинджер порывался было что-то сказать, но Эстергази стремительно вытянул руку и бросил: «Отставить!» Я поднял глаза — он откинулся в кресле и сидел подчеркнуто спокойно и терпеливо, всем своим видом показывая, что никто меня не торопит. Я помолчал еще какое-то время и наконец обвел их взглядом:

— Хорошо. Совесть моя чиста. Я сделал все, что мог. Я всеми силами старался убедить вас — и по-прежнему считаю, что в принципе я прав. И если ведется какой-либо протокол нашего совещания, я хотел бы, чтобы это было там отмечено. Ну, а теперь, Рюб, я принимаю задание — я не вижу другого ответа. Раз вы намерены провести эксперимент независимо от того, что я чувствую, думаю или как поступлю, так уж лучше, чтобы проводил его я. Я это дело начал, я и доведу до конца, не передавая в чужие руки. Тем более что есть одна вещь, которую я заведомо сделаю лучше, чем кто-либо другой. Я выполню то, чего вы требуете, — ведь что-нибудь в таком духе все равно произойдет, — но прошу вашего разрешения обойтись с Джейком Пикерингом как можно мягче. Я непростительно вторгся в его жизнь и кое в чем навредил ему, хоть и полагаю, что он того заслужил. Но я вовсе не жажду его гибели. Разрешите мне сделать так, чтобы он был дискредитирован лишь в том узком кругу, который единственно имеет для вас значение. Ваша цель будет достигнута без того, чтобы перешибить ему хребет. Перспективы у него и сами по себе невеселые, так давайте, черт возьми, оставим ему хоть что-нибудь. Если вы согласны, я принимаю задание. Но потом я уйду.

Все были довольны. Рюб и Эстергази сразу же согласились на мое условие. Потом мы встали, и все по очереди трясали мне руку, заверяя, что я не пожалею, что они отнюдь не безрассудны, что будут приняты все меры предосторожности — самым высокопоставленным лицам в

Вашингтоне уже даны соответствующие гарантии. Они и сейчас незамедлительно проинформируют Вашингтон; нельзя ли уточнить, когда я смогу приступить к заданию? Я ответил, что у меня поднакопились кое-какие личные дела; устроит ли их, если я отправлюсь, допустим, через неделю? Рюб сказал — вполне устроит. Затем я спросил об Оскаре Россофе и Мартине Лестфогеле — я симпатизировал им и хотел бы с ними повидаться. Но Эстергази сообщил, что Оскар тут больше не работает: у него-де своя частная практика, и время, какое он мог уделить проекту, к сожалению, истекло. Может, это и не противоречило истине, но я в такое объяснение не поверил: у меня мелькнула мысль, допускаю — ошибочная, что Оскар ушел в знак протеста против «новой стадии» экспериментов. И Мартин ушел — он вернулся к преподавательской деятельности.

На прощание я заставил себя улыбнуться и произнес нечто вроде краткой речи из трех фраз:

— Ну что ж, теперь мы как будто сговорились. Я сделал все, что мог, чтобы переубедить вас. Полагаю, это был мой долг, но теперь другое дело: раз уж вы решили продолжать, все равно со мной или без меня, я, безусловно, предпочитаю остаться...

И все улыбнулись мне в ответ и даже символически похлопали в ладоши.

Не стану долго распространяться о своем визите к Кейт. Начать с того, что обстановка была неподходящая. Кейт ожидала новую партию товара и не могла отлучиться из магазина, и в начале разговора нас то и дело прерывали случайные покупатели. Я рассказал ей о своем «путешествии» — словечко, выдуманное «на складе», стало для меня уже привычным, — и она, понятно, была очень заинтересована. Но тут прибыли четыре большие картонные коробки тщательно запакованного антикварного стекла, и Кейт, прежде чем принять товар, вынуждена была свериться с накладной. Наконец, хоть время закры-

вать еще не наступило, Кейт заперла магазинчик, и мы поднялись наверх.

Заварив кофе, она первым делом принесла из спальни красную картонную папку. Я закончил свой рассказ, и мы в который раз разглядывали длинный голубой конверт и вложенную в него записку. Потом Кейт прочитала вслух заключительную фразу: *«И вот, не в силах больше взирать на вещественную эту память о том событии, я прекращаю свою жизнь, которой следовало бы прекратиться тогда»*. Она посмотрела на меня и кивнула: все вопросы, над которыми она мучилась на протяжении многих лет, получили теперь ответ.

— Я так часто представляла себе эту сцену: выстрел, и в комнату вбегает женщина, жившая с ним как жена...

— А на груди у самоубийцы вытатуировано имя «Джулия».

— И она сама обмыла и одела его, чтобы ни одна живая душа не видела татуировку...

Еще один, последний раз я бросил взгляд на голубой конверт и отдал его Кейт, а у нее из рук взял маленький фотоснимок с четким изображением надгробного камня, под которым миссис Эндрю Кармоди похоронила Джейка. Никакого имени; она жила с ним как с мужем, но не пожелала похоронить его как мужа. На поверхности камня, поставленного на окраине городка Джиллис, штат Монтана, видны лишь выщербленные временем точки — девятиконечная звезда, вписанная в окружность. Но теперь этот камень уже не казался мне просто надгробием. Полукруглый вверху, с прямыми сторонами, он выглядел для меня так, как и хотелось заказавшей его женщине: врезанным в камень отпечатком каблука Джейка Пикеринга, завершающим штрихом мелодрамы в стиле девятнадцатого столетия.

Кейт убрала папку и разлила кофе. Прихлебывая из чашечек, мы болтали о том о сем, ожидая, когда же прозвучит неизбежное. Наконец я произнес неуклюже:

— Не получилось у нас как-то, а, Кейт?

— Не получилось, — отозвалась она. — Не пойму почему. А ты понимаешь?

Я покачал головой.

— Мне казалось — получится. Одно время я был даже уверен в этом. А потом...

Она не хотела продолжать трудную тему.

— А потом не получилось. Ну, что ж поделаешь, Сай. Не трать лишних слов. Никто тут не виноват — настолько мил не будешь. Не кори себя...

По дороге домой меня начали одолевать сомнения, и все представилось в самом мрачном свете. Смогу ли я вернуться в прошлое и прожить жизнь с Джулией? Смогу ли, зная, что таит в себе будущее? Смогу ли жить в Нью-Йорке девятнадцатого века, смотреть на младенцев в колясках и знать заведомо, что их ждет впереди? Ведь мир тех дней — в сущности исчезнувший мир, и никого из его обитателей давно уже нет в живых. Смогу ли я раствориться в нем?

Я не пытался найти мгновенный ответ на эти вопросы, давал ему как бы вырваться в глубине сознания. В последующие дни я обработал набело несколько прежних эскизов и приступил к данному повествованию. Писал я от руки — машинки у меня не было, — зато почти без остановок, разве что перекусить или прогуляться. Косвенным образом работа помогала мне размышлять над тем, что же делать дальше, настраивала на нужный лад без прямого нажима. Иногда я с усмешкой вспоминал Рюба Прайена — знай он, чем я занят, он оттиснул бы на каждой странице «Совершенно секретно» или, того проще, сжег бы рукопись целиком. Так, собственно, и придется поступить с нею, если вдруг я не решусь вернуться к Джулии и не заберу свою исповедь с собой. А если решусь?.. Есть у меня один знакомый писатель, и я уверен — он единственный человек в мире, который рылся в огромной куче истлевающих религиозных памфлетов в отделе редких

книг нью-йоркской публичной библиотеки. Вернись я в прошлое, я мог бы не спеша закончить рукопись, а когда библиотека будет построена — кажется, в 1911 году — поместить ее там, где он наверняка на нее наткнется. Идея мне понравилась: она по крайней мере давала ощущение, что работа моя преследует определенную цель.

Рюб звонил ежедневно, и всякий раз я считал своим долгом подчеркнуть, что не передумал. А в последний день я сам позвонил доктору Данцигеру, отыскав его номер в телефонной книге. Ответил он лишь после пятого звонка, когда я уже собирался с чистой совестью повесить трубку. Но как только он заговорил, я пожалел, что не повесил трубку на четвертом звонке: я понял, что, уйдя в отставку, он загадочным образом мгновенно состарился, и обрадовался, что не вижу его. Голос у него дрожал, как у дряхлого, изможденного старца, и внутреннее чутье подсказывало мне, что ему недолго осталось жить. По его настоянию я передал ему все, о чем говорили Эстергази и Рюб; раз он сам этого хочет, решил я, то поделом ему, пусть будет в курсе событий. До меня он ничего не знал, никто с ним ни о чем не советовался. И тут он так разволновался, голос его так предательски задрожал, что я испугался, не разрыдается ли он в трубку. Но до слез, конечно, не дошло, и мне следовало бы сообразить, что не дойдет: он мог состариться, мог со дня на день умереть, но не мог до такой степени измениться.

— Остановите их! — возмущенно кричал он. — Вы должны остановить этих безумцев! Обещайте мне, Сай! Обещайте, что вы их остановите!..

И я обещал: да, конечно, я сделаю все, что смогу, — а сам прислушивался к собственному голосу и тешил себя надеждой, что он звучит достаточно убедительно.

Потом я отправился в «Дакоту», переодевшись в платье, которое мне казалось теперь чуть ли не более естественным, чем оставленное дома. Здесь я провел ночь и большую часть следующего дня, но не потому, что

нуждался в длительной подготовке к переходу в другую эпоху — в эпоху Джулии, как я теперь называл ее для себя. Просто здесь я был еще более изолирован, чем в той квартире; здесь, на грани двух миров и двух времен, мне легче было сосредоточиться и продумать до конца важнейшее решение своей жизни.

День выдался бесснежный, но пасмурный, мглистый, февральский — казалось, снег пойдет с минуты на минуту. Уже стемнело, когда я закрыл за собой дверь, спустился по лестнице и направился к парку. По улице шли машины, шелестя шинами по мокрому асфальту, и я остановился на перекрестке. Дали зеленый свет, я пересек улицу, углубился в парк, отыскал одинокую скамейку. Сидя в глубине парка, в тишине, я ждал, пока «перенос» не произойдет сам собой, я словно бы давал ему накопиться. И когда я наконец встал и посмотрел на голые деревья на фоне ночного неба, парк вокруг меня выглядел неизменным. Но я с абсолютной уверенностью знал, в каком я времени, и едва вышел из парка на Пятую авеню, как мимо меня неспешно протарахтел фургон для доставки продуктов: усталая лошадь брела, низко опустив голову, а на задней оси болтался керосиновый фонарь. По тротуару прошествовала женщина в черной шляпке с перьями, в меховой накидке на плечах, придерживая длинную темную юбку сантиметра на три выше мокрых каменных плит.

Я повернул к югу и двинулся по узенькой, тихой Пятой авеню, застроенной по обеим сторонам жилыми особняками. Шел я долго, ни о чем особенно не думая, скорее вслушиваясь в собственные ощущения. Постоял у железной оградки Грэмерси-парка, глядя через улицу на высокие освещенные окна дома № 19. Кто-то промелькнул в окне первого этажа — я не разобрал кто. Я совершенно продрог, ноги у меня онемели, но входить я не стал, а зашагал прочь.

Миновав Мэдисон-сквер, я направился по Бродвею вверх вдоль Ринальто, театрального района города. Улица здесь была запружена свежевымытыми, полированными акипажами, а тротуары — толпами народа. Добрая половина встречающих была в вечерних туалетах, в воздухе висел возбужденный гомон, радостное предвкушение развлечения и зрелищ.

Но я оставался вне этого праздника. Я быстро шел мимо освещенных театров, ресторанов, великолепных гостиниц, пока не добрался до отеля «Гилси» между Двадцать девятой и Тридцатой улицами. Там, в киоске у входа, я купил длинную сигару и бережно засунул ее в нагрудный карман сюртука. Затем пересек Тридцатую улицу и задержался перед театром, который выглядел, да и на самом деле был с иголочки новым: театр Уоллака. Рекламные щиты по обе стороны двери огромными буквами оповещали, что сегодня дадут спектакль «Как делать деньги». В двух шагах впереди меня мужчина, опиравшийся на трость с серебряным набалдашником, сложил шапокляк и распахнул дверь, пропуская вперед молоденькую спутницу. Я последовал за ними и очутился в ошеломляюще роскошном вестибюле, среди вишневых и синих бархатных обивок, золотых и серебряных орнаментов, блеска темного полированного дерева и сияния вычурных канделябров. Лестницы по обе стороны вестибюля одинаковыми полукружиями вели наверх, на балкон.

Подойдя к кассе, у которой выстроилась небольшая очередь, я ознакомился с расценками на билеты, потом вновь выглянул на улицу сквозь застекленные двери. Женщины, которую я поджидал, еще не было. Я стал в сторонку у стены; минуты шли за минутами, и вот она появилась — согбенная, седая, с трудом волочащая ноги, в мужском пальто без пуговиц, завязанном на поясе веревкой, в ботинках, разлезающих по бокам, и с грязной тряпкой на голове, замотанной наподобие платка. В руке она несла корзинку, на две трети наполненную

блестящими красными яблоками. Остановившись посреди тротуара, она завела бесконечную хриплую попевку:

— Яблоки, кому яблоки? Берите яблоки, леди и джентльмены, не зевайте, покупайте! Яблоки, отборные яблоки! Не проходите мимо тетушки Мэри! Кому яблоки?..

На моих глазах трое или четверо протянули ей по монетке, но яблоко взял лишь один — и тот не подумал заходить в театр, а прошел мимо. Без конца подъезжали экипажи, высаживали новых и новых зрителей. Очередная карета высадила целую семью: бородатого папашу с рубиновой булавкой в крахмальной манишке, улыбчивую мамашу в розовом платье с серой пелериной и двух дочерей, одну лет двадцати, другую еще моложе. Девушки несли свои пелеринки перекинутыми через руку, поводя обнаженными плечами; на старшей было серое платье с оторочкой из розовых бантиков, на младшей — прелестное, без всяких украшений бархатное платье цвета весенней листвы. Отец открыл перед своим семейством дверь, дочка поблагодарила его улыбкой; и впрямь она была очень мила.

В вестибюле они встретили знакомых и остановились красочной группой, болтая и смеясь. Меня подмывало подслушать их болтовню, но я не мог покинуть свой пост: я следил за тетушкой Мэри, знай себе тянувшей одну и ту же попевку. И не прошло и минуты, как появился он, в вечернем костюме, гладко выбритый, за исключением усов, очень высокий, стройный, красивый молодой человек лет двадцати пяти. Ловко проскользнув сквозь толпу на тротуаре, он остановился возле торговли яблоками. Дверь рядом со мной беспрерывно открывалась, и я услышал слова, которые, мне казалось, знал наизусть:

— На, держи, Мэри. На счастье тебе и мне!..

В руке у старухи тускло блеснула золотая монета. Мэри остолбенело уставилась на монету, потом на него:

— Благослови вас бог, сэр. Благослови вас бог!..—

воскликнула она, и я повторил беззвучно почти в унисон с ней: — Этот день принесет вам счастье, попомните мое слово!..

Я бросил быстрый взгляд через левое плечо. Семья прощалась со своими знакомыми и понемногу двигалась к лестнице, ведущей на балкон. А мужчина, которого я заметил, шел крупными шагами в сторону моей двери и вот уже протянул руку, чтобы открыть ее... Одной рукой я потянулся за сигарой в нагрудном кармане, другой распахнул перед ним дверь.

— Извините, сэр,— произнес я с улыбкой, загородив ему дорогу,— у вас не найдется прикурить?

— Прошу вас.

Он достал спичку, поднял ногу, чиркнул спичкой о сухое место на подошве и поднес потрескивающий огонек к моей сигаре, загородив его от ветра свободной рукой. С тяжелым сердцем я пригнул голову, не смея взглянуть ему в глаза, и раскурил сигару.

— Спасибо.

Уголком глаза я видел лестницу — девушка в зеленом платье поднималась вверх.

— Пожалуйста.

Он погасил спичку, шагнул мимо меня в вестибюль и огляделся. Но той, что должна бы обратить на себя его внимание, там уже не было. На лестнице в последний раз мелькнуло бледно-зеленое бархатное платье — он, верно, и не заметил этого. Вынул из кармана белой жилетки свой билет, пересек вестибюль и скрылся в фойе партера.

Я свернул с Бродвея в какой-то темный переулок, засунув руки поглубже в карманы пальто и ощущая легкий озноб при мысли о том, что, надумай я вновь — нет, я, конечно, никогда не сделаю ничего похожего,— войти в огромное складское здание под вывеской «Братья Бийки», я обнаружу там лишь шесть бетонных этажей, набитых всяким хозяйственным барахлом, и ничего больше. А если вдруг через армейскую справочную службу стану

разыскивать некоего майора по имени Рюбен Прайен, то, может, и разыщу его, бывшего регбиста, крепыша с обаятельной улыбкой. И будет он сидеть в своей аккуратной форме цвета хаки за каким-то неведомым столом, и будет искренне, с сознанием собственной правоты, разрабатывать бог весть какие еще бредовые планы. А я для него окажусь совершеннейшим незнакомцем.

Доктору Данцигеру по телефону я обещал остановить их. В сущности, я лишь повторил, как обещание, свое решение, принятое еще в тот день, когда спорил с Рюбом Прайеном и Эстергази. Только что, в вестибюле театра, я сдержал свое обещание. И мужчина — сходство было очень заметным, — который должен бы стать отцом Данцигера, и девушка в зеленом, которая должна бы со временем стать его матерью, уже никогда не станут ими.

Однако все эти мысли теперь не имели ни малейшего отношения к моему времени. Теперь они относились к отдаленному будущему. Я нащупал начатую рукопись в кармане пальто и посмотрел новыми глазами на окружающий меня мир. На мой мир. На ряды домов из бурого песчаника, освещенных газовым светом. На ночное зимнее небо. Что говорить, и этот мир тоже несовершенен, но — я вздохнул полной грудью, и легкие ощутили колкую прохладу, — воздух тут еще чистый. И реки еще чистые, какими были от начала времен. И первая из ужасных войн, развративших человечество, начнется лишь через несколько десятилетий...

Я выбрался на Лексингтон-авеню, повернул на юг и зашагал к желтым огонькам, мерцающим впереди, к дому № 19 по улице Грэмерси-парк.

От автора

В этой книге я старался по возможности придерживаться действительных фактов. Конки в самом деле ходили по тем улицам, где Сай ездил на них; станции надземки располагались там, где он садился на поезда и слезал с них; вестибюль и закусочная бывшей гостиницы «Астор» были такими, какими Сай их увидел; цитаты из газетной хроники взяты дословно, и рука статуи Свободы действительно была установлена в Мэдисон-сквере — факт, которым я особенно горжусь. Иногда мое стремление к точности перерастало в манию, например при описании пожара в здании «Всего мира» и предшествовавших пожару событий, и я с упорством душевнобольного выяснял, какая была и как менялась погода, брал на заметку фамилии арендаторов и номера комнат в том недоброй памяти старом, ветхом доме. Я даже говорил себе, что раз выдуманное мною объяснение причин пожара так хорошо согласуется с достоверными фактами, то, выступи я с ним тогда, его, наверно, приняли бы за чистую монету. Изыскания, подобные проделанным мною, быть может, и блажь, но блажь занятая.

В то же время я следил, чтобы погоня за точностью не нарушала ткани повествования. К примеру, старушка «Дакота» понадобилась мне в 1882 году; я прекрасно знал, что ее построили лишь в 1885-м, и тем не менее потеснил правду на три года — и можете подавать на меня в суд. Есть еще несколько таких же умышленных неточностей; есть, вероятно, и ошибки. В конце концов это художественное произведение, написанное, чтобы дать читателю развлечься и отдохнуть. И к тому же я не думаю, чтобы ошибок было слишком много.

Фотографии и зарисовки Сая, естественно, выполнены вовсе не им. Многие из лучших иллюстраций заимствованы в Музее города Нью-Йорка. Мне кажется, они дают довольно точное представление о той эпохе, хоть и не все, по всей видимости, относятся строго к восьмидесятым годам прошлого столетия. Однако до наступления XX века жизнь менялась медленнее, чем сегодня,— вот вам и еще одна причина, почему решение Сая остаться в прошлом надо считать вполне разумным.

Дж. Ф.

СОДЕРЖАНИЕ

Евг. Брандис. Джек Финней меж двух времен | 5

1	15
2	29
3	50
4	65
5	86
6	95
7	110
8	125
9	139
10	149
11	160
12	171
13	197
14	213
15	224
16	240
17	262
18	277
19	296
20	336
21	373
22	404
От автора	427

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛИ

Ваши замечания о содержании книги, ее оформлении, качестве перевода и другие просим присылать по адресу:

129 820, Москва, И-110, ГСП,

1-й Рижский пер., д. 2,

Издательство «Мир».

**Дж.Финней
МЕЖ
ДВУХ
ВРЕМЕН**

Редактор И. Я. Хидексель
Художник Ю. Л. Максимов
Технический редактор А. Г. Резоухова

Сдано в набор 19/X 1971 г.
Подписано к печати 25/1 1972 г.
Бумага № 2 70×108¹/₃₂=6,75 бум. л.
Усл. печ. л. 18,90 Уч.-изд. л. 19,77
Изд. № 12/6206. Цена 1 р. 12 к.
Заказ № 2427.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МИР»
Москва, 1-й Рижский пер., 2

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова
Главполиграфпрома Комитета по печати
при Совете Министров СССР
Москва, М-54. Валовая. 28

В 1972 году
в издательстве «Мир»
(серия „Зарубежная фантастика“)

ВЫЙДУТ СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ:

Хол Клемент
ЭКСПЕДИЦИЯ «ТЯГОТЕНИЕ».

Перевод с англ.

Клиффорд Саймак
ЗАПОВЕДНИК ГОБЛИНОВ.

Сборник, перевод с англ.

Сборник
КОСМИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ.

Переводы с англ., польск., болг. и др. языков

